

Людмила Иванова

# РОДИНЕ ПОКЛОНИТЕСЬ

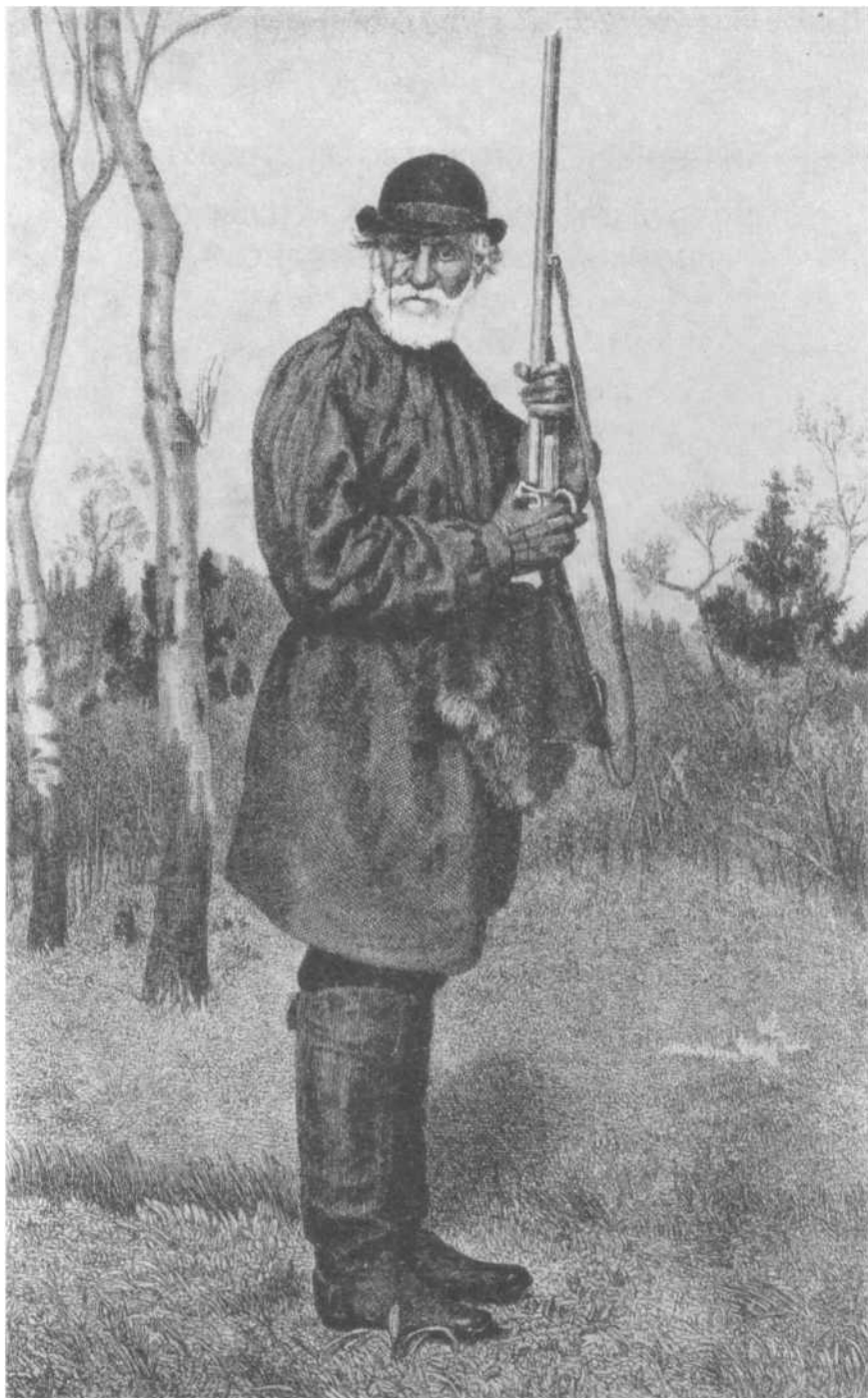
По следам героев И.С.Тургенева



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕЖИН ЛУГ»  
ГЛАВНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИС РФ**

**ЛЮДМИЛА ИВАНОВА  
РОДИНЕ ПОКЛОНИТЕСЬ**

**LYUDMILA IVANOVA  
BOW TO HOMELAND**




*И. С. Тургенев на охоте.  
I. S. Turgenev at shooting  
Художник Дмитриев-Оренбургский*

*„Когда Вы будете в Спасском,  
поклонитесь от меня  
дому, саду, моему молодому дубу,  
родине поклонитесь,  
которую я уже,  
вероятно, никогда не увижу. “*

Из письма И.С.Тургенева  
Я.П.Полонскому, 1882.





Людмила Иванова

# РОДИНЕ ПОКЛОНИТЕСЬ

По следам героев И.С.Тургенева

В ТРЕХ ЧАСТЯХ

**Рецензент доктор филологических наук профессор Н. В. Вулих**

**Иванова Л. Н.** Родине поклонитесь: По следам героев И21 И. С.  
Тургенева. В 3-х частях. М.: Машиностроение, 1993. — 240 с.: ил.  
ISBN 5-217-02478-X

**И** 4702120101—603 603—93  
038(01)—93

ББК 83.3Р1

ISBN 5-217-02478-X

© Людмила Иванова, 1993 © Издательство  
«Машиностроение», 1993 © Оформление и

макет художника Алексея Ершова

## НЕ ПОДВЛАСТНЫЙ ВРЕМЕНИ



Идут чредой годы второго столетия со времени смерти Ивана Сергеевича Тургенева, а наследие его не утрачивает своего ведущего места: он — свой для читателей всех возрастов и разрядов. Оно оказалось непотопляемым, уцелело и в дни наиболее лютых гонений, когда официально беспощадно критиковались и самые знаменитые, устоявшиеся авторитеты. Так, в иные годы признаваться в почитании Достоевского было попросту опасно!..

Тургенев был «барин» — до мозга костей. Ему прощалось и его барство, позволялось мириться с его снисходительной критикой господствующих порядков. Отвращение к угнетению и несправедливости, неподдельный демократизм уживались в Великом Писателе с унаследованным от отцов традиционным сознанием своей барской исключительности.

Дворянские симпатии Тургенева не лишили его признания современников потому, что зиждились на подлинно гуманном мировоззрении, ненапускном сочувствии людям, униженным и зависимым. В основе взглядов Тургенева на социальное устройство прочным фундаментом лежала подлинная любовь к ЧЕЛОВЕКУ. Именно его просвященный гуманизм, исключаящий насилие и унижение, обусловил широту и справедливость убеждений Тургенева.

Подлинность любовно описываемой Тургеневым русской деревенской жизни покоряет, берет читателя в плен навсегда. Потому-то так прочно положение Тургенева, так неувядаемы тургеньевские картины прошедшего.

Деревня Тургенева будет живой, пока жив русский язык — нет, не ошибся он, когда писал перед смертью неувядаемые строки о «великом и могучем». Как-то в Англии на представительном приеме, чопорном и тягостном, Тургенев вдруг стал выкрикивать русские слова: «Баба! Каша! Печь!». И разрядил тягостную официальную атмосферу раута — и говорил потом, что почувствовал облегчение...

Пока жив русский язык — сохранится и русский народ. Именно в слиянии языка с бытом — одна из самых могучих опор нашей многовековой культуры: о ней думаем мы, когда доводится наблюдать попытки ломки языка, непродуманные нововведения, дилетантские эксперименты. Защита целостности и бережение традиций должны обеспечить бессмертие Русской речи!

Не могут выпасть из школьных хрестоматий «Бежин луг», «Певцы», «Бурмистр» — каждая строка завещанного нам Тургеневым: они всегда напоминают, каким должен быть русский язык, русский слог...

Листая книгу, видишь, что каждая ее страница дышит Тургеневым. И вспоминаешь сказанные им незадолго до смерти щемящие, бередящие душу слова: «Поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, родине поклонитесь...».

Над просторами России все еще реет дух того Великого и Могучего русского языка, которым говорит с нами ее Великий сын.

Москва, 1993

Олег Волков

## ПРЕДИСЛОВИЕ



Очерки Л. Н. Ивановой, бывшего научного сотрудника Государственного мемориального и природного музея-заповедника И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», посвящены проблемам взаимоотношения писателя со своими крестьянами и судьбе потомков этих крестьян. Некоторые из них до сих пор живут в деревнях, окружающих Спасское.

Л. Н. Иванова, поселившись в Голоплеках с тем, чтобы быть ближе к изучаемой ею среде, собрала интереснейший материал, посвященный потомкам тургеневского однодворца Овсяникова, обитателям бывших тургеневских деревень, делу Жикина и др. В ее работах содержатся факты, не известные до сих пор тургеневодам, по-новому ставится проблема взаимоотношения Тургенева со своими крестьянами в пореформенное и послереформенное время.

Но ее очерки чрезвычайно ценны и с другой точки зрения: ее наблюдения идут в русле тех проблем и вопросов, которые с такой остротой поставлены в книгах Ф. А. Абрамова, Г. В. Распутина, Ч. Т. Айтматова. Ее интересуют судьбы нашего крестьянства, психология потомков бывших крепостных, история наших брошенных ныне деревень и трагические последствия политики застойного периода. Л. Н. Иванова ставит эти вопросы как бы подспудно, неназойливо, они исподволь возникают из того драгоценного материала, который она собрала как заправский фольклорист, обойдя множество тургеневских деревень и сумев завоевать доверие сельских жителей. Она исходила при этом из глубокого интереса к творчеству И. С. Тургенева. Ее работа интересна не только тургеневодам — она представляет большую ценность и с точки зрения нашей недавней истории и сегодняшнего дня, когда поиски новых путей в экономике и культуре стали такими острыми и животрепещущими.

Автор тщательно записывала свои разговоры с деревенскими жителями, стремясь запечатлеть их облик, жесты, живую колоритную речь, которой заслушивался когда-то и великий писатель. Удивительна своей жизнерадостностью, любовью к песне и меткому народному слову баба Груня из деревни Голоплеки — деревни, хорошо известной тургеневодам. Медицинская сестра Таисия Ивановна Овсянникова, потомок рода Овсянниковых, о котором мы знаем от Тургенева, поражает душевным благородством, самоотверженностью, приветливостью и милосердием. Обаятелен и Авенир Иванович Овсянников — сын сельского учителя, ставший военным летчиком. Всем им удалось сохранить высокий строй души в огне прошедших войн, в дни оккупации и сталинских репрессий, и от наших современников к героям Тургенева как бы тянутся живые нити, придавая его литературному наследию обжигающую актуальность.

Исполнены поэзии и скупые описания тургеневских мест в предлагаемой читателям книге. Но эта, то полная лиризма, то эпически величественная, природа гибнет на наших глазах, варварски разрушаемая человеком: пустеют старые деревни, уничтожаются вековые деревья-богатыри, заболачиваются реки, мелеют и зацветают живописные пруды. А речь идет о сердце России, о местах, святых для каждого из нас. Разве не обязаны мы были беречь и хранить их с благоговейной любовью?

Книга вызывает к нашему разуму и чувствам и посвящена памяти одного из величайших художников, выросших на этой земле; она написана без холодного академизма и проникнута стремлением показать не только Тургенева-писателя, но и Тургенева-хозяина, владельца усадьбы, хозяина гуманного, просвещенного, глубоко озабоченного судьбой своих крестьян и дворовых, в каждом из которых он привык видеть не раба и «холопа», а личность, неповторимую индивидуальность, всегда озаренную светом поэзии и высокой духовности.

**Н. В. Вулих.**

доктор филологических наук, профессор.

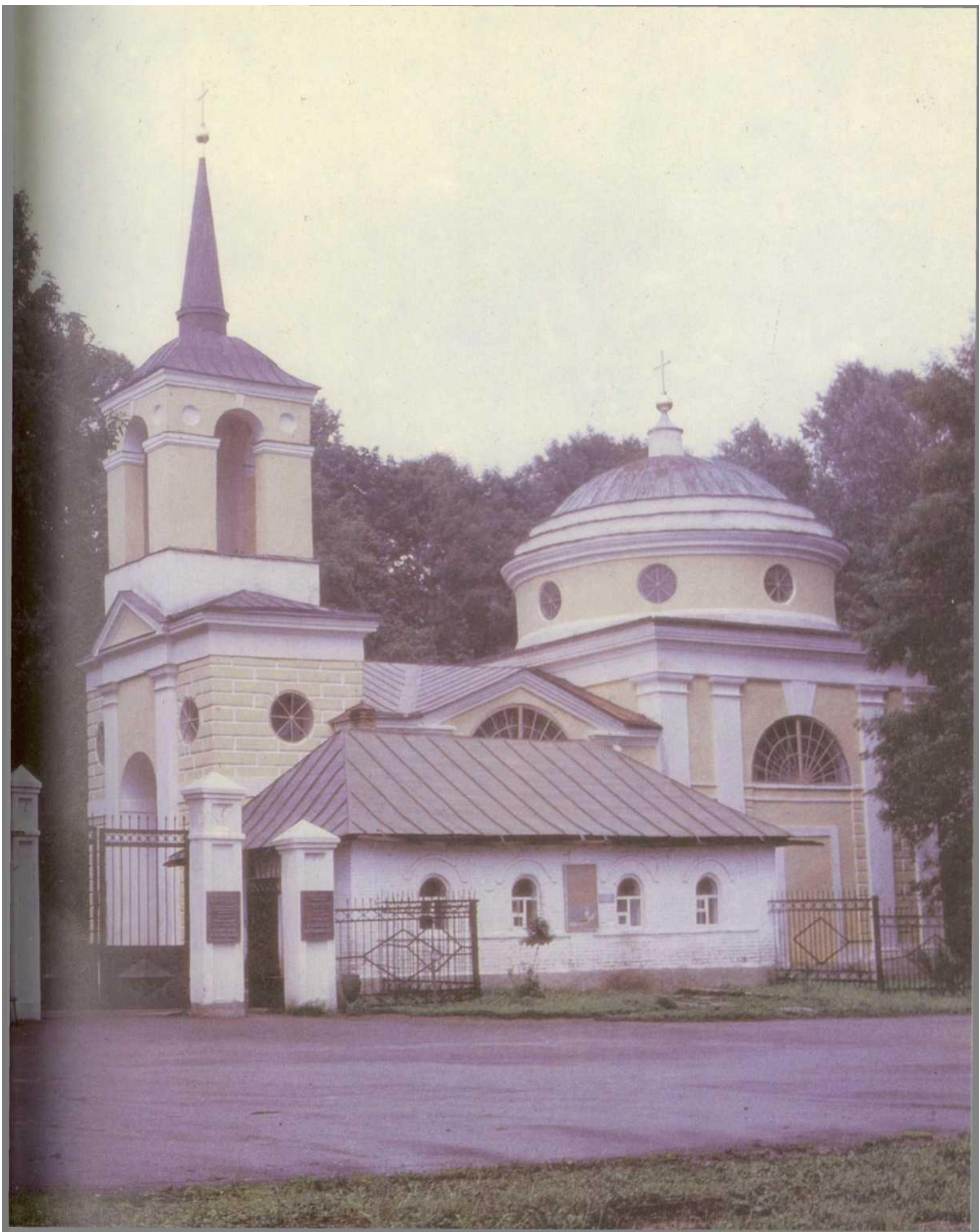
*Въезд в усадьбу И. С. Тургенева.*

*Церковь Спаса-Преображения и церковная сторожка*

*Entrance to the farmstead of I. S. Turgenev.*

*Church of Spas-Transfiguration and a church lodge*

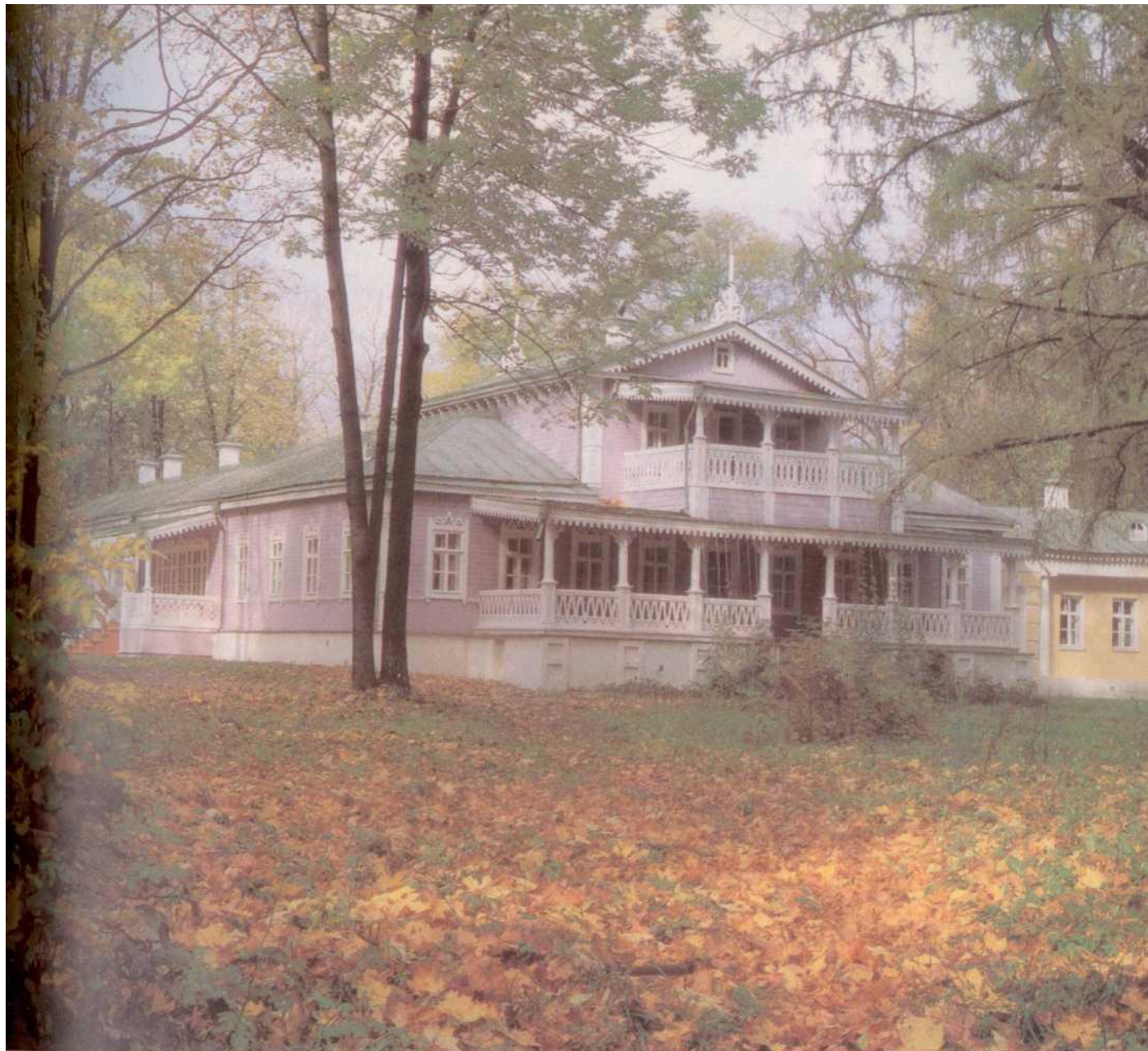












*Липовая аллея сада*  
*Lime alley in the garden*

*Усадебный дом писателя*  
*Country house of the writer*





*Дуб, посаженный И. С. Тургеневым*  
*Oak planted by I. S. Turgenev*





*Зеленая поляна*  
*Green glade*





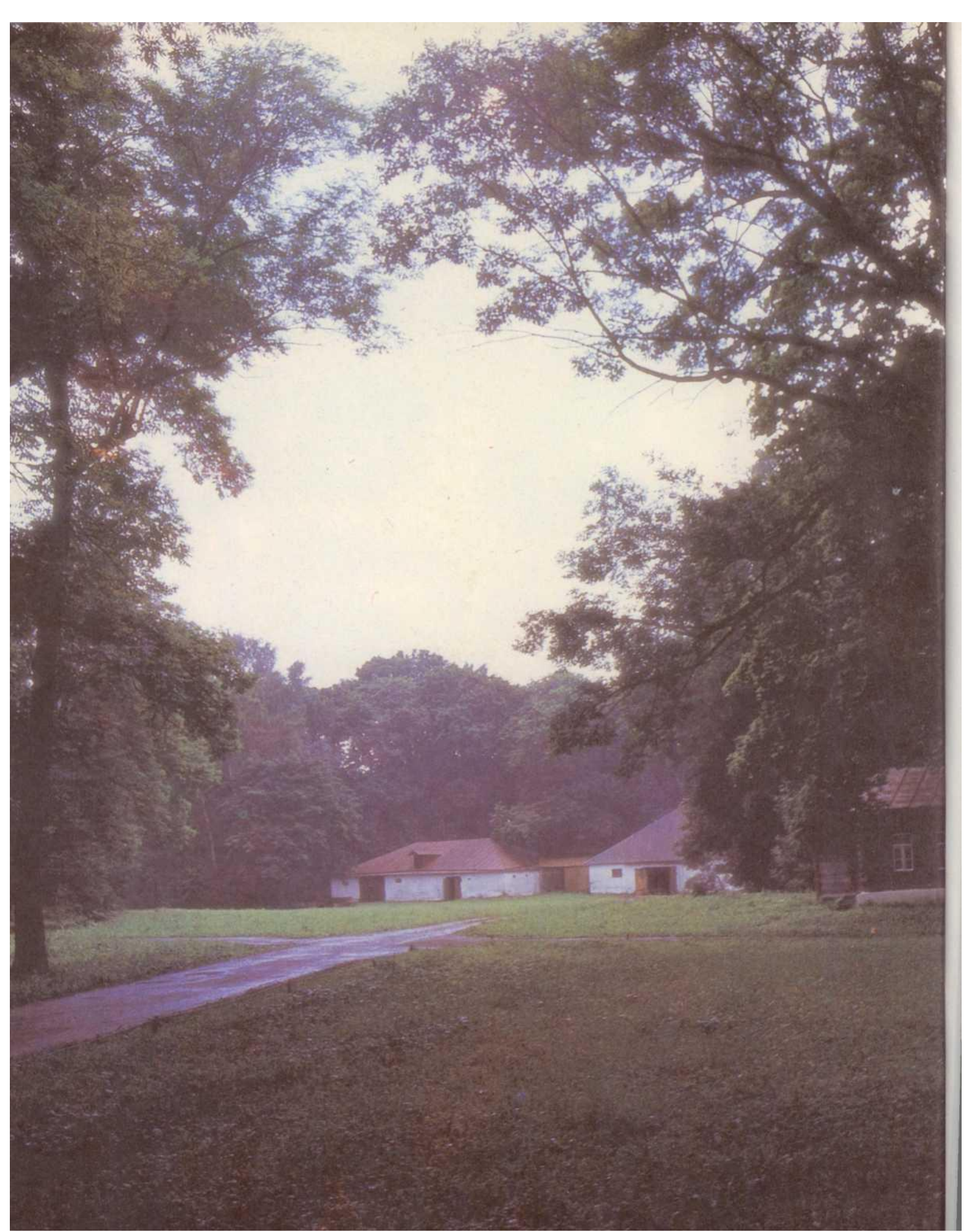




*Большой Спасский пруд*  
*Big Spasskiy pond*

*Березовая аллея*  
*Birch alley*







## INTRODUCTION



Essays written by L. N. Ivanova, scientific worker of the State Museum-Reserve of I. S. Turgenev in Spasskoye-Lutovinovo, are devoted to the problem of the relationship between the writer and his peasants, and also to the life and fate of those peasants' descendants. Some of the latter still live in the villages neighbouring to Spasskoye-Lutovinovo up to the present day.

L. N. Ivanova who settled in the village of Golopleki in order to get closer to the life she was studying, managed to collect most interesting material devoted to the descendants of one of the Turgenev's peasants Ovsianikov who owned a small piece of land, to the inhabitants of the villages that used to belong to Turgenev, and also to the of Zhikin and so on. Her paper includes the facts Turgenev critics have been absolutely unaware of up to the present moment. The problem of the relationship between Turgenev and his peasants during and after the reform is regarded in a new way.

But the essays are most valuable for a different reason, too: her observation fully correspond to the vital problems and questions raised in the books of F. A. Abramov, G. V. Rasputin, Ch. T. Aitmatov. She is interested in the life and fate of our peasants, the psychology of the descendant of the former serfs, the history of our now deserted villages, and the tragic results of the policy of the stagnation period. L. N. Ivanova puts the questions non-intrusively, in an oblique way. They seem to turn up gradually from the precious material that she collected as an experienced specialist in folklore while wandering along numerous Turgenev's villages, winning the hearts of country-side inhabitants. Her deep interest in I. S. Turgenev's creations prevailed in all this, but her work is of much interest not only for Turgenev critics, but it is of much value from the point of view of our recent history and the present day, when the problems of the humanisation for socialism and the searching of the new ways in economics and culture have become so acute and vitally important.

The author thoroughly reproduced the talks with country people, trying to give an impressive description of their looks, gestures, lively colourful speech which the great writer delighted in listening. Baba Grunia, from the village Goloplioki — the village well-known to Turgenev critics, amazes you with her cheerfulness, love for song and native colloquial dialect. The medical nurse Taisia Ivanovna Ovsiannikova, the offspring of the Ovsiannikovs family, about which we know from Turgenev, impresses you with the gentleness of the soul, selflessness, affabili-

*Хозяйственный двор*  
*Farm yard*

## ***Introduction***

ty, and merey. And Avenir Ivanovich Ovsianikov is very attractive, too; he is a son of a country-side school teacher, who became a military pilot. They all managed to preserve the noble harmony of the soul in the fire of the past wars, during the days of occupation and Stalin repressions; as if living strings are stretched from our contemporaries to Turgenev's heroes, making his literary heritage vitally valid.

Charm of words descriptions of Turgenev's places are really very poetic in the book suggested to the reader's attention. But this nature now full of lyricism, then epically majestic, is dying before our eyes, being barbarically by man: old villages become deserted, centuries-old giant trees fall down, rivers turn into marshes, picturesque lakes become overgrown and shallow. And we are speaking about the heart of Russia, about the places sacred to all of us. Is it not duty to preserve and take care of them with venerable love?

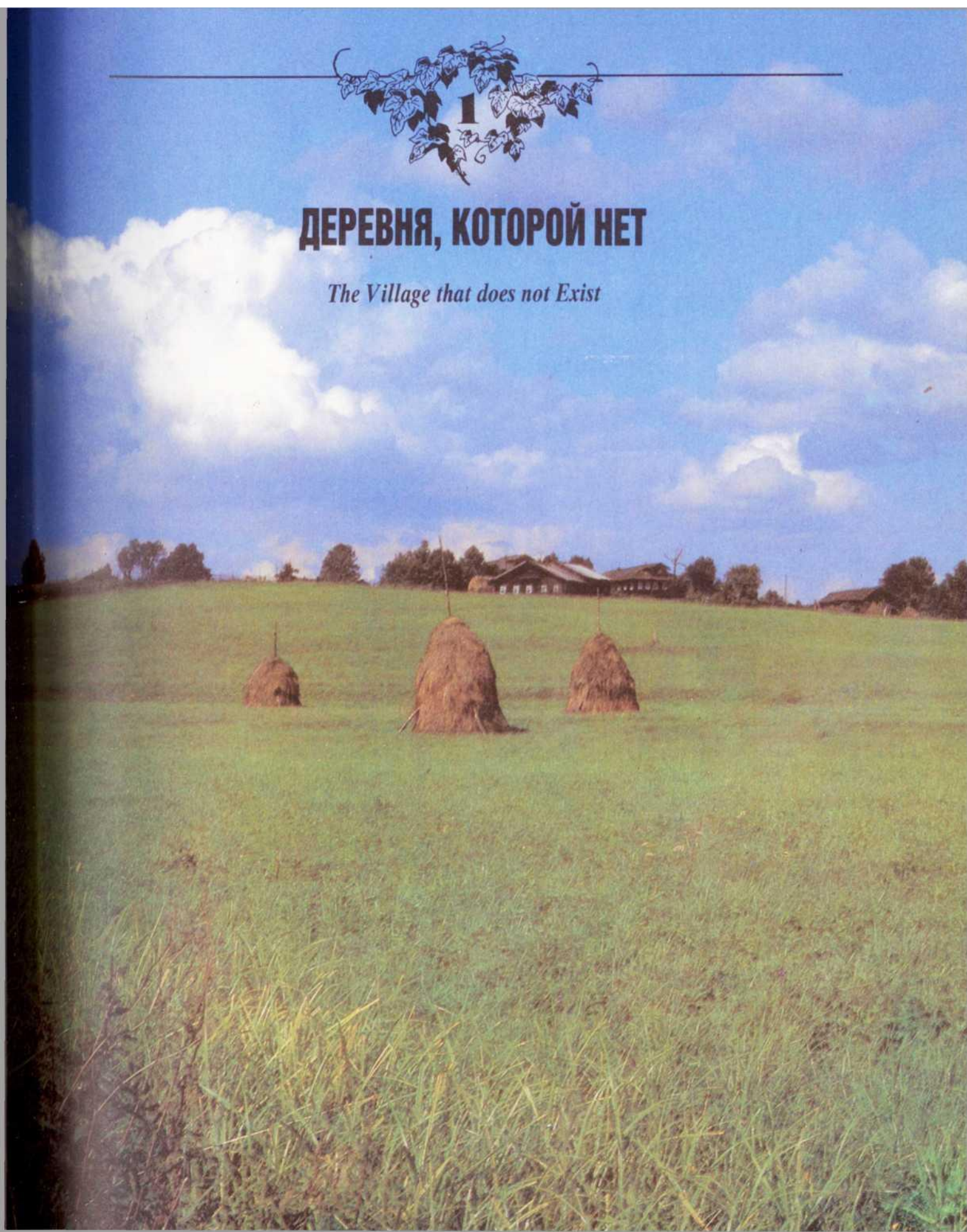
The book calls upon our mind and intelligence. It is dedicated to the memory of one of the greatest painters who was born in this place; it is written without the cold academism and is full of intentions to show Turgenev not only as a writer, but as a master —the owner of a country-estate, a kind master, intellectual, deeply concerned about the life of his peasants and serfs, in each of whom he used to see not a slave and "bondman", but a personality, unique individuality always lit up with poetry and fine spirituality.

N. V. Vulih, Prof.,  
Doctor of Philology

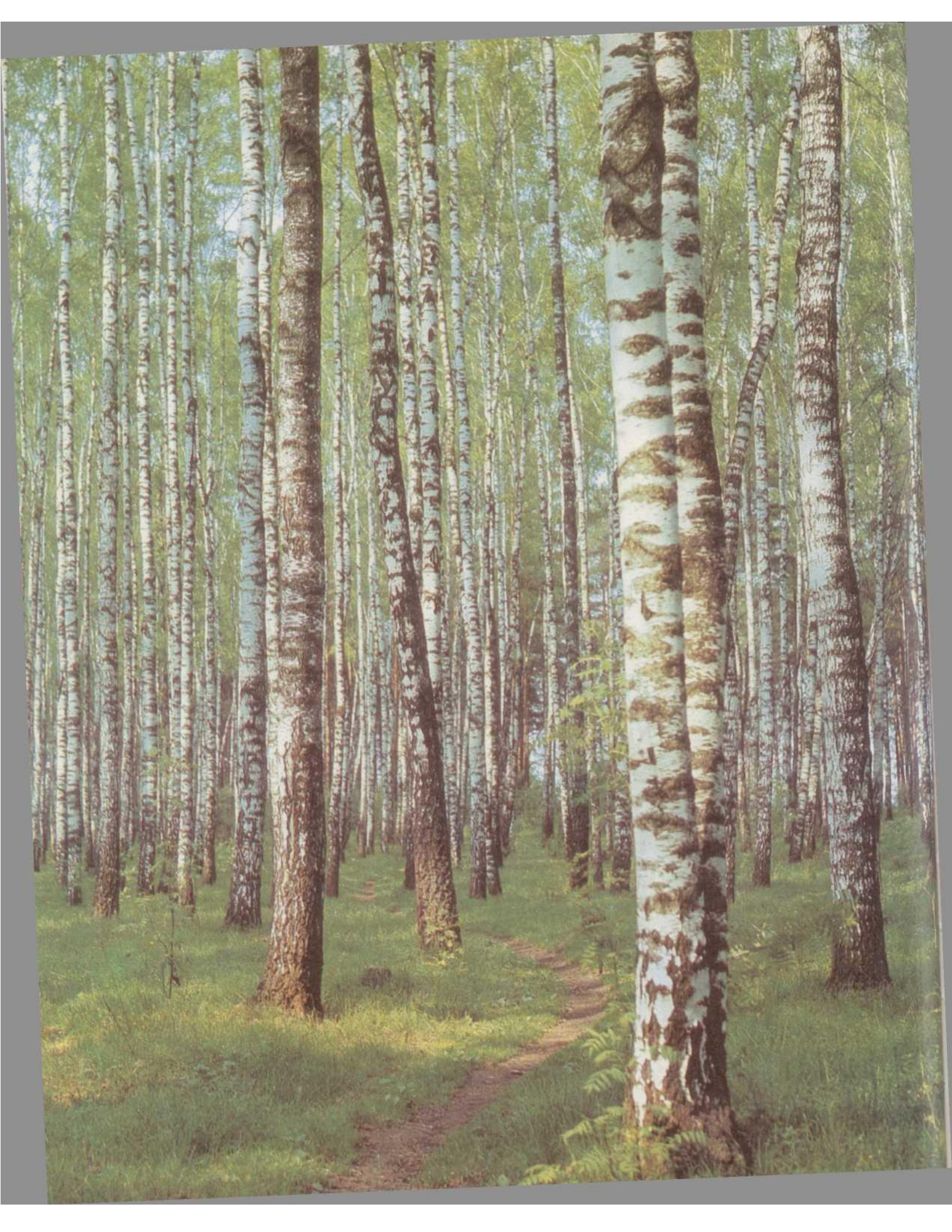


# ДЕРЕВНЯ, КОТОРОЙ НЕТ

*The Village that does not Exist*









## Однودворцы Овсяниковы

У подъезда раздался стук беговых дрожек, и через несколько мгновений вошел в комнату

И. С. Тургенев. Мой сосед Радилов<sup>1</sup>  
старик высокого роста, плечистый и  
плотный, однودворец Овсяников...

Невдалеке от легендарного Бежина луга, на склоне одного из пологих зеленых холмов Средне-Русской равнины, омываемых водами неширокой, причудливо извивающейся речки Снежеди, раскинулась небольшая, всего в двадцать пять дворов, деревенька с характерным для старых русских деревень названием—Голоплеки.

В Голоплеках издавна жили однودворцы Овсяниковы, черты которых, по всей вероятности, и отразил И. С. Тургенев в образе главного героя своего одноименного рассказа «Однودворец Овсяников». Прототипом его могло послужить писателю реальное лицо.

В 1925 году из Орловского губернского архива в фонды Государственного литературного музея И. С. Тургенева в городе Орле было передано дело Орловской губернской чертежной (производства 1839—1844-х годов) о проверке земли, купленной матерью И. С. Тургенева — В. П. Тургеневой — у соседнего помещика И. И. Чертова. В нем упоминается о продаже земли однودворцу Овсяникову из деревни Голоплеки<sup>2</sup>.

Сама эта деревенька будто сбегает со склона холма к длинному пологому оврагу, поросшему садами. С давних времен здесь сохранились искусственные пруды, старые колодцы, засыпные просторные избы с толстыми кирпичными стенами, деревянными сенцами и выложенными в высоту в виде всеера кокошниками над окнами. Место школы на берегу нижнего пруда кое-где еще отмечено остатками каменного фундамента да купой старых берез на месте школьного участка.

Сам писатель жил в четырех верстах от Голоплек, в бывшем материнском родовом имении — селе Спасском-Лутовинове. Расстояние между Голоплеками и Спасским небольшое, местность ровная, а в хорошую погоду, стоит выйти на восточную окраину Голоплек, видна березовая рощица, а за ней — усадьба писателя.

Между Голоплеками и Спасским, пересекая с севера на юг проторенную от одного угла поля до другого проселочную дорогу, проходит и теперь еще хорошо обозначенная старым рвом граница двух областей: Орловской и Тульской.

Голоплеки со стороны Спасского-Лутовинова также видны издалека: громадные стройные ели, высокие белоствольные березы, раскидистые пышные ракиты, золотистые липы с шершавыми от старости стволами, — все это напоминает о давней, веками обжитой земле. Часть деревни и земель вокруг нее достались И. С. Тургеневу по наследству после смерти матери в самой середине прошлого столетия — в 1850 году.

Недавно мне посчастливилось обнаружить в Государственном историческом архиве города Москвы уставную грамоту сельского общества крестьян деревень Голоплеки и Кальна за 1862 год<sup>3</sup>. Она поведала о том, что И. С. Тургенев хорошо знал не только Голоплеки, но и ее жителей поименно: это были, наряду с однودворцами, крестьяне, перешедшие по наследству после смерти матери к И. С. Тургеневу. Это и о них писал И. С. Тургенев С. А. Венгерову 19 июня 1874 года: «Когда же матушка скончалась в 1850 году, я немедленно отпустил всех дворовых на волю, пожелавших крестьян перевел на оброк, всячески содействовал успеху полного освобождения, при выкупе везде уступил пятую часть — и в главном имении ничего не взял за усадьбную землю, что составляло крупную сумму»<sup>4</sup>.

Эта деревенька, внешне ничем не приметная, имеет свою давнюю и славную историю. В XVI веке по ее земле проходила южная граница Московского государства. С тех пор и осели здесь служилые люди,

## *Деревня, которой нет*

определившие судьбу России, защитив ее от набегов полчищ крымских татар. К XVII веку попытки захвата этих земель прекратились. Но отдельные отряды еще долго продолжали свои набеги на плодородные древние земли черноземной лесостепи, превратившиеся за время ордынского ига в «дикие земли». Вот как об этом писал Н. М. Карамзин:

«Будучи в мире — по крайней мере на время с христианскою Европой, Россия, спокойная внутри, хотя и не страшилась, однако же непрестанно береглась Тавриды. Магмет-Гирей, обещая союз и царю, и Литве, тайно сносясь с черемисою и явно посылая толпы разбойников в наши юго-восточные пределы <...> и в то же время крымския шайки, вместе с азовцами, с ногаями Казьева улуса, жгли селения в уездах: Белевском, Козельском, Воротынском, Мещевском, Мосальском. Думный дворянин Михайло Без-нин с легкою конницею встретил их на берегу Оки (приток — река Зуша — находится в четырех километрах от Голоплек — *прим, авт.*), под слободою монастырскою, разбил наголову, отнял пленников и получил от царя золотую медаль за свое мужество. Еще два крымца, числом от 30 до 40 тысяч, злодействовали на Украине <...>. Воеводы московские били, гнали их следом <...> не отходили от берегов Оки; стояли в Туле, в Серпухове, ожидая самого хана. Таврида уподоблялась для нас самому гаду, который издыхает, но еще язвит смертоносным жалом: ввергала огонь и смерть в пределы России...»<sup>5</sup>.

А сюда, на родину, уже возвращались после долгого изгнания русские люди. Находили землю разоренной, полудикой. Корчевали леса, расчищая места для поселений, строили дома, распахивали залежалые, твердые, много лет не паханные земли, сажали сады. Местному населению в труде помогали воины, которые оставались на этой земле для обслуживания крепостей и засек, выдвигавших далеко вперед сторожевые дозоры. Здесь выросла целая система укреплений, получившая название Тульской засечной черты.

Оставаясь для охраны этих земель, служилые люди из числа воинов, стрельцов, пушкарей, засечных сторожей, рассыльчиков, затинщиков, городских казаков, к которым в XVIII веке добавились еще и пахотные солдаты, нередко обзаводились в местах воинской службы семьями, пуская тем самым в многострадальную тульскую землю глубокие корни и навечно сливаясь с местным населением.

В научном исследовании «Однودворцы Черноземья» М. Т. Белявский дает подробную картину заселения этих земель. «Значительная составная категория служилых людей, — сообщает он, — состоящая из отдельных сословных групп, каждая из которых обладала определенными, отличными от других, правами и привилегиями, <...> в качестве жалованья за службу получала землю на поместном праве. Наибольшие земельные дачи (наделы) получили «служилые люди» «по отечеству», большая часть которых выступала как «дети боярские». Большинство «детей боярских» составляли мелкие дворяне, сыновья дворян, служилые люди из Москвы и других городов центра. В то же время немалая часть «детей боярских» была в прошлом посадскими людьми, чернососными крестьянами и другими «вольными людьми».

Земли, заселенные и уже обжитые крестьянами, бежавшими от крепостного гнета бояр, дворян и монастырей, царское правительство щедро жаловало московским боярам, дворянам, верхушке служилых людей засечных черт <...>. В результате царских пожалований некоторая часть служилых людей засечных черт получала не только формально, но и фактически поместные права помещиков, и при благоприятных условиях они входили в состав дворян.

Большая часть служилых людей засечных черт, получившая землю за свою службу, не имела крестьян, не получала совсем или получала незначительное денежное и хлебное жалованье. Главным источником, обеспечивавшим несение службы и их существование, была обработка полученной земельной дачи силами их семей»<sup>6</sup>.

Жили такие семьи сами по себе, каждая семья одним своим двором. Поэтому их стали называть однودворцами. Многие были бедны. И. С. Тургенев в рассказе «Однودворец Овсяников» по этому поводу говорит, что его герой Лука Петрович Овсяников «был исключением из общего правила, хоть и не слыл за богача. Жил он один с своей женой в уютном, опрятном домике, прислугу держал небольшую, одевал людей своих по-русски и называл работниками. Они же у него и землю пахали»<sup>7</sup>.

Семьи однودворцев со временем росли, наделы дробились и зачастую становились мизерными. Поэтому

неудивительно, что фактическое положение одноворцов со временем все более приближалось к положению государственных крестьян. Об этом в том же рассказе И. С. Тургенев пишет так:

«Говоря вообще, у нас до сих пор одноворца трудно отличить от мужика: хозяйство у него едва ли не хуже мужицкого, телята не выходят из гречихи, лошади чуть живы, упряжь веревочная...».

В XVII веке Тульская засечная черта оказалась глубоко в тылу государства. Одни группы одноворцов правительство переселяло на следующую засечную черту, другие оставались на месте, и в их хозяйственном и правовом положении все отчетливее проступали черты или дворянского поместья (для немногих из них), или крестьянского хозяйства (для основной массы). Превращаясь в крестьян, одноворцы все же сохраняли специфические права и черты, отличные от других категорий русского крестьянства.

По мере укрепления самодержавия в России сословие одноворцов становится ненужным в прежнем своем качестве и его поместные права и привилегии постепенно аннулируются. Земли их становятся центром притяжения крупного дворянства и боярства, а в судьбах одноворцов происходят значительные перемены. Постепенно разгул дворянства по причине их безнаказанности со стороны правительства достигает своего апогея: земли одноворцов расхищаются в конце концов открыто.

Судьбы одноворцов тургеневских мест тесным образом связаны с именами предков писателя: его матери Варвары Петровны Лутовиновой, деда Петра Ивановича, а также двоюродного деда Алексея Ивановича Лутовиновых. Фамилии местных одноворцов упоминаются в их документах неоднократно.

Из семейных преданий, легенд, бытовавших на родине И. С. Тургенева, из рассказов современников писателя несомненно выявляется: он знал об отношении своих предков к местным одноворцам. Устами своего героя Луки Петровича Овсяникова автор «Записок охотника» и рассказал об этом читателям:

«Нас и теперь, — говорит Овсяников, — другие господа притесняют; но без этого обойтись, видно, нельзя. Перемелется — мука будет <...>. А хоть бы, например, опять-таки скажу про вашего дедушку. Властный был человек! Обижал нашего брата. Да вот вы, может, знаете — да как вам своей земли не знать, — клин-то, что идет от Чапыгина к Малинину?... Он у вас под овсом теперь... Ну, ведь он наш, — весь как есть наш. Ваш дедушка у нас его отнял; выехал верхом, показал рукой, говорит: «Мое владенье» — и завладел. Отец-то мой, покойник (царство ему небесное!), человек был справедливый, горячий был тоже человек, не вытерпел, — да и кому охота свое добро терять? — и в суд просьбу подал. Да один подал, другие-то не пошли — побоялись. Вот вашему дедушке и донесли, что Петр Овсяников, мол, на вас жалуется: землю, вишь, отнять изволили... Дедушка ваш к нам тотчас и прислал своего ловчего Бауша с командой <...>. Что ж?... Привели его к вашему дому да под окнами и высекли. А ваш-то дедушка стоит на балконе да посматривает; а бабушка под окном сидит и тоже глядит. Отец мой кричит: «Матушка, Марья Васильевна, заступитесь, пощадите хоть вы!». А она только знай приподнимается да поглядывает. Вот и взяли с отца слово отступить от земли и благодарить еще велели, что живого отпустили. Так она и осталась за вами. Подите-ка, спросите у ваших мужиков, как мол, эта земля прозывается? Дубовщиной она прозывается, потому что дубьем отнята...».

Подобные события в то время действительно имели место. В мемуарной литературе имеется ряд свидетельств людей, слышавших о них от современников деда писателя. Существует также целый ряд судебных дел «о ссоре и драке крестьян капитана Лутовинова с одноворцами в 1779—1782 годах»<sup>8</sup>.

Обратимся к «Запискам» архитектора Владимира Алексеевича Бакарева о Петре Ивановиче Лутовинове<sup>9</sup>. Они написаны частью в 1852—1856 годах, частью в 70-х годах прошлого столетия. Материал для

## *Деревня, которой нет*

«Рассказа о П. И. Лутовинове» почерпнут им из живых воспоминаний об Орловской губернии, где Бакарев в качестве архитектора жил в имении князя Куракина.

«Лутовинов имел дело с однодворцами или с экономическими крестьянами, — пишет Бакарев, — вот что он сделал: собрал мужиков, разумеется, с дубьем, расставил их в засадах — в скрытых местах, сам между тем послал сказать противникам своим, чтобы они ехали с его земли и не пахали бы ее, как не им принадлежащую, а ему. Сначала сделалась брань, потом драка, а потом совершенное побоище. Лутовинов выехал со всею охотою, большей частью напоенной допьяна, обе стороны остервенились до того, что на месте с обеих партий было убитых до 15 человек. Охотники стреляли из пистолетов. Когда Лутовинов одолел, тогда собрал все мертвые тела и повез их в город Ливны; едучи туда через селение противников, зажег оное с обоих концов и кричал: «Я — бич ваш!». Приехавши в Ливны, он прямо доставил убитых в суд и сказал судьям: «Вот я управился». Его, разумеется, взяли, и он сидел в деревне своей до 15 лет на поруках; в это время до 50 человек его крестьян умерло в остроге».

А публикующиеся здесь впервые материалы, подтверждающие рассказ Бакарева о подобных событиях и о Петре Ивановиче Лутовинове, дополняют его свидетельства названиями сел и деревень, именами и фамилиями крестьян, принимавших участие в ссорах и драках по воле Лутовинова, и противников их — однодворцев, а также именами свидетелей этих происшествий. Из судебных дел мы подробнее узнаем обо всех перипетиях этих тяжб.

«Из Орловского уездного суда во Мценский уездный суд <...> сообщение <...> по делу, проходимому в сем суде о происшедшей обиде гвардии капитан поручика Петра Лутовинова между людей его же <...>. Малоархангельской округи села Верхососенья с однодворцами на спорной земле ссоре и драке <...> в результате случилось смертное убийство», — читаем на листе 5 дела № 326 Мценского уездного суда.

Из опросного листа другого судебного дела (декабрь 1779—январь 1780 г.) узнаем о том, что лейб-гвардии капитан-поручик бригадир Петр Иванович Лутовинов для ссоры и драки собрал своих крестьян со многих деревень. На сей раз это были: «дворовый человек Александр Родионов, Петр Семенов из села Богоявленского Мценского уезда <...> из села Спасского Никита Федоров, Семен Иванов, Дмитрий Иванов, Данила Титов, сын его Козьма, крестьянин Осип (а чей сын — не значится), из села Сычева крестьянин Алексей Игнатов, Порфирий Никифоров, Яков Козьмин, Тимофей Степанов, Андрей Изотов <...> из деревни Долгаго молодые крестьяне Егор Григорьев, Семен Федин, Иван Палишин, Астафий Андреев, Федор Леонов, Иван Тарасов, Михайла Максимов, Карп Иванов, Иван Федоров, Сидор Кондратьев, Алексей Иванов <...> из деревни Столбецкой староста Семен Степанов, Софрон Иванов, сын Тоболев, Данило и Иван Семеновы, Иван Яковлев, Нефед Ефимов, Александр Филатов, <...> крестьяне Софрон Васильев сын Пономарев, Софрон Иванов по прозванию (неразборчиво — *прим, авт.*), Григорий Чуренинов, Антон Григорьев, Ларион (а чей, не значится)».

Среди фамилий лутовиновских крестьян нет имени самого помещика, главного виновника и зачинщика всех этих ссор и драк. В списках осужденных — крестьянские имена и фамилии, а имя самого помещика едва мелькает на титульных листах да в заголовках протоколов.

И. С. Тургенев был достоверен, устами своего героя Овсяникова поведав нам о том времени из жизни однодворцев на этих землях, когда многие из них, окончательно обедневшие, а иные и вконец разорившиеся, не могли по закону, то есть не имели сил и средств тягаться с богатыми помещиками, защищая свои исконные права и земли.

Уже к концу XVII века однодворцы платили подушную подать, несли рекрутскую и другие повинности и испытывали все последствия неполноправия. Позднее оно переросло в полное бесправие в связи с ростом безобразного произвола соседей-дворян. Это-то, по-видимому, и имел в виду Овсяников, произнося в конце своего рассказа о самоуправстве П. И. Лутовинова фразу: «Так вот от этого и нельзя нам, маленьким людям, очень-то жалеть о старых порядках».



Доведенные до отчаяния однودворцы посылают на рассмотрение созданной правительством в 1767—1768 годах Уложенной комиссии свои жалобы. В них они пишут о притеснениях, бесчинствах, издевательствах помещиков, о стяжательстве и заведомых проволочках должностных лиц всех рангов и чинов царской администрации.

На юго-востоке Московской губернии, территориях современных Калужской, Рязанской, Тульской, Орловской областей жило немало однودворцев самой первой (Тульской) засечной черты. Здесь давно безраздельно господствовали помещики-землевладельцы и основную массу населения составляли крепостные. Удельный вес однودворцев был невелик. В однودворческих наказах этого региона было немало жалоб на самоуправство дворян. Кроме того, появилось много претензий, как считалось, совершенно не обоснованных, беспочвенных, на включение однودворцев в состав дворян.

Подчеркнем эту мысль, так как вскоре вернемся к ней в связи с новой архивной находкой о дворянстве именно Овсяниковых из Голоплек. А пока обратимся к портрету главного героя одноименного рассказа И. С. Тургенева, данного писателем: «Представьте себе, любезные читатели, человека полного, высокого, лет семидесяти, с лицом, напоминающим несколько лицо Крылова, с ясным и умным взором под нависшей бровью, с важной осанкой, мерной речью, медлительной походкой: вот вам Овсяников. Носил он просторный синий сюртук с длинными рукавами, застегнутый доверху, шелковый лиловый платок на шее, ярко вычищенные сапоги с кистями и вообще с виду походил на зажиточного купца. Руки у него были прекрасные, мягкие и белые, он часто в течение разговора брался за пуговицы своего сюртука. Овсяников своею важностью и неподвижностью, смышленностью и ленью, своим прямодушием и упорством напоминал мне русских бояр допетровских времен... Ферязь бы к нему пристала. Это был один из последних людей старого века. Все соседи его чрезвычайно уважали и почитали за честь знаться с ним. Его братья, однودворцы, только что не молились на него, шапки перед ним издали ломали, гордились им».

Невольно возникает вопрос: кто же все-таки этот Овсяников? Однودворец середины или конца XVIII века или, возможно, обедневший, утративший былые права и привилегии представитель высшего российского класса — дворян? По крайней мере, мысль о несоответствии образа Овсяникова его социальному положению возникает, вероятно, у каждого, кто когда-либо по тем или иным обстоятельствам познакомился с названным произведением И. С. Тургенева. Видимо, писатель подчеркивает образ однودворца таким способом не случайно, а вкладывает в него особый, глубокий смысл. Иначе зачем же понадобилось ему выделять Овсяникова из общей массы людей его круга и положения — из однودворцев?

А вспомнив фразу из рассказа однودворца о самоуправстве П. И. Лутовинова, мы представляем себе и облик справедливого, непреклонной воли, бесстрашного его отца, который «в суд просьбу подал. Да один подал, другие-то не пошли — побоялись...».

Однودворец, обиженный помещиком, вступает в тяжбу с ним, почти наверное зная, что шансов на успех у него практически нет. Что кроется за этим его поступком? На что все-таки рассчитывает он, затеяв тяжбу с сильным мира сего, находящимся под опекой правительства и того самого закона, к защите которого он, Петр Овсяников, и обращается в надежде поддержать свое человеческое достоинство и защитить имущественные права? Что имеет он в арсенале своих прав и достоинств?

Но прежде чем ответить на ряд вопросов, возникших в результате анализа образа тургеневского героя и его необычных поступков, обратимся вновь к произведению И. С. Тургенева. Из рассказа следует, что уже в конце XVIII века практически ничем не защищенные однودворцы не могли тягаться с помещиками за свое место в обществе. Но тем не менее они продолжали сохранять свое человеческое достоинство, понимание жизни, уровень развития, высокую культуру, а главное — они, конечно, чувствовали себя представителями великого народа. А по своему интеллектуальному уровню продолжали оставаться выше крестьян. Но постоянный труд на земле, их приверженность ей и свойственные людям

## *Деревня, которой нет*

земли духовные устремления породнили однодворцев с крестьянством. И они, ранее имея определенные права и привилегии, пытались этим призрачным прошлым защитить свое право на землю, то есть те небольшие клочки, доставшиеся им от отцов и дедов, на которые постоянно посягали соседние богатые помещики. Зачастую добывая утерянные бумаги, выправляя копии с документов предков, однодворцы вольно или невольно подтверждали в процессе этих тяжб свои права и тем самым доказывали истинное свое происхождение.

Именно так случилось и с родом однодворцев Овсяниковых из Голоплек. Обнаруженные в Государственном архиве Орловской области материалы рассказывают о том, что этот род действительно имел ранее более весомые права и привилегии, нежели в описываемое И. С. Тургеневым время. Вероятно, документы эти утрачены однажды и какое-то время не подтверждались поколениями предков. А сами Овсяниковы из Голоплек были доведены к середине XVIII века до такого состояния, что оказались в подушном однодворческом окладе наряду с крепостными крестьянами соседних помещиков. И немудрено, что последние обращались с однодворцами как со своей собственностью.

Доведенные до отчаяния Овсяниковы из Голоплек в последней четверти XVIII века действительно затеяли ходатайство с тем, чтобы защитить себя и оградить будущие поколения своих потомков от посягательств на их права кого бы то ни было. О том, как все это происходило, рассказали протоколы Орловского депутатского дворянского собрания за последнюю четверть XVIII века и первую четверть XIX века, публикуемые здесь впервые<sup>10</sup>. Благодаря этой ценной архивной находке сегодня мы имеем возможность подробно познакомиться с представителями рода Овсяниковых из деревни Голоплеки Чернского района Тульской области: с их именами и занятиями на протяжении веков, чаяниями и надеждами, с историей рода однодворцев Овсяниковых. А вместе с тем, возможно, проникнем глубже в замысел писателя, уделившего в своем творчестве так много внимания седой старине нашей Родины.

Согласно обнаруженным документам еще в 1792 году канцелярист «Казма Тарасов, сын Овсяников», родом из Голоплек Чернского уезда Тульской губернии, выбившийся к тому времени во мценские служащие, от имени своего рода начинает процесс о подтверждении утерянного предками дворянства и возвращении своего рода в социальную ипостась. Первоначально он представил в Орловское депутатское дворянское собрание некоторые доказательства, свидетельствующие о принадлежности предков к классу дворян. Но их оказалось недостаточно, о чем в протокол собрания за 1793 год (Алфавитный журнал за 1796 год) внесена следующая запись:

«Прошение из дворян канцеляриста Казмы Тарасова, сына Овсяникова, которым прописывает, что в прошлом 1792 году представлены от него в сие собрание на дворянство предков его доказательства, и как оные по рассмотрении собрания оказались недостаточными тем, что от значащегося по оным родственника его, коллежского асессора Федосея Васильевича Овсяникова, что он точно ему троюродный брат, свидетельства не представлено, почему он ныне, испросив такое свидетельство, прилагал при том прошение: просит о внесении его в дворянскую родословную книгу. По справке ж в собрании оказалось: от означенного канцеляриста Казмы Овсяникова доказательства были поданы и как оные по рассмотрении собрания оказались недостаточны, то и возвращены ему обратно, до представления им неопровергаемых доказательств. *Приказали:* хотя проситель Овсяников в дополнение прежних доказательств и представляет данное ему от родственника его, коллежского асессора Федосея Васильевича Овсяникова, но, как сам он, господин Овсяников, в дворянскую родословную книгу еще не внесен и, следовательно, и свидетельство оное достаточным доказательством служить не может, а потому собрание, согласно прежде сделанному сим собранием определению по силе 85-й статьи высочайшей грамоты внесения его рода в дворянскую родословную книгу, и оставляет до представления им достаточных доказательств, почему и свидетельство оное с надписанием на просьбе его сего определения возвратить ему обратно, оставя с него при деле копию. Подписи депутатов и секретаря»<sup>11</sup>.

Итак, в конце XVIII века однодворцы Овсяниковы из Голоплек пытаются вернуть своему роду



потомственное дворянское звание, но первая попытка их оказывается безрезультатной. Однако следующие доказательства были более вескими, о чем свидетельствуют Алфавитный журнал и последующие протоколы Орловского депутатского дворянского собрания за 1824 год:

«Мценского помещика коллежского секретаря Бориса Антонова, сына Овсяникова, при коем представил на дворянство его доказательства, выданную отцу его, дворянину Антону Клементьеву, сыну Овсяникову 1802-го года из Тульского депутатского дворянского собрания грамоту, а ему от чернского уездного суда о службе его и по форме список, просит о внесении его в дворянскую родословную книгу и о выдаче ему Грамоты. *Приказали:* представленные в пользу дворянской казны пятьдесят рублей записать в приход, а как проситель, г. коллежский секретарь Борис Антонович Овсяников основывает свое дворянство на представленной грамоте, выданной родителю его дворянину Антону Клементьевичу Овсяникову из Тульского депутатского дворянского собрания, а потому отнестись в оное о присылке копии за скрепой, с состоявшегося о том протокола, по получении которого доложить сему собранию. Подписи депутатов и секретаря»<sup>12</sup>.

Однако в 1825 году, «ноября 11-го дня, по указу Его Императорского Величества Орловской губернии Дворянское депутатское собрание рассматривало отношение Тульского дворянского депутатского собрания, при коем доставлена копия с протокола о дворянстве мценского помещика коллежского секретаря Бориса Антонова, сына Овсяникова, состоявшегося 1802 года, октября, 29 дня, по коему внесен отец его просителя дворянин Антон Клеменов, сын Овсяников, по тамошней губернии в шестую часть родословной книги <...> прапрашур его просителя Никифор Лукьянов, сын Овсяников <...> писан служащим в Белгородском полку ротмистром <...> пращур Иван Никифоров был рейтером, прапрадед Семен Иванов служил в Белгородском полку драгуном, прадед Филипп Семенов, дед Клемен Филиппов и отец Антон Семенов состояли в подушном однодворческом окладе, то и представлено было на рассмотрение правительствующего сената <...> по именному Его Императорского Величества Высочайшему указу <...> коим всеподданнейше представлено было, как состоящая в подушном однодворческом окладе Тульской губернии Чернского уезда деревни Голоплек, Овсяниковы в собрании Тульской губернии предводителя дворянства и уездных депутатов доказали происхождение свое от благородных предков и по внесению в дворянскую родословную книгу оказались достойны, то силою Всемиловейше пожалованной дворянству грамоты показанный род следует возратить в первобытное дворянское состояние, почему и должен быть от подушного однодворческого оклада и ото всех податей выключен, на котором докладе Его Императорское Величество собственною рукою подписать соизволил быть по сему <...> и в той росписи в числе 21 человека рода Овсяниковых написан и отец просителя Антон Семенов, сын Овсяников, с детьми и его родными братьями Юдою и Иваном, а потому означенный отец его и внесен тамошней губернии в л сотую часть дворянской родословной книги...»<sup>13</sup>.

Портрет рода Овсяниковых из Голоплек дополняют строки документа, раскрывающие образы самих «просителей», их образ жизни и дающие им качественную характеристику: «Из представленного же от него просителя при прошении 11-го декабря 1823 года данного ему из Мценского уездного суда аттестата, что он в службу вступил в тот суд с 15 июля 1812 года и награжден был чинами коллежским регистратором 1815 декабря 31-го. Губернским секретарем 1818 декабря 31. Коллежским секретарем 1821 годов декабря 31 числ. В продолжении же его службы вел образ жизни своей прилично его званию и возложенную на него должность исполнял с особенным усердием и рачением, и повышению аттестовался достойным, а 1823 года от службы уволен <...>, по списку ж ему показывается от роду 26 лет, холост, недвижимого имения за ним состоит во Мценском уезде 5 душ, жительство имеет в том же уезде...».

В дополнение к биографии Бориса Антоновича Овсяникова можно добавить еще и то, что его хорошо знали и помнили современники И. С. Тургенева. Так, поэт А. А. Фет в своих «Воспоминаниях» писал: «Почти ежедневно через залу, где мы играли, в кабинет к отцу проходил с бумагами его секретарь, Борис Антонович Овсяников...».

Далее приводим примечание автора данного очерка: «Описываемые А. А. Фетом в его «Воспоминаниях» события происходили в Новоселках, на родине поэта, всего в нескольких километрах от небольшого уездного городка Мценска Орловской губернии примерно в начале 20-х годов прошлого столетия. Очевидно, Овсяников после увольнения с государственной службы стал личным секретарем отца А. А. Фета А. Н. Шеншина»<sup>14</sup>.

### *Деревня, которой нет*

Но вернемся к замыслу писателя. Если предположить, что события и образы героев рассказа «Однодворец Овсяников» взяты И. С. Тургеневым из жизни, то, исходя из строк вышеприведенного документа, попробуем проанализировать и некоторые даты...

Работу над этим рассказом И. С. Тургенев начал в 1847 году. Как свидетельствуют приведенные выше судебные дела 1779—1782 годов, прототипом главного героя рассказа могло послужить писателю реальное лицо. Из произведения же узнаем, что в то время, когда Тургенев общался с Овсяниковым, последнему было уже около 70 лет. А события, о которых со слов Овсяникова рассказывает автор, происходили еще тогда, когда Лука Петрович Овсяников был ребенком. Так, в сцене увода его отца для экзекуции в соседнее село Овсяников говорит: «Я тогда был мальчишка маленький, босиком за ними побежал...». Следовательно, события эти могли иметь место примерно в 80-х годах прошлого столетия.

В 1825 году, когда Овсяниковы из Голоплек вернули свое потомственное дворянство и были занесены в шестую часть дворянской родословной книги, то есть доказали принадлежность свою к именитому дворянству, Луке Петровичу Овсяникову могло быть около 50 лет. А это был примерно возраст отца Бориса Антоновича — Антона Клементьевича Овсяникова из Голоплек, а возможно, брата его либо другого Овсяникова из этой деревни: из числа «21 души мужеска пола», вернувших в 1825 году потомственное дворянство.

В 2—3 километрах от Голоплек лежит село Петровское, наследственная вотчина деда писателя по материнской линии Петра Ивановича Лутовинова. Между этими деревнями есть клин земли, «что идет от Чаплыгина к Малинину». Следовательно, писатель в действительности мог привязать описанные события к этим местам и, возможно, к человеческим типам, населявшим эти земли.

Известно, что Тургенев много времени и внимания в свое время уделил крестьянам Голоплек, перешедшим к нему по наследству. Одним из первых России он предложил им землю в аренду еще задолго до официальной отмены крепостного права, а затем, сделав всевозможные уступки, помог выкупить арендованную землю, и голоплекские крестьяне одними из первых в России стали самостоятельно вести хозяйство.

В Голоплеках и теперь живут Овсяниковы, возможно, потомки тех самых лиц, черты которых передал своему герою Луке Петровичу Овсяникову Иван Сергеевич Тургенев.

1986 год, дер. Голоплеки



**В Голоплеки, к Овсяниковым**

Весне спасибо за живые соки,  
За хор лягушек в поймах луговых,  
Занё спешу в деревню Голоплеки С  
надеждою застать ее в живых...  
Григорий Калужный, август 1988

Это было в 1985 году... Из Спасского-Лутовинова в Голоплеки к Овсяниковым мы ушли однажды на рассвете. Пройдя от центра села на запад метров триста, вышли на плотину пруда Захара. В этот ранний час он был чуть прикрыт пушистыми клочками утреннего тумана. Заросший по берегам орешником, раkitником, бузиной, старый, любимый писателем пруд, давно заброшенный, нечищенный, цвел. Но все же он был очень хорош этим ранним летним утром<sup>1</sup>.

Миновав два небольших пологих холма, разделенных перелеском, мы вышли на старую дамбу, еще в XVII веке отделявшую земельные владения помещиков Лутовиновых от соседских; с нее по тропинке сошли в березовую рощицу, которая, как утверждают местные старожилы, выросла прямо в поле сразу же после окончания Великой Отечественной войны.

Начинался чудесный летний день. Совсем недавно пролил теплый дождик, и деревья, озаренные нежными лучами солнца, были влажными. Но порывистый утренний ветерок обещал вскоре высушить их шелестящую шелковистую листву.

Из рощи тропинка-змейка вывела нас в поле, прорезанное от угла до угла накатанной до блеска проселочной дорогой. Справа влажно зеленел густой Чаплыгин лес<sup>2</sup>. А между ними на площади гектар в восемь — десять фиолетово-голубым ковром раскинулся клин медоносной цветущей травы фацелии.

«Клин-то, что идет от Чаплыгина к Малинину», — вспомнились строки из рассказа однодворца Овсяникова. За ним должны были быть Голоплеки.

Жаркое солнце, яркие цветущие поля, показавшееся за горбатой линией горизонта сочными зелеными верхушками деревьев село, — все это помогало нашему сознанию воспринимать заповедную землю. Дорога, оставив слева гречишное поле, привела нас прямо в деревню. Перед длинным красного кирпича деревенским одноэтажным домом мы увидели старушку, которая из водоразборной колонки набирала в эмалированное ведро воду. Подошли к ней, поздоровались, уточнили: Голоплеки ли это? Ответ ее вызвал у нас недоумение: оказалось, мы пришли не в Голоплеки, а в какие-то Черемушки... Переглянулись удивленно, так как шли, не сомневаясь, твердо уверенные в правильности избранного пути. Уходя из Спасского, на всякий случай взяли с собой и карту тургеневского заповедника; там вообще не было деревни с названием Черемушки.

Поэтому решили уточнить.

— Бабушка, Овсяниковы здесь живут? — снова обратились к старушке.

— Живут-живут... вон сидит Овсяников, — кивнула она головой на ближайший дом.

Возле кирпичного домика, по размеру гораздо меньшего того, который попался нам на глаза первоначально, на скамейке у входа на веранду сидел пожилой мужчина и смотрел куда-то вдаль, в одну точку. Мы подошли к нему. Появление посторонних, однако, не вывело его из задумчивости.

— Добрый день, — поздоровались мы с ним.

— Здравствуйте, — приветливо ответил Овсяников, чуть повернув к нам голову, но не меняя направления взгляда.

— Так вы — Овсяников?

— Овсяников.

— А соседи ваши, — указали мы на длинный дом, — тоже Овсяниковы?

*Деревня, которой нет*



*Лом Овсяниковых в Голоплеках Ovsianikov's house in Golopleki Семья однодворца Петра Тихоновича Овсяникова, 1917 Family of a small-holder  
Piotr Tihonomh Ovsianikov, 1917*



Мужчина не реагировал на наши знаки. Мы поняли: он был слеп.

— А вот в этом длинном доме с заколоченными окнами, по соседству с вами, кто живет? — снова обратились



к нему.

— А здесь тоже Овсяниковы, Нина Степановна с дочкой. Дочка-то в городе на заводе работает... А в другой половине — Нины Степановны брат, Дмитрий Степанович, инвалид.

— А дальше?

— А дальше — дом майора. Он тоже Овсяников. Дом этот еще его отца, а сам-то он часто сюда приезжает, а живет постоянно в городе... Отец-то его, Иван-то Петрович, в Голоплеках прожил всю свою жизнь, учительствовал все. Не так давно помер... Дочка Ивана Петровича из Полтева тоже часто сюда ездит, Таисия Ивановна...

Стало не по себе от этих немудреных рассказов Овсяникова: нежилым, неудобным, невеселым веяло от них, и деревня показалась пустой и неинтересной.

— А что, в деревне есть еще Овсяниковы? — в который раз пытали мы своего собеседника.

— Есть. На двух околицах — избы Овсяниковых. Еще в деревне жили Субычевы, Волковы, Коптевы — всего четыре фамилии при мне. Да сейчас старики почти все повымерли. Те, что помоложе, глядя друг на друга, дома продавали дачникам, а сами — кто в Москве, кто в Орле, в Туле, во Мценске... На лето только и приезжают... некоторые...

Мы снова обращаемся к собеседнику:

— Когда мы шли сюда, то думали, что идем в Голоплеки, а оказалось, что это Черемушки какие-то?

— Голоплеки, Голоплеки это, не сомневайтесь. Переименовали недавно. Уж сельсовет теперь и в документах пишет: «Деревня Черемушки Русинского сельсовета Чернского района Тульской области...»

Расстроенные такого рода объяснениями, мы попрощались с собеседником и направились к дому майора в надежде узнать еще что-нибудь о здешних местах и об Овсяниковых.

Когда подходили к его добротному дому, навстречу нам вышел высокий, плотный, плечистый, средних лет человек «с ясным и умным взором под нависшей бровью», напоминавший чертами внешний облик «однодворца Овсяникова». Шли сюда, как говорится, по следам тургеневского героя, и восприятие каждого живущего здесь человека, естественно, было навеяно творчеством писателя, его личным восприятием этой земли и ее типов.

Мы поздоровались, назвали себя.

— Авенир, — услышали в ответ. Мы переглянулись многозначительно... И видом своим, и осанкой, и взглядом, и даже именем Авенир Иванович Овсяников оживил в нашей памяти мир тургеневского произведения. У Ивана Сергеевича Тургенева в рассказе «Смерть» есть такое необычное по звучанию русское имя — Авенир. Его носит герой рассказа, учитель. С ним Тургенев связывает строки о мужестве русского человека:

«Вспоминаю я тебя, старинный мой приятель, недоучившийся студент Авенир Сорокоумов, прекрасный, благороднейший человек! <...> Жил ты у великороссийского помещика Тура Крупяникова. учил его детей Фофу и Зезю русской грамоте, географии, истории, терпеливо сносил тяжелые шутки самого Тура, грубые любезности дворецкого, пошлые шалости злых мальчишек, не без горькой улыбки, но и без ропота исполнял прихотливые требования скучающей барыни; зато, бывало, как ты отдыхал, как ты блаженствовал вечером, после ужина, когда, отделившись от всех обязанностей и занятий, ты садился перед окном, задумчиво закуривал трубку или с жадностью перелистывал изуродованный и засаленный номер толстого журнала, занесенного из города землемером, таким же бездомным горемыкою, как ты!..»

В сознании на мгновение всплывает образ молодого тургеневского учителя, одиноко сидящего перед раскрытым в сад окном старого барского дома. Как случилось, что переплелись имена — а может быть, и судьбы их? — одного из литературных героев И. С. Тургенева и этого приятного человека, сто-



*Овсянниковы: слева направо Авенир Иванович, Таисия Ивановна, Дмитрий Степанович, 1990*  
*Otmakovs: from left to right Avenir Ivanovich, Taisiya Ivanovna, Dmitriy Stepanovich, 1990*

ящего сейчас рядом с нами? Чем, кроме имени, может напомнить нам о тех далеких временах и замысле великого писателя он, наш современник? Внешностью? Чертами характера, профессией своей?

— А вы, Авенир Иванович, случайно, не учитель? — шутит один из нас.

— Учитель, — отвечает он, — по профессии. Еще до войны учился в педучилище. Очень хотел этого отец. Да и я, по правде сказать, мечтал с детства пойти по его стопам... Но пришлось стать военным летчиком. А вот отец мой, тот почти пятьдесят лет учительствовал в Голоплеках. Страстно любил и хорошо понимал Тургенева, многое из произведений его знал наизусть, до конца дней своих преклонялся перед гением этого великого таланта. Имя у меня, конечно, необычное. Сначала считалось, что оно — причуды моего отца. А потом убедились, что совсем не так: мечтал он, чтобы и сын его стал учителем, как он сам и, стало быть, как тот, тургеневский Авенир. Учителем я мало был, больше — военным...

— А где вы сейчас работаете, Авенир Иванович? — задали мы очередной вопрос.

— Я инспектор облоно...

— И это называется учителем мало был, — снова, в который раз сегодня, удивляемся мы и прощаемся с Овсянниковым, пожелав ему всего самого доброго в его педагогической деятельности.

Обойдя всю деревню и полюбовавшись ее красотами, мы покидали Голоплеки, унося с собою массу новых впечатлений и горький упрек... Кому? Как же и когда случилось, что эту живописную деревеньку так безжалостно уничтожили, сменив ей, еще живой, ее исконное, увековеченное массой исторических документов и гением великого писателя название? Как практически найти ее теперь, знаменитую еще и тем, что стала она когда-то одним из первых русских поселений на южной границе нашего государства? Ведь почитатели великого писательского таланта И. С. Тургенева знают, что есть на чернской земле в Тульской области дорогая и близкая нам, неоднократно описанная в произведениях великого писателя деревенька с древним названием Голоплеки! Нельзя же в связи с ликвидацией этого названия, с его исчезновением обратиться сегодня ко всему читающему миру, ко всем, кто знаком и любит творче-



ство И. С. Тургенева, с таким предупреждением: «Не ездите сюда! Не тратьте своего драгоценного времени, сил и средств, не ищите тургеневских Голоплек! Вы все равно их на чернской земле не найдете — их нет. На том месте, где они еще недавно были, теперь деревня с другим названием — Черемушки, ставшим штампом в наши дни, которое сплошь и рядом присваивают новым городским районам и кварталам...».

Если я скажу, что людям, пришедшим по следам героев великого писателя на эту землю поклониться ей и таланту И. С. Тургенева, было обидно за происходящее здесь — это не совсем верно: мы испытали от увиденного и услышанного горечь и боль... И подумали: плох тот, кто не помнит своего родства, кто рвет нити, связывающие его с землей, на которой выросли лучшие представители русского народа, сумевшие благодаря своему особому дару запечатлеть ее в своих произведениях, читаемых сегодня во всем мире.

### **Наш дядя Митя**

Мы решили обязательно посетить еще раз Голоплеки-Черемушки. Но судьба распорядилась так, что мне довелось не только приехать еще раз сюда, но и жить и трудиться здесь, на этой земле. И мало того — общаться и дружить с Овсянниковыми<sup>1</sup>, поверять им свои исследования об их земле и видеть при этом благодарные лица, сияющие счастьем при воспоминании о дорогих и горячо любимых людях, давно ушедших из жизни.

Поселилась я в Голоплеках на самом краю деревни, рядом с Авениром Ивановичем и Таисией Ивановной Овсянниковыми. В теплые дни работала в саду, а когда становилось прохладно и сыровато, перебиралась на веранду, которая в доме стала моим излюбленным рабочим местом. Здесь прошли и эти лучшие в моей жизни часы, когда, оторвавшись от работы, наблюдала за природой и любовалась ею.

Из окна веранды открывается волнующий душу пейзаж: зеленый, покрытый цветами луг, старый фруктовый сад с яблонями, вишнями, сливами, стройный ряд пышных ракут. По весне они полощут свои тонкие ветви с острыми листочками в воде пруда, берега которого удивительно причудливо очерчены. Пруд каждый год наполняется сначала талыми снеговыми водами, затем пополняется дождевыми. Но воды хватает ненадолго, и к июню, как правило, давно не чищенный пруд почти полностью пересыхает.

Этот уголок земли хорош всегда: и светлым солнечным днем, и ночью, при мерцающем свете луны. Здесь всегда удивительно покойно. Хорошо дышится, ничто постороннее не нарушает ход мыслей. Частенько, стараясь как можно продуктивнее использовать, не упустить эти чудные ночные часы деревенской тишины, провожу за работой почти всю ночь. А когда начинает светать, интересно бывает наблюдать, как просыпается деревня... Первыми нарушают предутреннюю тишину птицы. Затем просыпается расположившаяся за ракутами колхозная летняя ферма. Оттуда доносится обычно неясный вначале шум поднимающегося стада, раздается многоголосое мычание, окончательно разрезает тишину резкий, порывистый всплеск пастушьего кнута.

С первыми звуками с фермы на дорожке между прудом и усадьбой Овсянниковых обычно появляется Дмитрий Степанович Овсянников. Мимо меня он проходит всего в каких-нибудь десяти метрах. Идет, чуть подавшись вперед. Пустой рукав его легкой парусиновой куртки треплет ранний утренний ветер. С ранней весны до поздней осени он, ныне колхозный пенсионер, старейший заслуженный колхозник, работает на ферме. В течение дня несколько раз туда и обратно проходит по этой дорожке: и на рассвете, и днем, и поздно вечером, когда деревня уже спит. Никто не заставляет его проводить гораздо больше, чем положено, времени на работе. Но так, видимо, устроен этот человек, сумевший совместить и объединить в своей жизни личное и общественное и полюбить тяжелый крестьянский труд. На







*Семья Степана Петровича Овсянникова, 1913 Stepan Petrovich Ovsiannikov's family, 1913*

ферме он незаменим: включает воду и свет, следит за приборами, раздает корм животным, чинит изгородь... Никто и никогда не слышал от него отказа, обращаясь к нему за помощью.

Дмитрий Степанович — молчун. Если и говорит с кем-либо, то обычно бывает немногословным. Всегда сдержан в суждениях, особенно когда речь заходит о людях. О предках своих говорит тоже мало: только тогда, когда спрашиваешь, да и то как-то отрывочно, скупно.

Но однажды мне все же удалось его разговорить. Это произошло совсем случайно, когда поздно вечером, окончив трудовой день, он возвращался с фермы и завернул ко мне в дом на огонек телевизора. В те дни страна праздновала тысячелетие крещения Руси, и передачи по телевидению транслировались из соборов, монастырей, верующих семей, церковных учебных заведений. И тогда особенно остро ощущалась вся прелесть русской старины.

Мы старались не пропускать эти передачи, так как их тематика, новизна сведений, встречи с неизвестным ранее притягивали внимание, будоражили чувства, давали надежду, что прелесть сегодняшнего дня останется навсегда.

И вот под впечатлением увиденного и услышанного в тот вечер, размягченный удивительной теплотой этой нежной июньской ночи Дмитрий Степанович Овсянников вдруг разоткровенничался. Вспомнил, как давно-давно бегал здесь, в Голоплеках, еще босоногим мальчишкой. С особой теплотой рассказывал о своей матери, которая прожила очень долгую жизнь и воспитала много детей и внуков. Об отце и деде поведал целую историю.

По мере того как говорил Овсянников, будто наяву всплывали далекие образы его предков. Вот отец, Степан Петрович: молодой, могучий, чуть ссутулившийся от каждодневной тяжелой крестьянской работы, с черной, как смоль, густой, окладистой бородой и такими же пышными, выщипанными, будто уложенными на голове искусным парикмахером волосами и добрыми, умными глазами с ясным и проницательным взором.

— Прадед мой, Тихон Фоканович, — говорил Дмитрий Степанович, — а было это в то время, когда еще железной дороги возле Спасского не было, может, в пятидесятых годах прошлого века<sup>2</sup>, видя, что семья разрослась так, что и спать всем негде, за громадным семейным столом стало тесно, земли совсем мало, — решил податься в извоз. А из скупых его рассказов по возвращении домой семья узнала, что, проехав долго, почти три года, успел побывать Тихон Фоканович и в Сибири, и в столицах — Москве и Петербурге и даже за границей. Чаще всего и подолгу он рассказывал об Австрии, где ему, видимо, особенно повезло. А дед, Петр Тихонович, передавал впоследствии не раз повесть своего отца об этих трудных годах на чужбине, когда не с кем было послать письма родным, нечем помочь. А еще дед мой подробно и не раз рассказывал, как его отца семья на чужбину провожала.

Это было зимой, в самые морозы. На проводы сошлась из Голоплек и съехалась из соседних деревень вся большая семья Овсянниковых. Пришли и чужие, соседи. Окружив старшего Овсянникова, молчали. Приплясывали на месте от холода, грели замерзшие руки, хлопая ими в рукавицах о бока, обдували их своим дыханием. Наконец тронулись. Дети ехали в саних, взрослые гурьбой устремились поближе к хозяину. Впереди, понукая лошадь, вышагивал Тихон Фоканович, неторопливо, размеренно, на ходу давая последние наставления жене. А она, с грудным ребенком на руках, семенила рядом, не поспевая за размашистым шагом длинных, угонистых ног мужа: в девичьем еще полушубке на меху, много лет пролежавшем в ее бабьем сундуке рядом с белой свадебной шалью, теперь извлеченной из него ради такого редкостного события. То догоняла мужа, то отставала и, преданно заглядывая ему в глаза, ловила каждое его слово.

Провожали далеко, километра за три, на Чернь. Вот миновали Трубелицын лес, спустились к деревне Кальне, по мельничной плотине переехали речку Снежедь и стали подниматься в гору, на дорогу, что шла от Кальны к большаку. На ровном месте Тихон Фоканович остановил лошадь.

Все встали, стянули шапки, комкали их в руках, ждали, что скажет Овсянников на прощание. Долго стояли так... Все молчаливые, сдержанные, голосов первыми не подавали. Женщины, отворачивая головы, утирали глаза концами теплых шалей, а дети побольше с любопытством глядели на взрослых в ожидании церемонии прощания. Но прощания не было. Овсянников смахнул с головы мохнатую волчью шапку, поглядел недолго на семью, низко поклонился соседям, хотел что-то сказать, да вырвался из его горла один лишь хриплый булькающий звук. Взмахнул рукой, порывисто развернулся, хлестнул в сердцах лошадь, кинул уже на ходу свое большое грузное тело в сани и, не оглянувшись ни разу, скоро скрылся за холмом.

Ездил Тихон Фоканович ровно три года. Сначала семья получала известия от него, а со временем и они прекратились. Жена его, прослышав однажды, что соседний помещик якобы получил от Овсянникова письмо, тайком ходила в барскую усадьбу. Но к самому помещику подойти так и не решилась: обошлась расспросами знакомых. Выяснила, что речь в письме том шла о земле. А вскоре, однажды на рассвете, в окно небольшого, тесного домика Овсянниковых Тихон Фоканович сильно, резко застучал черенком кнута. Проснулись даже дети, на улицу высыпала вся семья. У ворот увидели запряженную парой сытых лошадей, крытую шатром телегу, битком набитую мешками с гречихой.

Голоплеки, да и соседние деревни, к этому времени почти все отсеялись, огороды посадили. Но в эту весну остались по неизвестным причинам непаханными земли между Голоплеками и Спасским-Лутовиновым. Не мешкая. Тихон Фоканович, как выяснилось тут же, землю эту купивший у помещика по письму, вывел всю свою большую семью в поле, землю распахан и засеял гречихой. И уродилась в том году та гречиха на славу, как по заказу. Овсянников в это лето удвоил привезенный капитал и к зиме поставил в Голоплеках большую кирпичную длинную засыпную избу с толстыми стенками, просторными деревянными сенцами и выложенными в высоту в виде веера кокошниками над окнами.

Зажила семья с тех пор хорошо: обуты, одеты, земля есть, по-прежнему не гнушались никакой работой. Хозяйство быстро поправилось: пахали каждую весну землю, сажали огороды, ухаживали за садом, скотом,

разводили пчел. И жить стали с тех пор, не в пример сельчанам, чище, культурнее. Теперь перестали гнушаться Овсянниковыми зажиточные соседи и из других деревень: звали в гости, предлагали услуги, сватались. Не пропали, как видно, эти три страшных года для главы семьи даром. Не зря поездил он по свету: научился порядку и умению вести хозяйство.

На деньги, вырученные от продажи своего товара, Тихон Фоканович в первую очередь учил детей. Учил добротой, и сыновей, и дочерей одинаково. Сначала определял в начальную школу, а затем, уяснив для себя способности и наклонности каждого в отдельности, отправлял детей во Мценск или в Чернь в средние училища. Помещал каждого на заранее подысканной квартире с готовым столом с тем, чтобы времени ни на что, кроме учебы, ребята не тратили.

Дмитрий Степанович Овсянников родился и всю свою жизнь прожил в Голоплеках в том, еще прадедовском доме, в стену которого вмонтирована металлическая табличка с надписью, что здесь живет фронтовик, инвалид Великой Отечественной войны, и с красной звездочкой на ней. В колхозе он — с первых дней коллективизации. С самого начала войны — на фронте. В первые ее месяцы в одном из боев был ранен в руку сразу тремя пулями. Руку ампутировали в госпитале поселка Шилово Рязанской области.

После госпиталя Дмитрий Степанович обосновался в Москве у родственников. В 1942 году, узнав, что родные места освобождены от врага, со специальным пропуском и разрешением семье на выезд в Москву пробрался в Голоплеки, но тщетно: семья не решилась покинуть родную деревню.

— Можно сказать, пришлось и в родных местах повоевать, — рассказывал Дмитрий Степанович. Линия фронта очень долго стояла на реке Зуше, и до нас долетали снаряды, прилетали вражеские самолеты, вокруг было много диверсантов, подняли головы власовцы. Помогал партизанскому отряду, который базировался в этих местах еще долго после изгнания фашистов. И сейчас со многими встречаюсь. Валерий Петрович Борзенков, родственник мой по линии деда Петра Тихоновича, помнится, привел в отряд глухонемого партизана, который живет теперь во Мценске. Вон там, за ракетами, — показывает Овсянников на ферму, — закопали оккупантов, которые пытались пробраться из Борзенков в Голоплеки. Партизаны их перехватили, здесь они и нашли свою погибель. А в Трубелицыном лесу, помню, ловили власовца. Командиром отряда был председатель местного колхоза, тоже Овсянников, а начальником штаба — учитель из Голоплек Иван Петрович Овсянников... Да, считай, и весь отряд состоял почти из одних Овсянниковых.

Раннее утро самого конца сентября. Только что закончилась последняя в этом сезоне дойка на летней молочно-товарной ферме в Голоплеках. Мастера машинного доения готовят в путь свои группы коров и нехитрый доильный скарб: сегодня лагерь покидают летние пастбища и переезжают из Голоплек на зимнюю ферму в Кальну. Мы с Дмитрием Степановичем стоим у околицы деревни и смотрим вслед уходящему стаду. Вот и колхозный автобус проехал мимо. Женщины машут нам руками, платками: до следующей весны!

Чуть отхожу в сторону и внимательно наблюдаю за Овсянниковым, пристально всматриваюсь в его фигуру, лицо. Что переживает он, крестьянин, покидая ферму, которой отдано столько времени и сил? О чем сейчас думает, вдруг сразу освободившись от всех забот? Он давно снял и держит в руках старенькую фуражку. Ветер гладит его длинные, все еще волнистые, густые красивые волосы, треплет пустой рукав рубашки, который развеивается на ветру, будто машет вслед уходящим. Подхожу к нему и спрашиваю:

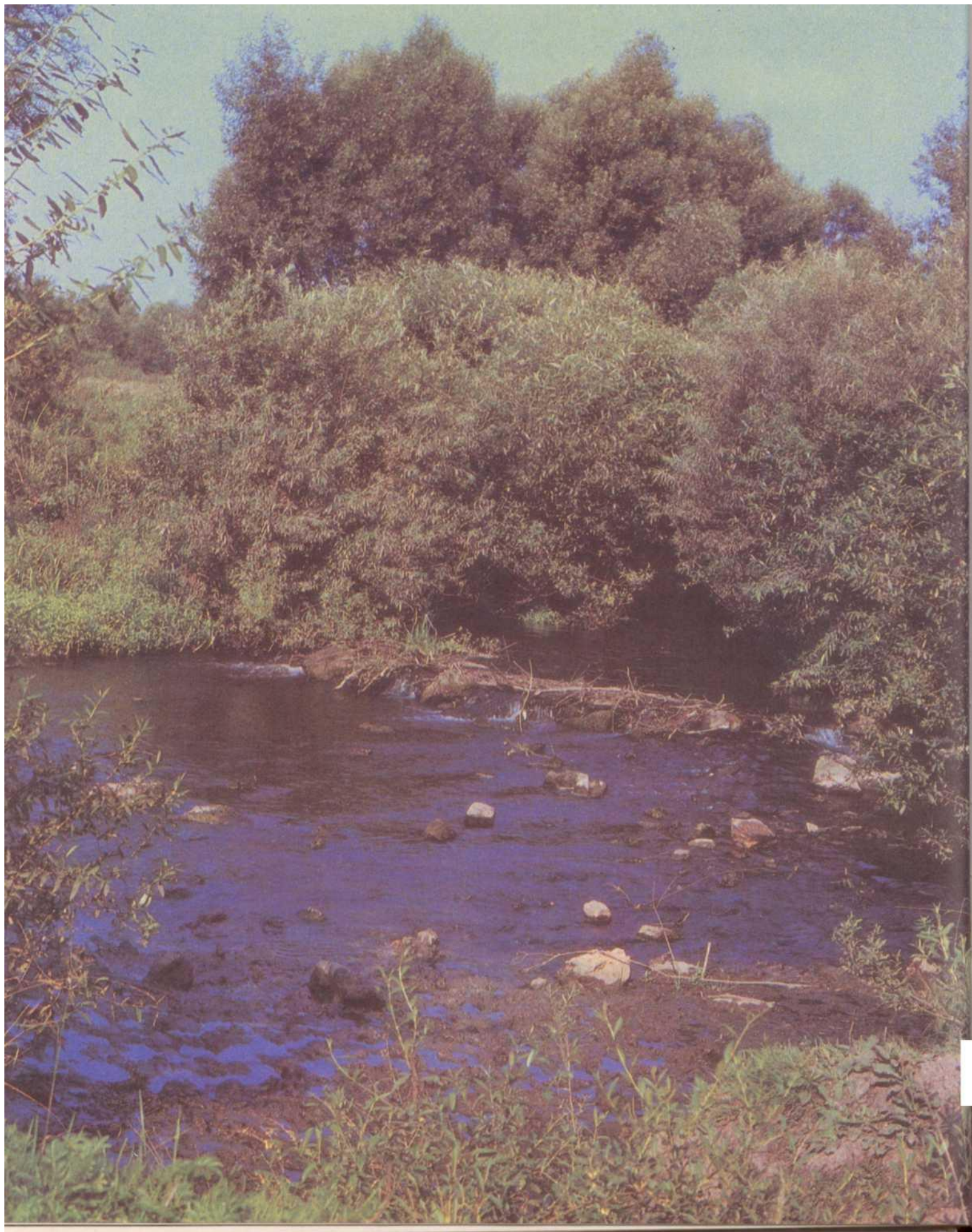


*Деревня, которой нет*



*Дмитрий Степанович Овсянников*  
*Dmitriy Stepanovich Ovsiannikov*





— Будете ли опять работать с будущей весны, Дмитрий Степанович?

— А как же, конечно, буду, если не свалюсь за зиму, — отвечает он. — Что делать без работы-то?

Этот вопрос я задаю ему каждую осень. И он каждый раз отвечает мне одно и то же.

Однажды я дала его племяннице Леночке Овсянниковой том «Записок охотника» И. С. Тургенева и просила ее внимательно, с карандашом в руке прочитать рассказ «Однодворец Овсяников».

— Прочитай, — говорила я ей, — и отметь карандашом все, что напечалит тебе родные места, твою деревню. Может быть, промелькнет перед твоим взором мысленно что-либо знакомое: лесок, поле, герой какой, изображенный писателем и напечатавший тебе кого-либо из местных жителей. Ты подчеркни, а потом покажешь и расскажешь мне.

Помню, принесла она мне книгу через несколько дней и на мой вопросительный взгляд ответила приблизительно так:

— Я здесь почти ничего такого не нашла, вот только... я тут подчеркнула... Когда несколько лет тому назад приезжали на автобусе, ну, в общем, фотографировали нас и спрашивали, то про нашего дядю Митю сказали, что у него лицо похоже на лицо Крылова...<sup>3</sup>.

У меня не было больше вопросов к девушке. Я вижу это ставшее для меня дорогим лицо ежедневно и, честное слово, согласна с тем, что «сказали с телевидения». Ведь журналисты тоже приезжали в Голоплеки, чтобы пройти по следам тургеневского героя, и в каждом клочке этой земли, в каждом человеческом типе, конечно же, искали и находили тургеневское. Ведь поразил же наше воображение когда-то Авенир Иванович Овсяников с его «ясным и умным взором под нависшей бровью» да еще и с редким именем тургеневского героя. А впоследствии мы убедились: здесь, на родной земле писателя, почти каждый ее житель светлоглаз и далеко не глуп.

Май 1988, Голоплеки

### **Таисия Ивановна Овсянникова, медицинская сестра**

Не позабудь, Россия,  
Есть дочери такие!..  
Аида Гунали

«Мне нужен Орел по срочному, Бежин луг я!» — кричит в трубку пожилая женщина, а я с изумлением узнаю, что почтовое отделение в селе Тургенево, где я сейчас нахожусь и откуда пытаюсь дозвониться до Орла, называется Бежин луг.

Орел, наконец, удастся получить, и я, сообщая своим домашним о намерении съездить в Полтево к Таисии Ивановне Овсянниковой, замечая, что заведующая почтовым отделением подняла голову от бумаг и заинтересованно смотрит на меня, а две другие посетительницы, стоящие поодаль и мирно беседующие, прекратили разговор и тоже обернулись в мою сторону.

— Вы что, знакомы с Таисией Ивановной? — по окончании переговоров обращается ко мне почтовый работник (как выяснилось в результате нашего более близкого знакомства, Завражнова Вера Вячеславовна). Ведь вы не издевайтесь?

— Да, она моя деревенская соседка, — сообщаю я... И чужих людей в комнате с этого момента как не бывало.

— Она ведь мне жизнь спасла, — говорит Вера Вячеславовна.

— А мою дочь вылечила, когда никто из медиков уже и не брался помочь ей, — включается в разговор учительница Мария Петровна Прохорова. — Было это тридцать лет тому назад. Жили мы тогда в





*Полтевская больница Poltavskaia hospital*

Полтеве, я в школе работала. Новорожденной дочери моей шла шестая неделя, и заболела она вдруг коклюшем. Мне сразу сказали, что она умрет, и отказались лечить. Тогда Таисия Ивановна говорит мне: «Хочешь, чтобы ребенок жил, — не спи! Как только закашляется, поднимай и держи торчком, поднимай и держи!» Несколько суток я так промучилась, она меня по ночам подменяла... Миновал кризис, и девочка стала поправляться. Никогда я ей этого не забуду, всю жизнь вспоминаю...

— А вам чего хорошего сделала Таисия Ивановна? — с улыбкой и как бы полушутя обращаюсь к третьей женщине, которая с интересом прислушивается к нашему разговору, но сама в беседу не вступает.

— Так Светлану Анатольевну Таисия Ивановна на свет принимала, она, наверное, и не знает об этом, потому и молчит,—одновременно, почти одними и теми же фразами сообщают Вера Вячеславовна и Мария Петровна о том, какими трудными были пятьдесят лет тому назад роды у учительницы Анны Михайловны Поляковой и как мастерски справилась с этой сложной задачей тогда совсем еще молоденький фельдшер Таисия Ивановна Овсянникова.

Действительно, трудовой стаж Таисии Ивановны Овсянниковой перешагнул за пятьдесят. И все это время она проработала в Полтевской больнице. Ее знает большинство жителей Чернского района



*Таисия Ивановна Овсянникова Taisiya Ivanovna Ovsyannikova*

Тульской области. А многие ее земляки, которым сегодня за пятьдесят или около того, действительно были приняты на свет ее добрыми, нежными руками. Эти руки так бережны в отношении ко всему, к чему прикасаются, что запоминаются в первую очередь и навсегда...

Ровно три года я соседствую с Овсянниковыми в Голоплеках. Ради этой знаменательной для меня даты приготовила им сюрприз: очерк о них. Они — мои первые слушатели и судьи. Но одну из первых знакомя, как правило, с написанным именно Таисию Ивановну. По ее реакции на прослушанное понимаю и достоинства работы, и ее промахи. А повелись такие чтения с первого очерка — «Тургенев и каленские крестьяне» — об этой земле. Пожалуй, я не смогу с точностью передать впечатление от ее реакции на прочитанное, но выражение лица, положение рук, движение головы всегда выдавали волнение Таисии Ивановны. По окончании чтения на мой вопросительный взгляд она спросила: «У вас в семье только вы или все пишут?»

Помнится, я промолчала, не ответила. Очерк же был сразу принят редакцией чернской газеты «Заря» и опубликован уже спустя две недели, накануне литературного тургеневского праздника на Бежином лугу. С тех пор, как правило, я не отправляю рукописей без того, чтобы их не прослушала и не оценила Таисия Ивановна.

Зная, что в Голоплеках она бывает только в свободные от работы в больнице дни, я отправилась однажды за девять километров в Полтево, чтобы повидать ее. В этом большом селе бывала не раз, и обязательно мы с ней проходили всегда по парку. Он посажен в самом начале прошлого века одним из местных помещиков и удивительно хорош даже в наши дни: повсюду стройные аллеи шершавых от времени лип, тополей, берез, дубов, кленов, на

территории разбросаны уже измененные временем, но все еще прекрасные старые пруды. Посреди парка — братская могила воинов Великой Отечественной войны. Этот клочок земли — самое ухоженное место в округе. Все остальное или исковеркано, или находится в полном запустении, в зарослях высокой, никогда не кошенной травы.

В парке же стоит средняя школа, которая еще в тридцатые годы была перестроена из красивой и добротной Полтевской церкви. От нее сохранилась лишь нижняя часть, что под зданием школы. Рядом со школьным двором — кладбище.

А мне при взгляде на эти жалкие, чудом уцелевшие остатки былой красоты и величия моей Родины каждый раз вспоминаются строки из «Тульских епархиальных ведомостей», где за 15 декабря 1904 года было помещено другое, живое и трепетное свидетельство того, как тщательно сберегали люди совсем еще недавно то, что было ими создано:

«Разные известия по Епархии (С о в е р ш е н ы освящения (. . .) отремонтированного храма в селе Полтево Чернского уезда»<sup>1</sup>.

Каждый раз, когда мы с Таисией Ивановной приходим сюда, лицо ее омрачается, взгляд темнеет.

— Неужели нет у нас такой силы, которая возродила бы всю эту красоту? Неужели она теперь никому не нужна? Ведь Полтево всего в десяти километрах от Спасского-Лутовинова, и здесь часто бывал Тургенев, описывал Полтево в своих произведениях. У одного из его героев даже фамилия такая есть — Полтев, — говорила Овсянникова взволнованно при первом нашем совместном осмотре парка, и голос ее дрожал от гнева и скорби<sup>2</sup>.

Чувствуя необходимость вывести ее из этого состояния, я, помнится, попросила показать мне еще и Полтевскую больницу. Когда подходили к зданию больницы, Таисия Ивановна, уже переключившись на другое, рассказывала:

— Больницу построил местный священник для окрестных крестьян в самом конце XIX века. Вернее, непосредственно заботились о строительстве его сыновья, которые учительствовали тогда в Туле, а сам он только лишь финансировал строительство. Был кем-то разработан и использован очень удачный проект: первый этаж — для больных, второй — квартиры для медперсонала, врачей и фельдшеров. Видите, здесь большие, светлые окна, высокие потолки, просторные палаты. В одном крыле — поликлиника. Обогревается здание сухим воздухом, который от единственной мощной печи поступает в отверстия между стенами. Поэтому здесь всегда тепло и сухо. А тут, — приглашает она меня на второй этаж здания, — почти полвека живу я. Рядом есть еще квартира для медперсонала, но, надо признаться, что ей не повезло: обитатели ее, как правило, не задерживаются здесь надолго.

По мере осмотра больницы Овсянникову то и дело останавливали больные. Подходили по одному и небольшими группами: кто-то жаловался, кто-то просил помощи и совета. Пока она, предварительно извинившись передо мной, измеряла давление старушке, я подошла к сидевшему на диванчике мужчине, присела рядом с ним, поинтересовалась, какие же все-таки функции в этой больнице выполняет Таисия Ивановна Овсянникова. Он ответил:

— Замещает главврача, уехавшего на три месяца на курсы.

— Как? — удивилась я. — Медработник среднего звена и вдруг замещает главврача?! Здесь не хватает медперсонала?

— Хватает, конечно, — говорит он, — но наш главврач уезжает спокойно только тогда, когда ответственной за больницу остается Таисия Ивановна. Лучше ее никто не может быстро и правильно определить причину болезни, оказать необходимую помощь. Да и внимательна она к людям до такой сте-



пени, что каждый, кто попадает в Полтевскую больницу, прежде желает удостовериться, здесь ли она, а тогда уже успокаивается и ложится на лечение. Она все умеет, никогда не ошибается: не медсестра, а настоящий земский врач!

Помню нашу первую встречу три года тому назад. Я увидела ее в Голоплеках на огороде. Набралась смелости, подошла, представилась. Она сняла с рук белые нитяные перчатки, в которых работала, протянула мне руку. Я обратила внимание на то, что руки у нее прекрасные: белые, мягкие, удивительно ухоженные. Поинтересовалась:

— Наверное, жарко в перчатках работать? Могу дать рецепт, как обработать руки, чтобы они и после «грязных» дел остались по-прежнему неиспорченными.

— Мне нельзя без перчаток, — ответила Овсянникова, — я сохраняю руки, как только могу, всю жизнь. Это для меня особенно важно, ведь я прикасаюсь ими к людям.

В весенне-летний период я постоянно теперь живу в Голоплеках. Это вовсе не значит, что никогда и никуда не уйду и не уезжаю отсюда. Напротив, каждое утро рано-рано я иду за пять километров в Спасское-Лутовиново, где и работаю в заповедной усадьбе Ивана Сергеевича Тургенева. Ухожу, когда Таисия Ивановна, большую часть лета живущая в Голоплеках в отцовском доме, еще спит. А возвращаясь вечером с работы, обычно никогда не минуя ее дом. Захожу поздороваться, отдохнуть с дороги. А частенько за чаем провожу у нее и весь вечер. Мои домашние знают, где следует меня искать, но напоминают о себе обычно только очень поздно, когда, потеряв ориентацию во времени, мы беседуем и наговориться никак не можем: столько у нас оказалось общих проблем.

Голоплеки оживают. Нет здесь теперь никому не нужных, брошенных домов. Правда, живут в них пока в основном дачники да городская молодежь, получившая в деревне наследство. Облагораживается, очищается от грязи и мусора единственная деревенская улица. Таисия Ивановна здесь — одна из медиков на несколько окрестных деревень. Знает каждую семью, каждого человека. И мне не надо далеко ходить за новостями: в ее отцовском доме всегда самые свежие и достоверные сведения.

Сегодня предстоит разговор особый. Овсянникова о нем еще не подозревает, а я давно уже мучаюсь мыслью о том, как же его получше начать. Да так, чтобы не обидеть, не отпугнуть ее от себя. И вот надумала пригласить ее поговорить в саду за чаем. Перед этим мы не виделись несколько дней. Все это время шли проливные дожди. Дороги так развезло, что нечего было и думать о том, чтобы утром и вечером преодолевать ежедневно путь длиною в пять километров до Спасского-Лутовинова и обратно.

И вот мы снова встретились. Глубокий вечер. Мы сидим в саду за столом под яблоней. Ветви старой антоновки, как густая естественная беседка, укрывают нас от темноты. Электрический шнур протянул лампочку с ветки, и нам светло и уютно. Мы пьем горячий чай со свежим вишневым вареньем, вдыхаем запах ночной фиалки — у входа в мой домик целая гряда маттеолы — и любопытный лик луны заглядывает к нам через просветы между ветвями деревьев.

— Таисия Ивановна, — обращаюсь я к ней. — Я закончила работу над серией очерков о родной земле Тургенева и ее типах, среди которых есть несколько и о вашей семье. Хотела бы вас с ними познакомить.

— Прошу вас, ничего не пишите о нашей семье! Нам пришлось столько пережить... В тридцатые годы постоянно ждали беды. Тогда люди, с которыми только что виделись, вдруг бесследно исчезали, и их уже больше никто никогда не встречал. А мой папа еще до революции служил в русской армии, был офицером. Меня только за это из Спасской школы три раза исключали. Поэтому не пишите, не надо, прошу вас! — взмолилась она.

Всю ночь после этого разговора я не спала. Ворочалась в постели, вставала, ходила по комнате, затем снова ложилась, но сна не было. Реакция Овсянниковой на мои наблюдения и заметки разрушала все мои дальнейшие планы. Я проследила историю этой семьи в связи с творчеством И. С. Тургенева со времен еще более ранних, нежели время рождения писателя. Фактов набралось столько, что хоть основа-

тельный труд пиши, и вот пожалуйста: «Не пишите!» Не учесть пожеланий Овсянниковых никак нельзя. Ведь они ходят по этой земле, трудятся на ней, поэтому их слово, конечно, для меня — закон.

С утра было плохое, пасмурное настроение. Нежелание Овсянниковых обнародовать о себе людям обрывало нить исследований, а с нею ставило под сомнение и дальнейшую мою цель: создание серии очерков на тему: «К истокам творчества И. С. Тургенева». Потеря такого важного звена в ней, как исследование о потомках предполагаемых однодворцев, описанных Тургеневым, могло оказаться попросту невозможным.

Промучившись так до обеда, я все же взяла рукопись и храбро отправилась к Овсянниковым.

— Пусть, — рассуждала я, — никто не узнает об очерках. Но Овсянниковы-то обязательно должны послушать рассказ о себе, который я написала. Ведь многого из жизни своих предков на этой земле они и не ведают...

Дома у Овсянниковых была только Таисия Ивановна. Увидев в моих руках трубочку из бумаг, она посмотрела на меня вопросительно.

— Я все же хочу почитать вам. Не пожелаете, чтобы другие знали о вас, не надо. Я не буду предлагать этот материал для публикации. Но давайте хоть прочитаю вам, — предложила я ей, — да вам и подарю. Ведь это своего рода исследование, а значит, чистая правда.

— Хорошо, хорошо, я с удовольствием послушаю, — согласилась Таисия Ивановна. И я приступила к чтению. Не стану передавать всех перипетий последующих минут. Сообщу лишь несколько ее реплик, которые по мере чтения учащались, становились живей и эмоциональней.

— Конечно, все это так и было!.. А вы написали, что Дмитрий Степанович с одной рукой? Господи, если бы люди знали, как он живет, как ему трудно! Ведь ему семьдесят пять лет, у него жена парализована, а он все сам делает. Не поверите, картошку одной рукой чистит! Прижмет ее к колену — и чистит! Несмотря на свои невзгоды, еще и в колхозе работает. Конечно, о нем надо написать, — говорит она, взволнованная и возбужденная нахлынувшими воспоминаниями о прошлом.

— А знаете, мама мне рассказывала, — продолжает Таисия Ивановна, — как папа ее в Голоплеки привез. Папа воевал в первую мировую войну, был тяжело ранен, затем немного служил под Петроградом. А когда объявили Февральскую революцию, снял погоны и уехал с семьей в Голоплеки.

Со слов дочери трудно представить и достоверно передать жизненную историю ее отца. Говоря о родителях, Таисия Ивановна, естественно, волновалась: голос ее то усиливался от возбуждения, то срывался, а то и вовсе замирал от нахлынувших мыслей и воспоминаний.

А что из скупого ее рассказа удалось узнать об отце Таисии Ивановны, учителе из Голоплек Иване Петровиче Овсянникове, об этом — в следующей главе.

### **Учитель из Голоплек**

В 1883 году, когда скончался великий русский писатель Иван Сергеевич Тургенев, в Голоплеках в семье однодворца Петра Тихоновича Овсянникова родился сын, которого назвали Иваном. Иван Петрович — так уважительно называли его сельчане с ранних юношеских лет. А был он одним из самых образованных в округе. Не пожалел отец средств на обучение и образование этого сына, самого способного к наукам, умного, вдумчивого, рассудительного и чуткого. Но хоть и получил Иван Петрович образование, деревенский труд любил: пахал землю по веснам, косил траву, ухаживал за скотом. Никогда не отказывался ни от какой тяжелой и грязной работы.

Перед первой мировой войной женился. Жену взял из Тулы. Привез ее в Голоплеки, и потом долго вспоминали в деревне об этом дне. Рассказывали, что дороги тогда развезло от дождей, и приехали моло-



*Екатерина Николаевна и Иван Петрович Овсянниковы, 1914 Ekaterina Nikolaevna and Ivan Petrovich Ovsiannikov, 1914*

дые на телеге. Держа лошадь под уздцы, понукая и нахлестывая ее, в высоких болотных сапогах вышагивал впереди сам Овсянников. А в телеге, свесив ноги в новеньких высоких шнурованных ботинках на высоких каблуках, сидела его молодая жена и испуганно смотрела на толпу, которая по мере приближения к дому Овсянниковых катастрофически нарастала. И, наконец, она с ужасом поняла: вся деревня тут.

У дома Овсянниковых подвода остановилась. Екатерина Николаевна растерянно искала взглядом место на земле, куда можно было бы ступить. Но грязь была везде непролазной. Муж растерялся. Взять на руки и унести в дом? Не поймут соседи, судачить будут. И тут нашелся отец Ивана, Петр Тихонович: бросил на землю между телегой и крыльцом дома неведомо откуда взявшуюся дубовую широкую доску, подал руку молодой невестке, и прошла она в дом мужа, стуча в последний раз в жизни тонкими модными каблучками. Оказалась жена уважительной, безропотной, работающей.

Рассказывали потом, что ботинок этих у нее больше никогда не видели. Некуда, да и незачем было надевать их в Голоплеках. А еще в деревне говорили, что Иван Петрович женился на дворянке потому, мол, что эти Овсянниковы — сами дворяне, и ему по-другому было никак нельзя. Позабыли, видно, соседи, что все другие парни в этой семье переженились на крестьянках и однодворках.

Не успела молодая семья обжиться, как грянула первая мировая война. Дни и ночи тревожно звонили тогда колокола Костомаровской, Полтевской, Ветровской, Шаламовской и Спасско-Лутовиновской — Спасо-Преображения — церквей в округе. То призывно-тревожные, то заунывно-печальные раздавались их малиновые голоса, будоража сердца людей, и без того надорванные предстоящей разлукой с близкими.

В деревнях появились нарочные с повестками. Обходили со старостой дворы. И из какого бы двора ни вышли, неслись вслед им долго и страшно дикие крики и причитания обезумевших от горя солдатских



жен и матерей. И только у Овсянниковых было тихо. Так тихо, что жуть от этой тишины навалилась и на соседей, давно следивших за степенной походкой нарочного и семенящим сбоку от него своим, деревенским, старостой. Вот вышли они от Овсянниковых. Вот скрылись в другом доме, а у Овсянниковых — ни звука. Только на другой день рано утром Петр Тихонович запряг гнедого мерина в телегу, чтобы везти сыновей в Чернь на сборный пункт.

И опять, в который раз, собралась вся деревня от мала до велика: длинной цепочкой растянулись по дороге на Кальну подводы.

Шли голоплекские мужики и парни без шапок, в нарочно дрянной одежке: все равно пропадет! Миновали Кальну, перешли речку по деревянным лавам, поднялись на гору, остановились. Многие в последний раз видели и речку эту, Снежедь, и деревню на холме. А своя давно скрылась из виду...

На фронте получил Овсянников чин офицера за храбрость. Демобилизован был по ранению. Первая дочь родилась в 1915 году, когда отец находился на передовой. Приехав в родные места, он стал учительствовать. Каждый день в окружении шумной веселой гурьбы деревенских ребятишек ходил из Голоплек в соседнюю деревню Ветрово, где в добротном каменном красивом доме, выстроенном еще мельником, купцом Чадаевым, располагалась школа. По дороге присоединялись ребятишки из Кальны и Руси — но, набиралась большая ватага.

В двадцатых годах сговорились односельчане, сложились, купили в соседней деревне два деревянных сруба, перевезли их в Голоплеки, всем миром поставили школу. Первым народным учителем в ней стал Иван Петрович Овсянников.

Семья прибавлялась. Дочь Таисия родилась как раз в день Великой Октябрьской социалистической революции, 25 октября (7 ноября) 1917 года. В 1924 году родился и первый сын, Владимир. А в 1929 году — последний сын, которого нарекли необычным для этих мест русским именем — Авениром. Тридцатые годы были трудными для семьи Овсянниковых во всех отношениях. Первая мировая и гражданская войны, когда постоянно не хватало мужских рук в хозяйстве, обескровили семью. Перед Великой Отечественной войной семья учителя жила уже своим домом: в том самом, куда наезжают теперь Авенир Иванович и Таисия Ивановна летом.

Война не миновала и этой семьи. Погиб старший сын Ивана Петровича — Владимир. В Голоплеки пришли гитлеровцы. Шестидесятилетний учитель стал партизаном. Отряд базировался в самих Голоплеках. О годах оккупации в семье вспоминают редко и неохотно: после того, как выбили фашистов из Голоплек, в доме Овсянниковых остались голые стены. Даже чемоданчик, полный семейных фотографий, гитлеровцы при отступлении прихватили с собой. Когда краснозвездные самолеты разбомбили под Чернью вражескую колонну, долго еще разносил ветер и мочил дождь эти дорогие Овсянниковым снимки. Люди рассказывали потом, что видели их грязными, размокшими, разорванными.

...Долго не решаюсь задать Таисии Ивановне последний, самый, на мой взгляд, не деликатный, но принципиально важный для меня вопрос — о том, знает ли она что-либо о дворянстве своих предков, Овсянниковых из Голоплек.

— Как же, — отвечает она, — конечно, знаю. Да и все в округе знают о том, что наши предки были однодворцами, которым за военные заслуги было дано дворянское звание. Мы из-за этого в тридцатые годы и пострадали. Все время ждали неприятностей. Папиного брата, дядю Сашу, обвинили в том, что он попал в плен к немцам в первую мировую войну, и выслали в Казахстан, а он только успел обзавестись семьей. Там он и умер. А папе моему не смогли предъявить никакого обвинения, так как с 1917 года он был народным учителем, был беден и честен; имел в округе хорошую репутацию. Но попытки оскорбить и унижить нашу семью были... А какие мы дворяне? Один папа мой из всей семьи стал учителем, а все остальные мужчины в роду во всех поколениях землю пахали и за нее держались.

— Нет ли у вас, — спрашиваю у Овсянниковой, — каких-либо предметов или вещей, которые смогли бы напомнить теперь о вашем отце? Может быть, есть все-таки какие-нибудь фотографии, книги?



*Нижний пруд в Голоплеках*  
*Lower pond in Golopleki*

— Нет, ничего нет, все погибло во время оккупации... Вот... этажерка разве... Ее папа сам смастерил уже после войны, на ней стояли его книги. Да вот еще школьный глобус, — показывает она.

В углу комнаты дома Овсянниковых в Голоплеках стоит покрашенная белой эмалевой краской добротная этажерка, выполненная под старину, но новодел. Наверху на черной деревянной ножке покоится простенький школьный глобус. Это все, что осталось в память об учителе Иване Петровиче Овсянникове, который проучительствовал в Голоплеках сорок три года. Да вот этот добротный старый дом. Да его замечательные дети — Таисия и Авенир Ивановичи — и сотни советских людей, которых выучил грамоте и напутствовал в жизнь Иван Петрович Овсянников.

...А фотографии этой семьи я все-таки нашла. Правда, не в Голоплеках, а в Москве. Их прислал и подарил мне Юрий Михайлович Черемисинов, архитектор из Москвы, сын родной сестры Дмитрия Степановича и Нины Степановны Овсянниковых — Лидии Степановны. Вероятно, они были сохранены его матерью. Их несколько, этих старых снимков, и каждый по-своему интересен. На одном из них снят Иван Петрович Овсянников в форме унтер-офицера в самом начале первой мировой войны. Рядом — его молодая жена Екатерина Николаевна... На другой — с Петром Тихоновичем в центре — Екатерина Николаевна и младшая дочь его Анна Петровна... На третьем — семья Степана Петровича Овсянникова. Рядом с главой семьи его жена Пелагея Петровна. На руках ее — годовалый Дмитрий Степанович, из чего следует заключить, что снимок был сделан в 1913 году.

Но особый интерес, на наш взгляд, представляет собою снимок всей семьи Овсянниковых из Голоплеков во главе со старейшиной ее — Петром Тихоновичем. Выполнен он, как сообщила Таисия Ивановна, черным фотоаппаратом в 1918 году. Таисия Ивановна здесь — самая младшая, годовалая, а Дмитрий Степанович, в первом ряду, крайний слева, шестилетний. Чуть выше него сидит в белой рубашке и фуражке твердым околышем учитель Иван Петрович Овсянников, другие дети, внуки, невестки Петра Тихоновича.

На фотографии чуть виден и кирпичный толстой кладки просторный дом Овсянниковых, тот самый, прадедовский еще, в котором и живет теперь Дмитрий Степанович с семьей и сестрой Ниной Степановной.

Минули давно те далекие времена, когда тесно было в Голоплеках от народа. Разъехалась по стране и семья Овсянниковых. Но каждому из них дорога память о прошлом родной земли. И многих тянет на родину.

Вот и Юрий Михайлович Черемисинов стал в своей родной деревне дачником: купил у колхоза прадедовскую еще часть дома, что с 1930 года стоит с заколоченными окнами и разваливается. И ему, и живущим в Голоплеках Овсянниковым особенно дорог этот край, потому что все они — земляки великого русского писателя, что и делает неповторимым окружающие их места. И судьбы этих людей необыкновенны. И память их о прошлом дорога и светла. Такая светлая, какой была жизнь учителя из Голоплек Ивана Петровича Овсянникова и его необыкновенных предков.



## Баба Груня

Было время, что я с ума сходил от  
народных песен.

Из письма И. С. Тургенева  
Н. А. Некрасову

Чтобы познакомиться и побеседовать с самой старшей из ныне здравствующих уроженцев Голо- плек бабой Груней — так любовно в округе называют ровесницу века Аграфену Афанасьевну Коптеву, — мне пришлось отправиться в поселок Жизнь, что на центральной усадьбе колхоза «Родина». Деревянный домик старушки в Голоплеках все чаще пустует. А в это лето в первый раз в своей жизни она ни разу не пришла в родную деревню. Не смогла...

Пройдя километра три от Голоплек на север и оставив слева деревню Кальну, я вышла к реке, по новому широкому мосту перешла на другой берег, по наезженной грунтовой дороге поднялась на крутой холм, застроенный новыми коттеджами для колхозников. Обернувшись назад, постояла.

День вставал солнечный и обещал быть теплым. Под обрывом спокойно текла Снежедь. Здесь, десятью километрами ниже Бежина луга, она особенно заметно петляет. А несколько ее хорошо обозначенных старых рукавов свидетельствуют о том, что за многие века существования русло свое речка меняла не раз. Отсюда, с холма, деревня Кальна видна вся, до последнего домика.

Жилище Аграфены Афанасьевны Коптевой я нашла сразу. Коттедж стоит рядом с колхозным медпунктом и разделен на две половины: одну занимает семья колхозников, а в трех комнатах другой живут три старушки: она, баба Груня, Ольга Петровна Борзенкова и Прасковья Петровна Овсянникова. Последние две помоложе Аграфены Афанасьевны и летом обычно живут в своих родных деревнях: Ольга Петровна — в Борзенках, а Прасковья Петровна — в Голоплеках. И только баба Груня не осилила в это лето дорогу на родину, осталась «на поселке». Здесь все рядом: и магазин, и медпункт, и вода в доме.

Я долго стучала: сначала в дверь, а затем в окна. Когда совсем уже потеряла надежду на встречу с ней и решила зайти в медпункт с тем, чтобы справиться об Аграфене Афанасьевне, дверь вдруг растворилась настежь, и в проеме показалась старушка — босая, в шерстяном зеленом платье и черном платочке на голове. Узнав, что я из Голоплек и шла к ней, она усадила меня в прихожей на диван и, примостившись рядом, первым делом спросила:

— Что жа, деточка, стоять Голоплеки-то?

— Стоят — и вас ждут, — ответила я.

— Ой, детка, да мне ведь восемьдесят третий годочик... Счас вот одна, сижу тут... А какие Голоплеки-то были вяселя!.. Дочка, весялитесь, не горюйте, жисть она как дальше, то горше... Уж и попе- лася я, и напаясалася...

Голоплеки на припеке,  
Там обшито кумачом,  
Кабы не было зазнобы,  
Не пошла бы нипочем! —

вдруг весело, задорно «заговорила» старушка.

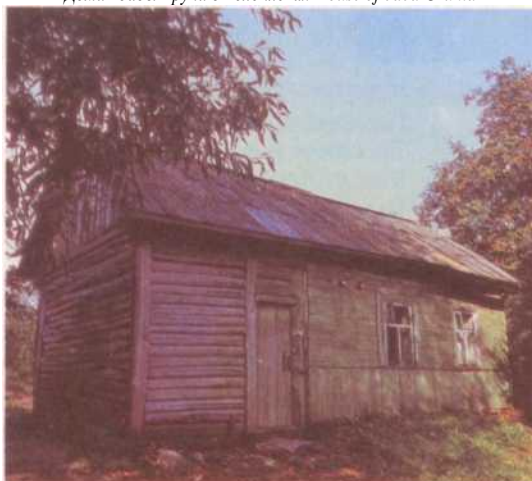
— Вот нядавно умярла здесь, значить, Дуня Голоплецкая. А выходила она замуж то ли в Овсяни- ковой, то ли еще куда... Дуня... большая такая, Евдокия Павловна, муж ея погиб... Ой! — спохватилась она вдруг, что говорит не о том. — Совсем я никуда стала, хошь бы помереть... Пойду в Голоплеки-то, пойду... плохая я стала, ужась плохая — и глухая, и слепая... Так-то у меня все собрато, и деньги на книжке лежать, — путано, неожиданно переходя с одной мысли на другую, то ли тихо жаловалась, то ли просто рассуждала сама с собой старушка.

*Деревня, которой нет*

*Баба Груня*



*Баба Гоуня Baba Grunia*  
*Домик бабы Груни в Голоплеках House of baba Grunia*



- Баба Груня, говорите, умирать пора, а сами только сейчас пели, — удивляюсь я.
- А-а, дочка, етово у меня сколь хошь. В деревне-то своей я всягда первая была, задира, запивала... Нигде без меня-то не обходилось, что вечорка, что свадьба...
- А про свою деревню вы что еще пели?
- Про свою-то?... А-а вот хошь бы и ету:

Голоплецкая деревня —  
Не хвалю и не корю,  
Завяду себе синпатию На  
самом на краю!

- Вот еще, — говорит она, помолчав:

Мой муж пьяница.  
Не вялит румяниться,  
А я ево не боюсь,  
Нарумянюсь, напляшусь!..

Я, бывало, запою:  
Не сдавалась соловью!  
А теперь отпелася,  
Куда веселья делася?!

— Ух, и попела я! — заключает старушка. А я, глядя на нее, с удивлением отмечаю, что никакая она вовсе и не старушка, ей никак нельзя дать ее лет: глаза весело блестят, на щеках выступил легкий темноватый румянец, и даже морщины, кажется, разгладились. А может, их вовсе и не было?

— А родители-то ваши, Аграфена Афанасьевна, тоже такие же веселые были, как вы? — опять пытаюсь навести ее на воспоминания.

— Нет, дочка, иде уж там... я с пятого года, Коптева-то — голоплецкая фамилия моя, батюшко- ва, Афанасия Ивановича... Бросил, сукин сын, уехал... мене было... счас скажу... пять, нет, шесть али семь... а-а, девятый годок ишол. А он поехал, смылся, скрылся. Троя остались у мамочки, я теперь уж одна осталася... — И заплакала: — Мы бедные были, отца-то не было... — И запела:

Наша деревня горем убитая.  
Мамынька родная, сердце разбитая:  
Милай не хочеть любить.

Я полюбила яго недстойнага Чистай  
открытай душой,  
А он измянил. мене сердце разбил,  
Стал он другуя любить...

Брось, моя дитынька, брось ненаглядная.  
Время придеть, ты полюбишь другова,  
Шаслива будешь с ним жить...

- Ето все мамочка пела... и я тожа... потом...
- А вы из однодворцев будете или из крестьян? — снова обращаюсь я к ней.
- Не-е, у нас все были однодворцы... Наша-то деревня хорошая была, чистая. А ухажеры какия! Помню, у меня барзенский был, Петр Палыч, Пятюшка Федин... ну-у... Пал Федоров сын... ха-а-ро-шай был, кра-асивай... и другая...
- Что же вы, не пошли за них ни за кого?



— Не-е... оне не сваталися за меня... я бедная, а оне богатые. Рази можна?... А весяла-то што была!.. Бывало, оженять их, ухажеров-то, а оне так за мною и ходють...

Я любила, не грубила,  
Он любить меня не стал,  
Я другова полюбила,  
Он опять ко мне пристал!

— Вот так-то. — Помолчала:

Девочки, красуйтеса,  
Ребят любить не суйтеса,  
У них холодные сердца,  
Оне не любить до конца!..

— Фамилия-то моя пишуся Ширяева. Ох, милья, выходила-то я за вдавца, у ево ребенок был. Два года пожила — и к чертовой матери! Выходила-то я в Бобыли... А потом вышла за холостого, во двор приняли... А потом ево на войну взяли, он и погиб... Жили-то хорошо, дружно жили-то. Вот проводила мужа-то, плакала, и он плакал... Виктор Васильич Ширяев... любил меня, я вяселая была. Бывалоча, величать, и за столом, и так...

— А как за столом?

— Ну, вот:

Весяла и наша горенка-а...  
Дорогая наша гостья Да-а  
Анна Ивановна-а...

— Кого величала? Да всех девок. Без меня, бывало, ни-ни, ни вечорки, ни свадьбы... все равно найдуть, идола. Уеду во Мценск, а они найдуть... Ух и пела!

Милай мой, а я твая,  
Брось жану, возьми меня,  
Брось жану законнаю,  
Возьми мяня знакомаю!

Учарася я разбила Два  
стакана чайнава,  
А севодни получила Два  
письма печальнава...

Мене милай изменил,  
Я упала перед ним:  
Что ж я, дура, падаю  
Перд такою гадою?! —

звонко, без передышки чатила баба Груня. Над последней частушкой мы обе долго, весело и дружно смеемся.

— Со мною нахохочесся, — отдышавшись, говорит старушка.

Весяла я, весяла,  
Весяла девчоночка,  
Только тем не весяла —  
Гуляю без миленачка...

Весьяла я, весьяла,  
Рюмку выпила вина:  
Это милага измена Пить  
заставила меня!

Весьяла я, весьяла,  
И веселая расту:  
Маю тихаю падругу Удавили  
на кусту!..

И мы вновь смеемся, понимающе, заговорщически глядя друг на друга.

— Ну, хватить, а то животики-то порвем. Тебе, может, надоест?

Помолчали. Я спросила:

— А вы, Аграфена Афанасьевна, в колхозе много работали?

— Как же!.. Был в Голоплеках колхоз-то. Кто у нас председателем-то спярва был?.. А-а, Сергей Васильевич был, Овсянников, наш, голоплецкай... Потом Андрей Фомич был... бригадиром. Анатолий Андреич-то, его сынок, счас директором школы на поселке... А потом война. Я все голодная... работала. Бедная была, а все, бывало, пела. После войны-то горше было: одна осталась, деток-то про это не знаю. Мужа жалею...

Сидит баба Груня, опершись локтем о колено. На руку голову положила, горюет:

Эх, прошли золотыя денечки,  
А моладасть, где же ты, где?  
Прохладный страшный ночи...  
Остались одне лишь мечты.

Сухой бы я корочкой питалась,  
Тобой бы, мой милай,  
наслаждалась И тем довольная  
была.

Сымитя мне комнату сыруя,  
Я буду жить у ней одна,  
Приди ко мне, милай, поскорее,  
А то мне скушно без тебя...

Кари глазки, где вы скрылись?  
Мне вас больше не видать.  
Где вы скрылись — запропали?  
Навек заставили страдать...

— Тебя я, милай, не позабуду, буду плакать и любить... Эх, Витя-Витя, што же ты наделал, зачем ты меня бросил?.. Бывало, бежить-бежить с работы, грит, не чаю, как кончить... Карточки? А у меня ей нету. Нету, ей-богу, нету. А пенсию я получаю не колхозную, за погибшага мужа, пятьдесят рублей... Всю жисть у колхозе, как начался колхоз и до...

У колхозе я родилась,  
У колхозе мая мать,  
У колхозе научилась сирбияначку плясать!

— Попелася я, попелася... Идолы, все равно найдуть, приедуть, — так совсем неожиданно подытожила старушка свои воспоминания о 30—40 годах. — Ну, ладна, счас хорошенькаю выбяру, отдохнешь, — обращается она ко мне, — какую же мне, ету?.. А «Вечер вечерее» знаешь?

Я отрицательно качаю головой, и она запекает:

А вечер вечерее, колышется трава,  
Нейдет-нейдет мой милай,  
Пойду к няму сама.

Иду, а ветер воет, едва ль на свет гляжу,  
А сердце болить-ноет, я што ему скажу...

Зашла я на крылечко и стала у дверей,  
А бедная сердечко забила сильней.

Дрожащею рукою звонок я подала,  
Прислуга выходила, мне двери отперла.

Зашла я в ету комнату и вижу пред собой,  
Мой милай друг-изменщик цалуется с другой...

Изменщик ты коварнай, што сделал ты со мной?  
Ты клялся и божился, што не гулял с другой!

Сегодня понедельник, а милай не пришел,  
Наверно, рассердился, гулять с другой пошел...

— Что же вы. Аграфена Афанасьевна, в Голоплеки-то пойдете? Я могу взять вас с собой, вместе потихоньку и дойдем... А то можно попросить кого-нибудь, чтобы довезли вас, — предлагаю я ей.

— Ну ево к черту! Я пашой люблю. Так-то, колтых-колтых, и приду в свою деревню.

Я ишла, ишла, ишла,  
Ишла, торопилася,  
Если б знала, ево нету,  
Назад воротилася!

Затем задумалась опять, пожаловалась:

— Как хочется в Голоплеки-то! Домик-то мой, деревянненькай, возле Анатоля Андреичева, знаешь? У меня са-ад... Завтра приду! — вдруг решительно заявила старушка.

— Точно придете? Я ждать буду.

— Приду, как жа не приду... Я ведь там родилася! — И вдруг спросила: — Кто там теперь новые-то?

И я подробно рассказываю ей о том, как и кто теперь живет в Голоплеках. Услышав знакомую фамилию, сообщила:

— Эти из Губаревки. хамы, из крестьян. — Затем, понизив голос: Рбги носили! А говорить как? Хто, а у нас: кто. Далёко, а у нас: далеко. У них: каго-чаго. У нас етово нет. У нас по-другому было. Платьница носили. Мы с ими не занималися.

— Баба Груня, да вы ведь сами из бедноты, неужели еще различали, кто из однодворцев, а кто из крестьян?

— А как жа! Мало ли чево, а ето первая дело! Чистые-то деревни были наша, Борзенки, Шала- мовка. Русина еще... Кальна — хамы. Ветрова — хамы. Счас-то они вон как ходють, а были хамы, крестьянский... Да-а. наши Голоплеки хорошия были... Были и богатые... А ето, штоб на ково работать — ни-ни!.. Ну да, мы бедные были, ходили в лапоточках. Оне, как ни говори, с отцами жили, а меня отец бросил. Всю жисть все сама:

Сама садик я садила,  
Сама буду поливать,  
Сама милава любила,  
Сама буду целовать... вот!



Мы прощались с Аграфеной Афанасьевной «до завтра». Я сложила в сумку письменные принадлежности, мы с ней расцеловались. А она неожиданно опять зачастила:

А што ето за садочик.  
За зелененькай такой,  
А што ето за парнишка Развеселенькай такой?

Я уселась на диван, вынула блокнот, авторучку и записала эту частушку. Затем снова поднялась и снова стала прощаться. А она, развеселившаяся, помолодевшая, с хитринкой в лукавых глазах, никак не унималась:

Он любить меня не любить,  
Только славушку кладеть,  
Палажил мой милай славу,  
На всю улицу позор.

Девчоночке стыдно стало,  
Стала плакать и рыдать,  
А мальчонке жалко стало,  
Стал он ея уваймать:

Не плачь, девка, не плачь красна,  
Будешь вечная моя.  
Как надумаю жаниться,  
Возьму замуж за себя.

А мамашечка сердито будет день и ночь ругать.  
Вынимает дед с кармана свой же розовый платок,  
Утирает девке слезы и румяная лицо.

Я лихорадочно записываю и эту песню, стараясь не упустить ни слова.

Наконец, окончательно распрощавшись со старушкой, схожу по ступеням крыльца. Но блокнот и перо держу все же наготове. И не зря:

Песни пела, грудь болела,  
Сердце волновалася,  
По тебе, миленак мой,  
Я истосковалася! —

летит вслед за мной ее голос. Веселый, задорный, молодой!

Еще немного, и того гляди, старушка пустится в пляс! Я уж и на ноги ее босые поглядываю, так как и они не спокойны: вроде бы стоят на месте, на досках крыльца, а каждая жилочка на них дышит, волнуется, трепещет. Вот-вот они сорвутся с места:

Через речку быстраю Я мосточик выстраю:  
Хади, милай, хади мой,  
Хади летам и зимой!

Топ-топ галошами,  
Ни корове, ни лошади!  
Ни гогочеть, ни реветь,  
Меня горе не берет!... .

— До завтра, баба Груня! — кричу я ей, стоя уже за калиткой палисадника. До завтра... если хватит у тебя сил добрести до родной деревни, хранильница уходящей нашей песни русской!

1986 год, Голоплеки

### Рассказ крестьянки

Терпелива, как в засуху поле,  
Не присядет до ночи глухой.  
На руках, как монеты, мозоли,  
Под глазами полынь-непокой.

Григорий Помазков<sup>1</sup>

В Голоплеках между моим садом и домом Овсянниковых есть заброшенная усадьба. Строений здесь давно нет. Но природа неумолима: дважды в течение каждого лета вырастает на ней сочная трава по пояс да пестреют разноцветным пушистым ковром неприхотливые полевые цветы. Сначала ярко-желтые одуванчики сплошь усеивают всю лужайку, а затем они превращаются в белые воздушные шары и развеиваются по земле ветром. На смену одуванчикам вырастают нарядные ромашки и скромные колокольчики, голубые и бледно-фиолетовые.

Этот участок всего лишь несколько лет тому назад принадлежал сестре ныне колхозного шофера Виктора Андреевича Тарасова. Я знаю Тарасовых с тех пор, как поселилась в Голоплеках. Третий год подряд в течение всего весенне-летнего периода каждый день рано утром, в обеденное время и по вечерам Виктор Андреевич провозит мимо моего дома мастеров машинного доения на молочно-товарную ферму и обратно, на центральную усадьбу колхоза, и видимся мы, таким образом, практически ежедневно.

Когда приходит время косьбы, на делянку приезжает враз вся дружная семья Тарасовых, и тогда работа кипит с раннего утра. Бывает, что мы, соседи, занимаемся на своих усадьбах каждый своим делом и одновременно переговариваемся.

Слушать то, как говорят Тарасовы, одно удовольствие. Сегодня этого с абсолютной точностью не смог бы воспроизвести ни один из ныне навещающих родные места уроженцев Голоплек или другой деревни, расположенной по соседству, разве только баба Груня... Хотя родом Тарасовы всего лишь из соседней деревни Губарево.

Сколько раз, слушая их, я с глубоким сожалением и грустью думала о том, что когда-нибудь да уйдет из жизни и наше поколение. И никогда больше не услышат люди этого мягкого и душевного, словно песня, исходящая из самого сердца, доверительного и удивительно складного, колоритного, изобретенного лишь этими людьми и только в их родной стороне, такого необычайного и неповторимого сельского орловско-тульского говора...

— Как самочувствие, Ольга? — обращаюсь между делом к жене Виктора Андреевича, которая в трех шагах от меня косит траву.

— А ничего, — говорит она, не отрываясь от работы, — вчера так утомилась... Кабы не корова, эх, повалилась!.. Пока управисси на работа, пока скотину пригонють, пока на двор станеть, подоить, к ночи полегшает... Родные наказывают — приехайте, а живуть — и увосе не в руку, пяхком далёко... А тут сено... Надо растрешать, пока сохнуть...

Такие вопросы «с хитринкой», естественно, зачастую есть просто мои маленькие уловки с целью еще и еще раз послушать Тарасовых, так как это всегда приятно...



На месте бывшей деревни Губарево  
At the place of the late village Gubarevo



## *Деревня, которой нет*



*Крестьянка из деревни Губарево Екатерина Андреевна Тарасова-Овсянникова Peasant woman from the village Gubarevo Ekaterina Andreievna Tarasova-Ovsianicova*

Но сегодня в Голоплеках произошло не совсем приятное событие. Приблизившись к дому, возле которого собрался народ, я увидела родную сестру Виктора Андреевича Тарасова Екатерину Андреевну, которая, потрясая поднятыми вверх большими натруженными руками, что-то кричала. Из этих отрывочных выкриков и сбивчивых рассказов соседей я поняла, что, проходя по улице деревни мимо дома, который она продала дачнику, уже не впервые услышала от него: «Не ходи по деревне, нечего тебе возле моего дома делать, ходи выгоном!» Эти его слова и вывели ее из равновесия.

С большим трудом удалось немного успокоить и увести женщину с собой. По дороге она не переставала причитать:

— Вот глупая-то, глупая я! Продала усадьбу-то! Он теперь сливки снимает, а я локти кусаю! Да не укусить теперь, далёко! И продала-то за четыреста рублей, а теперь вот чужие полдома покупаю за две с половиною тысячи: боле нигде жить-то невмочь! А он — не ходи? Еще чево?.. Я эту дорогу притоптала, я эту дорогу своими руками подняла! В прошлый раз, как он мне так-то сказал да еще собакой пригрозил, верите, я два дни ни ела, ни пила, в лежку лежала! Ето штоб мене по своей деревне не ходить?! Ой, что же вон мене наговорил... Я буду ходить! Я подымала эту землю вот ентими руками! — вытягивает вперед руки женщина. — Я с пятнадцати лет работала здесь наравне с мужиками: и пахала на быках, и скородила на корове своей, а бывалоча, обессилею, повалюся на ее, на землю-то, скребу-скребу нох-тями-то, отляжуся маленько, подымуся, да и опять тягать... Без отдыха, без продыху ялзонила по ентуй земле-то, а он — не ходить...

— Ну, ладно, не расстраивайтесь так, — пытаюсь успокоить ее я. — Он, верно, не подумал, сказав это. Возможно, и сам теперь жалеет.

— Как же, жалеть! Мене, что ль, одной он ето говорит? Всем так-то. Да другим-то не так боль-

но, оне-то тута дачники... Мне всех горше... Не поверите, если рассказать, что я тута пережила-то... Вот дочку-то в сорок девятом году как родила... До этого работала до последней минуточки. Енто поехали мы как раз весной, двадцатого апреля ето было, с одной девушкой на быках за семянами колхозу в Выползово, ето за Чернью. Вот добрались мы кой-как, мешки енти на себе таскали с зерном. Ну, погрузились, доехали до Черни, а тут как раз дождь, гром, молнья. Слезли мы, распрягли быков-то, заночевали прямо на станции. Да какой ето сон, когда воз всю ночь берягли пуще глазу, времена-то какие тогда были... Ну, 21-го поехали до дому, развязены дороги-то больно были, промучились с быками: бояться, не идуть, не слушают нас. Ну, 22-го доехали до дому кой-как, до своей деревни, семяна сгрузили, распрягли быков, поставили. Только зашла я в избу-то, свету белого не вижу, повалилася да тут и родила...

— Ладно, — говорю я ей, — не вспоминайте, не травите себя больше. Давайте-ка лучше почитаем, что я тут про вашу Губаревку вчера написала.

— Так ее нету, Губаревки-то... Чего писать?.. Раньше надо было, а теперя чево.

— В Губаревку надо идти, — начала я читать, — от Голоплек (так, по-тургеневски, впредь и будем называть эту деревню) строго на юг по дорожке между двумя клиньями земли шагов всего примерно пятьсот. Название этой деревни Иван Сергеевич Тургенев использовал, дав фамилию Губарев одному из своих героев. В Губаревке действительно во времена матери писателя жил небогатый помещик Воин Иванович Губарев. Он бывал частым гостем Варвары Петровны в Спасском-Лутовинове, и его хорошо знал сам Иван Сергеевич. Кроме того, история этой деревни, как известно, тесным образом связана с именем Льва Николаевича Толстого, бывавшего здесь неоднократно в конце прошлого века в связи с работой на голоде. И нам очень захотелось увидеть ее, пройдя по тропе великого писателя.

Несколько упоминаний о Губаревке имеется в документах Л. Н. Толстого — в его письмах, дневнике, статьях и в «Летописи жизни и творчества Л. Н. Толстого», составленной личным секретарем писателя Н. Н. Гусевым. Все они свидетельствуют о том, что здесь, в ста десяти верстах от Ясной Поляны, Толстой бывал неоднократно, места эти знал очень хорошо, очень многое сделал в помощь голодающим крестьянам этой и окрестных деревень, устраивая для них бесплатные столовые; тем самым пытаясь спасти от голодной смерти этих «обтерханных» (И. С. Тургенев — *прим, авт.*), забитых, бесправных мужиков и их надорванных непосильной работой жен, рахитичных детей и больных стариков.

30 апреля 1898 года Н. Н. Гусевым сделана следующая запись о посещении Л. Н. Толстым Губарев - ки: «Ездил в Губаревку <...> по делам помощи голодающим»<sup>2</sup>.

На следующий день по результатам этой поездки и увиденного Л. Н. Толстой в письме к П. И. Бирюкову писал: «Положение лучше, чем в 1891 году, хлеб едят чистый, но ничего, кроме хлеба, и хлебом скупаются <...>. Крестьянство беднеет с каждым годом, но в прежние года на 1/2%, 1%, а в нынешнем сразу на 7, на 8%, может быть, и больше <...>. Можно бы было придти в отчаяние от всей этой жестокости и нравственного отупения людей, с одной стороны, и унижения, забитости и нужды, с другой, — если бы не было ясного представления о том, как это дело должно исправиться»<sup>3</sup>.

За 5 мая 1898 года о результатах работы Толстого на голоде Н. Н. Гусев пишет: «Толстой ездил в дальние две деревни, Губаревки, и там идет все прекрасно».

И мы пошли по пути Толстого в надежде увидеть счастливый сегодняшний день потомков тех крестьян, за жизнь которых боролся, как мог, «великий писатель русской земли» (И. С. Тургенев — *прим, авт.*).

Губаревку мы увидели сразу, как только стали спускаться по дорожке вниз, в овраг. Посреди «деревни» — старый пруд, наполовину заполненный водой... Вот тропинка наша пересекла ранее, видимо, широкую проселочную дорогу, еще отмеченную в некоторых местах старыми раkitами. По едва уловимым приметам чувствовалось, что они давным-давно обрамляли ее ровными линиями по обеим сторонам. Когда-то это и была единственная улица Губаревки.

Тропинка круто оборвалась на берегу пруда. Мы остановились. Нашему взору предстал удивитель -

ный, необычный, скорее печальный вид: старые, все еще пышные яблоневые сады ровными четырехугольниками опоясывали... жалкие, теперь почти невидимые остатки фундаментов стоявших здесь когда-то домов. А в основном уже никаких следов жилья, кроме этих чудных зеленых островков, разбросанных по горе вокруг водоема, не было. Как памятники на старом кладбище, смотрелись на фоне ослепительно яркого солнечного дня и его нежно-голубого неба эти зеленые, никому не нужные теперь, чудом сохранившиеся сады, и этот старый пруд, и эти одинокие ракиты над старой деревенской дорогой.

О том, что люди ушли отсюда, не так давно, свидетельствовали плодоносящие сады. А в пруд, наверное, еще совсем недавно ныряли с высоких раkit мальчишки, уроженцы здешних мест. Деревня, как видно, была немалая. И как же, должно быть, хорошо было здесь людям, среди такого необъятного простора и такой чудной красоты! Что предпочли они земле своих предков, своей родине?..

Из Губаревки мы возвращались в Спасское вечером. Снова шли по тропинке сквозь знакомую уже березовую рощицу. Под впечатлением дня, усталые, каждый думал о своем. Мелькнула мысль: «А ведь вот так же однажды вечером шел или ехал из Губаревки в Спасское Толстой. О чем тогда мог думать он? Что ощущал?».

«...Как я тебе написал письмо на станции, я поехал дальше, в дальние две дер[евни], Губаревки и там все идет прекрасно. Назад ехал через лес Турген[евского] Спасского вечерней зарей, — писал 10 мая 1898 года Толстой своей жене Софье Андреевне, — свежая зелень в лесу и под ногами, звезды в небе, запахи цветущей ракиты, вянувшего березового листа, звуки соловья, гул жуков, бодрое движение лошади, и физическое, и душевное <...>. Всех столовых теперь десять, около шестисот человек. Можно еще прибавить двести, что я и сделаю нынче и завтра...»<sup>4</sup>.

А в статье «Голод или не голод», полной боли и скорби за судьбы русского крестьянства, Толстой скажет подробно о положении крестьян Спасского-Лутовинова и окрестных деревень: «...деревня, в которую я приехал, было знакомое мне Спасское, принадлежащее И. С. Тургеневу. Расспросив старосту и стариков о положении крестьян этой деревни, я убедился, что оно не так дурно, как было дурно положение тех крестьян, среди которых мы устраивали столовые в 1891 году. У всех дворов были лошади, коровы, овцы, был картофель и не было разоренных домов; так что, судя по положению спасских крестьян, я подумал, не преувеличены ли толки о нужде нынешнего года. Но посещение следующей за Спасским Малой Губаревки и других деревень, на которые мне указали, как на очень бедные, убедило меня в том, что Спасское находится в исключительно счастливых условиях — и по хорошему наделу, и по случайно хорошему урожаю прошлого года. Так, в первой деревне, в которую я приехал, на десять дворов было четыре коровы, две лошади, два семейства побирались, и нищета всех жителей была страшная. Таково же почти, хотя несколько лучше, положение деревень: Большой Губаревки, Мацнева, Протасова, Чапкина, Кукуевки, Гущина, Михайлова Брода, Бобриков, двух Каменок. Во всех этих деревнях хлеба, хотя и чистого, дают не вволю. Приварка — пшеница, капуста, картофеля — даже у большинства нет никакого. Пища состоит из травяных шей из травы, забеленных, если есть корова, и не забеленных, если ее нет, и только хлеба. Во всех этих деревнях у большинства продано и заложено все, что можно продать и заложить...»<sup>5</sup>.

Окончив чтение, я поднимаю глаза от рукописи и наблюдаю за реакцией крестьянки на прочитанное. Она все смотрит в одну точку, будто продолжая слушать. На белобрысом безбровом лице ее особенно четко сейчас выделяются усталые глаза с покрасневшими веками. Она, видимо, глубоко переживает то, о чем только что узнала.

— Надо же, и деревни-то все, вот они, рядом, — подает она голос. — И про наши Губаревки тоже, значить, написал. Все эти деревни-то, бають, раньше на господ работали. Наша и другая Губаревка, говорили, на помещика какого-то Пчелкина. Той-то Губаревки, правда, давно нету, его прям возле Спасского. Там лес один Пчелкин остался да пруд Пчелкин. Да, все правда: голодные деревни-то эти всегда были...



Помолчав, она спросила:

— И что же он, Толстой-то, так всю эту ораву и кормил?

— Кормил, — говорю я.

— Что же, он такой богатый, что ли, был?

— Да нет, не очень. Он деньги для устройства столовых собирал со всего света: писал знакомым и незнакомым богатым людям письма, объяснял в них бедственное положение русских крестьян, и многие добрые души откликнулись на его просьбу, присылали деньги, одежду, а он все это раздавал крестьянам и кормил их.

— Как же он, один, что ли, управлялся, али кто помогал?

— Нет, не один. У Толстого было много своих детей. Все они ему помогали. Кроме того, помощь в этом благородном деле Толстому оказывали друзья его, единомышленники, просто знакомые или чужие даже люди.

— Значит, и в нашей деревне тоже?... Как хоть все это было-то?

— Сведений о том, как выглядела столовая именно в вашей деревне, Губаревке, мне, к сожалению, обнаружить не удалось. Но об одной из таких столовых в ваших местах, в деревне Гущино, имеется собственное свидетельство Толстого.

— Так это же рядом с нами, Гущина-то. Вона, за Спасским сразу. Они, говорили, на помещика тоже работали раньше, тоже бедные. Меньшой, не то Меньшов, помещик-то...

— Князь Меньшиков, — уточняю я.

— Вот-вот, так-то.

— Вот описание столовой в Гущино, сделанное самим Толстым: «...25 мая вечером я заехал в деревню Гущино, состоящую из 49 дворов, из которых 24 без лошадей. Было время ужина. На дворе под двумя вычищенными навесами сидели за пятью столами 80 человек столующихся: старики попеременно со старухами — за большими столами на скамейках, дети — за маленькими столиками на чурбачках с перекинутыми тесинами. Ужинавшие только что кончили первое блюдо (картофель с квасом), и подавалось второе — капустные щи. Бабы наливали корцами в деревянные чашки дымящиеся, хорошо заправленные щи: столовщик с ковригой хлеба и ножом обходил столы и, прижимая ковригу к груди, отрезал и подавал ломти прекрасного, свежего, пахучего хлеба тем, у кого-был доеден. Хозяйки и женщина из столующихся служат взрослым, хозяйская дочь-девочка служит детям. Все происходило чинно, степенно, точно как будто этот порядок существовал веками.

Ужинавшие были большею частью исхудалые, истощенные, в изношенных одеждах, редкобородые, седые и лысые старики и сморщенные старухи. На всех лицах было выражение спокойствия и довольства. Все эти люди, очевидно, находились в том мирном и радостном настроении и даже в некотором возбуждении, которое производит употребление достаточной пищи после долгого лишения ее. Слышались звуки еды, степенный разговор и изредка смех на детских столах. Были тут и два прохожих нищих, за которых столовщик извинялся, что допустил их к ужину»<sup>6</sup>.

— Что же за проклятые наши деревни-то! И раньше так-то? Все голод да голод, — говорит Екатерина Андреевна, выслушав внимательно толстовское описание обеда в деревне Гущино. — Сколь помню, все голод, постоянный был. Не поверите, только что не умерли... Вот раз Витька, брат мой, заболел, желтый был весь, без памяти, трясло его всего, незнамо что говорил... Вот ему полутше кусочек какой оставить, а он не ест. Нам все говорили, что нельзя, мол, за ним доедать, мол, он заразный... Как же мы, глупые, рады были... Что он не поест, то сами доедали. Не поверите, даже сейчас страшно становится, как вспомнишь... Сидим, бывало, и глядим: съест он али нет? Мать так-то глядеть-глядеть на нас да завоет в голос, да и разделит нам. А мы ради, маленькие, не понимаем... А то полазим по гнездам: «Ма, седни пять яиц!..» А не поест пять яиц-то, на базар свезть. Я, пока не приехала в Голоплеки, думала, никогда не наемся яиц-то... Плакать теперь хочца, а слез-то нету, сколь поплакано, — будто сама с собой, говорит

и говорит женщина и, как-то враз очнувшись, глядя на меня, просит: — Давайте, я лутше завтра приду, хошь утром, хошь днем, когда скажете... а то больно тяжко чтой-то...

На другой день соседка моя действительно не заставила долго ждать себя: пришла утром пораньше, как только я появилась в своем саду. Видно, караулила, чтобы, чего доброго, не разбудить раньше времени. Пришла принаряженная, в новом голубом платочке, повязанном назад, в светлой пестрой кофточке и добротной темной, коротковатой, правда, видно, давно хранящейся выходной юбке. На ногах — босоножки.

Я до того времени видела ее только в рабочей одежде и теперь была приятно удивлена, впервые отметив у нее, шестидесятилетней, тонкие стройные ноги, хорошую для ее лет аккуратную худенькую небольшую фигурку. Видно было, что предстоящую встречу со своим прошлым она переживала как большое событие в жизни.

В последние годы я постоянно и много общаюсь с крестьянским населением Орловской и Тульской областей. Узнала об этой земле много нового и интересного, кое-что записала на память. Рассказ этой крестьянки из деревни Губарево я решаюсь передать в самом естественном виде. Единственное вмешательство в него автора — те немногие наводящие по ходу рассказа вопросы, которые оказались необходимыми для того, чтобы он стал более логичным и по возможности стройным.

— Родилась я 18 октября 1928 года в Губаревке, — начала она.

— В Большой Губаревке или в Малой? — задаю я первый вопрос.

— В Большой.

— А ваш брат Виктор Андреевич говорил мне, что ваша деревня — Малая Губаревка?

— Не знаю, может, и так. Мы все говорили: Губаревка да Губаревка. А какая она, большая ли, другая ли, кто ее знает.

— А как у вас в метрике записано?

— А там написано просто: деревня Губарева Чернского района Тульской области. Отец мой Андрей Максимыч 1897 года рождения, мать Хныкина Прасковья Семеновна, и оба из Губаревки. От родной матери я осталась двух годов... Когда я сама себя стала помнить? Помню, как на сене на улице спали, тогда спокойно было, а не так што. Мы детство свое провели плохое. В селе пруд был, а нам покупаться даже некогда было. В огороде картошку ету надо было на ночь ведро начистить. И куда ее девали пятьдесят соток? А всю поедали. Детей было четверо: я старшая, за мной Виктор, Анна и Валя. Учиться мне, считай, не пришлось; я-то старшая да без родной мамы, хотя ничего про маму друга плохого сказать не могу. Виктор-то уж ее.

До войны деревня была тридцать дворов, после войны — тринадцать, вчера считала. В церковь ходили до войны в Спасское-Лутовиново, а после войны уже не было службы здесь. Церкви той не помню, я тама и не была. В Губаревке праздники религиозные справляли: 19 августа и 23 сентября, Никитой еще был, казанская 4 ноября (это мать рассказывала), но его не стали праздновать: друг за другом шли три праздника... А остальное отмечали, как и весь народ: Паску, маслену.

— Песни пели в вашей деревне?

— У-у... пели. У нас певчие были, каких мало, и до, и после войны сходки были, вся деревня. Наши женщины очень хорошо величали, как и спасские: приход-то был один. Помню, выборы были в Шаламовке, всегда народ-то через нашу Губаревку ездил туда. Пра-а-здник был, бо-о-лыной праздник! Учитель из Голоплек приходил, Иван Петрович Овсянников, по домам ходил, приказывал, чтоб в доме прибрато было, печку, мол, побялить, занавесочки чтоб, пол помыть: мол, пра-а-здник бо-о-лышой и чтоб все в доме было хорошо. Чтоб спички не брали и чтоб всем праздновать как положено...

Помню, на выборах все одну частушку пели, про депутатку:

Из-под дуба, дуба, дуба,  
Из-под дуба дубава,  
К нам приехала в колхоз Валя  
Гризодубова!

Это было еще до войны. Где она, эта Валя, и не знаю... А так ни сказок, ничего не помню. У меня отец был, так тот не хуже Витьки побасник, энтот рассказал бы. Вот сказку помню про обжору, отец рассказывал ча-а-ста... Мол, был обжора, толстый такой, все каждый день по бочке вина попивал да весь день обедался всем. Говорит, поросенка, гуся, цыплят, курей — тех и за еду не считал. Отец сказывал, у них давно еще здесь в деревне на стенке такая красивая картинка висела, и на ней та сказка была нарисована и написана. Сидит, мол, мужик в шляпе и с кудрями за столом. А стол громадный такой, и к нему лестницы приставлены. А по ним лезуть, лезуть мужики, и всяк чего-то тащить из живности в мешках за горбом. А он, обжора-то, все глотает, никак не налопается, пока, мол, брюхо не треснет. Она, грит, вся и написана была на этой картинке. А куда она девалась, эта картинка, отец позабыл. Грит, давно это было, еще до революции, что ли...

Я с улыбкой слушаю рассказ крестьянки, так как хорошо понимаю, о чем она говорит. Это со слов отца она довольно верно запомнила и передает содержание не виданной ею никогда лубочной картинке под названием «Славный обедала и веселый подливала». Такой лубок хранится в фондах Государственного мемориального и природного музея-заповедника И. С. Тургенева Спасское-Лутовиново. На нем сохранилась и дата — 1857 год. Содержание лубка женщина передает довольно верно, хотя не полно. Ну, а «сказку», то есть текст под рисунком, на котором действительно изображен претолстый, «в шляпе и с кудрями», обедала, сидящий за громадным столом и со страшной скоростью поглощающий жареных кур, уток, гусей, поросят, я выписала и хочу пополнить им рассказ крестьянки:

«Я одним махом четверть вина выпиваю, пудовым хлебом заедаю, быка почитаю за теленка, с рогами козла — за ягненка; цыплят, кур, утят, гусей и поросят употребляю для потехи, грызу их, как орехи. Кто мою пузу наполнит, пять дюжин бурлаков досыта накормит, не одно за мною ремесло, чтоб только есть, изволь кто и вина поднести, я и его угомоню да дядю помяну. Куда пострел он был мил, он и меня пить научил. Поминаючи его, так напьюся, полно налью вином брюхо да и спать поважуся. Кто так много ест и пьет, конечно, тот урод».

— А бывалоча, — говорит моя собеседница, — как в Борзенках гуляли, когда с ими соединились, бывалоча, проскут: «Андреи Максимович, спой!». И он пел:

На зеленом ковре мы сидели,  
Целовала Наташа меня...

потом вот как-то у ней чувства разгорелись вроде:

Она нежно меня прижимала...

Счас Витька спел бы... Он меньше меня пережил, он с матерью с родной жил, а я так работала, так работала тяжело, — голова совсем никудышняя стала, все повылетело...

Помолчав, она продолжала:

— Война еще была... Осенью сорок первого нас вакуировали в Лобанову. Деревня была — все дома деревянные, два дома только кирпичные. Половина дворов ее погорели от бомбежки. Зиму перезимовали у дедушки, у отца отца Максима Романовича, и лето были у него. А в сорок втором, начал когда оккупант отступать-то, опять мимо. Все ушли в лес с коровами, а у меня корова больная была, и я стояла на пруду с ей: мол, что будет. Но враг не тронул, а деревня вся горела. Это было, всю жисть помню, 24 декабря. И остался у нас один домик в Губаревке, и вся деревня ночевала в одном доме — у Голотиной Анны (а отчество, хоть убей, не помню), кто на лавках, кто на полу вповалку, под столом, на печке — вся деревня. А коровы на улице, 25-го утром с улицы постучали. Перепугались мы: думали,

немцы, бабы голосить начали, а это — наши. Ну, тут просто вой поднялся. Они спрашивают, когда немцы были, а мы ничего сказать не можем.

Стали разъезжаться, у кого где какие родственники. Мы были в Овсянниковой, у мамы Евдокии Порфирьевны (это вторая жена отца). Из Овсянниковой были эвакуированы в Бутырки, потом вернулись снова в Овсянникову, потом наши нас погнали снова в Бутырки: а немец-то недалёко был. Две зимы мы жили в землянке, которую военные копали. Побиралися. Я целый год побиралася. Не евши были, вши нас заядали: холодно, помыться негде. Что пережили, никто не поверить. А строиться, наверно, стали в 45-м году, когда разбирали окопы и на себе бревна носили с мамой, с братом. А построил какой-то мужчина, мама отдала ему теплую одеялку. А сени строили сами с Виктором. Избу построили четыре на четыре. Какие мы на себе бревна носили! 15 и 17 лет, а таскали большие. После войны бурьян был на полях выше роста. На быках пахали колхозное поле, а скородить приходилось даже на своих коровах. Сеяли вручну, кой-как. Косили крюками, чем рожь-то косють. И не евши, руки — ну что мясо станови- лися, дрожали. Скидывали вручну, на носилках носили, а отдельные люди накладали.

Приходилось даже вручную и молотить...

Потом вертаться мужики стали с войны, лошадки четыре появились. Трактор-то, он не наш, тогда МТС распоряжался, он в Полтевой. Радиатор худой, и, пока работал, мы воду таскали. Ну, зерно-то, семена-то ссыпать было некуда. Плетни обмазывали глиной, сараи делали. У колхозников складали. Наш колхоз назывался «Красноармеец». Первые семена-то мы как доставали... Выделял, значить, район с Выпозовой станции. Мы туда пешой ходили, а когда и на поездах, на крышах. На ходу некоторый раз прыгали. В свои мешки ссыпали, там вешали, на себе несли обратно. До станции отсюда пятнадцать, а всего километров двадцать пять или тридцать будет.

Председателем тогда старичок был у нас, Силаев Николай Арсентьевич. Потом пришел с фронта Хныкин Яков Семенович. Колхоз состоял из одной нашей деревни. И в Голоплеках колхоз был, и в Бор-зенках, и в Шаламовке, и в другой Губаревке, там домов десять было, не боле. Обрабатывали всю землю, сколько было, ничего не оставляли. Наша земля была от Голоплек за возвышенностью, но большинство за рвом до Опок, а здесь только одно поле было.

Укрупнились с Голоплеками и с Борзенками. В каком году, не помню. Тогда председатель другой был, хоть убей, не знаю, кой-то из Голоплек. ...Не Иван Данилыч?.. Их сменилось много. Наша деревня стала распадаться, ну, тут 49-й и 50-й, вот эти вот года. После войны есть нечего было, а рты не закрыва- лися. Седьмое ноября, пока не укрупнились, всегда отмечали. Колхоз выдавал муки на лепешки, мясо. Сперва кормили детей, потом все взрослые гуляли. Песен тогдашних не помню. Так бы, это, кто начал... я бы... У нас в Губаревке больно песни хорошие были. Виктор-то, энтот больше побасник, он больше знает, опричи когда выпимши, он знаешь сколько тебе наговорить...

— Не вспомните ли какого-либо праздника? Как все это у вас происходило?

— Не-е, я свадьбы не знаю... Я помню только Октябрьские. До десяти повозок, все нарядные, с гармошками, на лугу, возле моста, там трибуна была, там был сельсовет. Он был Русинский, а в Ветровой. Гулянье одно помню, это было перед войной. Глядь, из Борзенок на Губаревку большая компания идет, все в странном обряде, в разных хархарах, с двумя гармошками, пришли в Губаревку к нам. У нас было, наверно, женщин пять, которые любили это, быстро нарядились, и пошло гулянье, пляски, песни. Нет, ни одной не помню, даже говорить не буду какие... Одна из этих женщин еще жива. Новикова Софья Яковлевна. Живет в Первомайске, под Тулой... Ее помнить тут, я слыхала... Как же, Таиссии Ивановной друг. Ох, и женщина веселя была! Где бы ни затевали чего, она тут: и с песней, и с пляской...

Что сеяли? А сеяли ячмень, пшеницу, гречиху... как счас. Водили коров да овец, поросят, курей. Как-то раньше ни гусей, ни уток не водили. Кур было, ну... десять, а кормили их картошками: зерна-то не было... Ездили на лошадях, на чем же еще! Машины-то когда уже появились... Суеверия? Были, конечно... Ну, например, вот: «Забыла — вертаться нельзя!» Если собираешься куда ехать али итти, то надо



говорить: «Далёко собираетесь?» или: «Далёко идете?», а не «Куда собираетесь, куда идете...» Не ругались черным словом, не поминали чертом, змеем... У каждой деревни свое суеверие, у кого как...

— Крестины, венчанья — ничего не помните из того, что может относиться к вашей местности, Екатерина Андреевна?

— И крестины, и свадьбы были, как же... венчались. Я только помню, Дмитрий Степанович Овсянников женился. Венчался ли, нет ли, не знаю. А свадьба ехала на Голоплеки по Волховскому большаку, через Троицкое-Бачурино, на Губаревку. Вот заехали оне на нашу гору, наши мужчины их задержали: протянули веревку и дальше не пускають.

— Это зачем?

— Выпить! Чего же еще?

— Ну и дали им выпить?

— Конечно, дали, а то не пустють... Это было 37-й, не то 38-й год. Первая-то дочь его ровесница сестре моей. У невесты его, помню, личико такая беленькая.

— Какими ремеслами занимались жители вашей деревни?

— Нет, етого у нас не было. Это вон Ветрово етим занимался. А-а, там горшки, ну вот глиняное, посуда. А ети кубаны, как раньше называли, и чашки глиняные для еды, и для детей чашки такие глиняные были с ручками, назывались махотки... Для печек соединения делали. От печки проходили горшки к грубке. Раньше плиток не было. У нас одна семья по-черному до войны топила, даже трубы не было. Формы — как узкое ведро, от печки до грубки ложили доску и на доску ложили ети горшки. А они тепло давали в доме.

— Не знаете ли, Екатерина Андреевна, где поблизости кирпич жгли?

— Жгли гдей-то... Ну, конечно, жгли, во всех деревнях дома-то кирпичные, значить, жгли гдей-то. Я не знаю где. Но у нас не было кирпичных. Наша деревня бедновата была всегда...

— Не вспомните фамилий губаревских крестьян?

— Как же, главные фамилии были: Хныковы, Суховы, Силаевы, Тарасовы, Новиковы, Воробьевы, Козловы, Голотины... Разъехались кто куда... А наши деревенские, которые вышли в люди: врач-стоматолог Воробьева Тайса Лаврентьевна работает во Мценске. Козлова Татьяна Николаевна учительствует в Туле. Ну, ети погибли ребята: Рузенков был Иван, учитель, погиб. Я не знаю, где работал, я их плохо знала.

— А вы мне ничего не говорили про Рузенковых...

— А-а, до войны они из Спасского перешли и жили на краю деревни, ето уж мценская земля-то. Здеся, по нашей-то деревне, граница идет, орловская и тульская земли делятся, прям за Голотиным домом. Потом вот Рузенковы, но они уже мценские. И за Воробьевыми... У час деревня-то на две стороны была... Тут рубеж проходит. Какие-то пять метров, и они жили. Я поэтому о них забыла. Бабушка ета умерла уже после войны, два сына у ней на войне погибли, дочь умерла здеся в войну, девочка осталась от нее лет шесть-семь. А одна жила в Москве. А счас ее нету, тоже умерла. А бабушка-то ета, Маша, уехала после войны к дочери и корову вела отсюдова пяхой до Москвы и вот довела... В милиции еще работали люди: Тарасов Митрофан Максимыч, дядя мой, и Воробьев Степан Михалыч. В Москве мой дядя работал агрономом. Хныкин Дементий Семенович. А так все колхозники... А поблизости кто же? Есть... тетя моя, на поселке живеть, Тарасова Прасковья Максимовна. Остальные к детям уехали в города и уже поумерли. Все по городам... Одна семья живеть в Ползиковой, или Кукуевке, как там ее зовуть. В Кудиновой, я ее фамилию не знаю... Как же Танькина фамилия? А-а, Новикова Татьяна, девичья. А теперь-то не знаю, какая она у ней.

— Жалеете вы, Екатерина Андреевна, о том, что теперь на месте вашей деревни пустырь?

— Ой, мочи нету! Я ведь уехала из Губаревки-то, когда там уже никого почти не осталбся... Что же одной иседелать тама? Страшно... А теперь вот как с ума сдвинулася: домой да домой. Хоть в Голопле-

ках... Тута теперя одни дачники, так все не одна, а хоть летом люди живые... и вода есть, свет... потому — ферма летняя... Я ведь тута много чего ведала: бригадиром была, депутатом была на етой земле, как исполнилося мне 18... Еще на пенсии год была. После уехала во Мценск, на стройке работала. А не могу, домой тянеть... И Витька, брат-то мой, как придеть на пустырь губаревский, встанеть, закроеть глаза, зубами заскрыпить да завоеть, как собака... Пряма как по покойнику... Вот приехала. Я из Губаревки-то сперва уехала в Голоплеки. А потом чегой-то бросила... Жуть, никого нету... Виктор-то тоже в Голо- плеки сперва переехал. Потом он на поселок уехал, теперь тама живеть. А я вот снова сюда... Зимой-то уходить надо, все одно никого не будет...

— Почему вы думаете, что зимой в Голоплеках никого не будет?

— Что тут думать-то... тута жить-то нельзя. Случись чего, так и сгинешь совсем... одна... ни воды, ни света, ни хлеба, ни фельдшера тебе в случае чего... Нет, жить тута нельзя... А и дороги-то нету, не то что...

Екатерина Андреевна Тарасова права: нельзя в Голоплеках жить в холодное время года: ни воды, ни света, ни хлеба, ни медицинской помощи. Это подтверждаю я, автор данного очерка, пытающаяся уже три года подряд закрепиться на этой земле. На родной земле Тургенева... Но пуста ранее густонаселенная земля, нехожены проторенные многими поколениями местных крестьян дороги, пустуют проданные дачникам построенные на века добротные дома по полгода и более, и только ветер воет в холодных трубах да вьюга замечает звериные следы...

Но нет худа без добра... Несколько лет тому назад появился в тургеневских местах молодой председатель — агроном Николай Иванович Лепешкин — и задолго до официального указа о разрешении продавать дачникам усадьбы в опустевших деревнях на свой страх и риск поселил здесь пожелавших горожан; не то распахали бы любимые тургеневские Голоплеки трактора, разровняли бы их бульдозеры, разгромили бы и сказочно красивые Борзенки... Верится: поживут еще русские деревни, а с ними и старинные Голоплеки. Будет здесь жизнь настоящая! Свидетельство тому — и вернувшаяся на родину Екатерина Андреевна Тарасова.

## Путешествие в Шаламово

В клетке грудной беспокойно и тесно.

Сердцу больному кричу: «Отпусти!»

Гляну налево — скорбное место.

Гляну направо — безлюдный

пустырь.

Аркадий Макаров<sup>1</sup>

Через губаревскую пустошь, а затем, если идти по «большаку» на запад, можно попасть в село Шаламово. Сюда любил ездить из Спасского Иван Сергеевич Тургенев, так как здесь жил в своем родовом имении его сосед и приятель Степан Данилович Шаламов.

В своих «Воспоминаниях» современница И. С. Тургенева В. Колонтаева писала об этих поездках так: «Иван Сергеевич очень любил Степана Даниловича, находил его личностью чрезвычайно типичной, во время наших прогулок всегда первый предлагал нам заехать к нему. Прогулки эти мы совершали или

пешком, или на лошадях в следующем порядке: Николай Сергеевич (брат писателя — *прим, авт.*) — верхом, Иван Сергеевич на беговых дрожках, а мы, барышни, в старомодной линейке, которую Иван Сергеевич называл «колымагой с дышлом».

О самом соседе Тургенева она вспоминала: «Степан Данилович Шаламов, мало занимаясь своим поместьем, находил более выгодным сочинять разного рода проекты, намереваясь отправить их в Петербург в надежде получить большие деньги. Очень часто являлся он в Спасское с толстой объемистой тетрадь в руках, просил посмотреть его новый проект и сказать ему свое мнение. Более всего он затруднялся в том, в ведомство какого министерства ему следовало отправить свой проект. Уезжая из Спасского, он оставлял свой проект на столе, где он лежал нетронутым до следующего приезда Степана Даниловича, и тогда Иван Сергеевич говорил, что он хорош и следует его принять во внимание, но что необходимо его переделать»<sup>2</sup>.

В рассказе «Бежин луг» писатель приводит разговор двух крестьянских мальчиков. В нем упоминается название села Шаламово и рассказывается о подлинных событиях, которые, вероятно, имели место в этих краях и о которых слышал Тургенев от местных крестьян:

«— А скажи, пожалуй, Павлуша, что, у вас в Шаламове было видать предвиденье-то небесное? — спрашивает Федя.

— Как солнца-то не стало видно? Как же.

— Чай, напугались и вы?

— Да не мы одни. Барин-то наш, хоша и толковал нам напредки, что, дескать, будет вам предвиденье, а как затемнело, сам, говорят, так перетрусился, что на-поди. А на дворовой избе баба стряпуха, так та, как только затемнело, слышь, взяла да ухватом все горшки перебила в печи: «Кому теперь есть, говорит, наступило светопреставление. Так шти и потекли».

Позволим себе опустить последующие события из истории села Шаламова и обратимся к его настоящему. В 1971 году чернский тургеновед В. А. Новиков в книге очерков «По тургеновским местам» сообщал: «Шаламово находится в нескольких километрах от Тургенева (села — *прим, авт.*) и совсем рядом со Спасским. Сейчас эта деревня входит в состав колхоза «Родина» Чернского района Тульской области»<sup>3</sup>.

А каково Шаламово сегодня, спустя 17 лет? Желая узнать это, мы отправились по пути Тургенева, по той самой дороге, что идет к западу от Спасского-Лутовинова на Губарево, а затем по «большаку».

От Губаревки до Шаламова по хорошо накатанной проселочной дороге всего километра три... Примерно на середине пути мы стали улавливать какой-то шум или гул. Когда приблизились к селу, гул этот напоминал уже натруженный рев моторов множества тяжелых машин, словно мы подходили не к населенному пункту, а к месту разгоревшегося танкового боя... Но ведь теперь — не война?!

Обстановка прояснилась, как только подошли к окрестности села. Как бы спешно заметая следы только совершенного преступления, несколько тракторов, зацепив тросами вековые деревья, утюжили свои пятячки, не в силах стронуться с места. А когда трактористу удавалось все же свалить очередной кряжистый ствол и уволочь его своей мощной машиной, место трактора тут же занимал бульдозер и столь же поспешно ровнял землю, заметая след последнего убиенного, все еще пышного зеленого свидетеля ушедших веков.

Кому так срочно потребовалась эта земля? Ведь ее, неиспользованной, здесь сколько угодно! Понимают ли рабочие, что, выполняя усердно чье-то указание, они в данный вот момент выкорчевывают священную историю нашей многострадальной Родины?..

Подходим к урчащему, надорвавшемуся трактору, только что свалившему очередное дерево. Увидев нас, тракторист останавливает работу, выключает мотор, смотрит вопросительно: мол, что вам надо?

— Скажите, что происходит? — спрашиваем у него.



Верхний пруд в бывшем селе Шаламово  
*Upper pond in the late village Shalomovo*



## *Деревня, которой нет*

— Шаламовку распахиваем, — отвечает он равнодушно.

— А где же дома, люди?

— У-у... этого уже давно нету, несколько лет. Тех, которые колхозники, мало осталось и переселены на поселок все. А которые так уехавши. Дома побросали, а какие поразобрили. Никого теперь нету. Ферма вот тут, коров гоняют летом, а так ничего нету... Вот хоронят еще... — показывает он на купу старых серебристых тополей.

Мы решили осмотреть село, пройдя вдоль берега прудов, которых, оказалось, здесь целый каскад. Верхний, самый полноводный, отделен плотиной от следующего. С широкой старой добротной плотины по обе стороны смотрят в воду и полощут в ней свои нежные веточки ракиты. Третьего пруда нет, он спущен. Но его глубокая зеленая чаша и прорванная в конце плотина, третья по счету, свидетельствуют о том, что еще совсем недавно он существовал. И улицы села были ровными, широкими... По левому берегу прудов проходила самая длинная; она поросла кустарником и высокой, годами не кошенной травой. В нее упираются сбегающие с горки зеленые прямоугольники ничейных плодоносящих садов. А по правую сторону от нижнего пруда и ниже его — еще один ряд заброшенных садов с хорошо сохранившимися фруктовыми деревьями. Здесь цветут и плодоносят старые корявые яблони разных сортов; простирающие к небу тонкие сочные лапы груши; корявые вишневые деревья и сливы с тоненькими веточками на гладких стволах.

Сады эти, как видно, являются лакомым куском для живущих в округе и проезжающих мимо владельцев собственных автомобилей. Здесь, в снесенной с лица земли деревне, они как хотят протаптывают дорожки и тропинки от дерева к дереву, от «усадьбы к усадьбе», снимая урожай брошенных крестьянами владений.

Осмотрев место деревни, поднимаемся к кладбищу. Оно расположилось в десятке метров справа от верхнего большого пруда. Первоначально при взгляде на этот зеленый островок кажется, что перед тобою — дремучий лес. Но, пробравшись сквозь частую сетку дикого колючего кустарника, находим могилы. Последняя была выкопана три месяца тому назад. Помнится, скоропостижная смерть ее хозяйки, бывшей местной учительницы Анны Ивановны Мельниковой, всех знавших ее поразила и одновременно удивила. Была она от рождения здоровым человеком, каждую весну копала и сажала огород, ухаживала за фруктовым садом, косила и убирала сушеную траву. Умирать не собиралась. Все сберегала в родных Борзенках дом и усадьбу для сына.

— Вот скоро Виталий выйдет в отставку, приедет и поселится здесь, — говорила она знакомым, — только и мечтает, как бы скорее оказаться в родных местах.

Но именно Виталий, ее сын, и сказал нам о кончине матери. В самом начале марта он появился в Спасском-Лутовинове. Прилетел на самолете из Архангельской области, где служил. Я увидела его у входа во «флигель изгнанника» в усадьбе И. С. Тургенева. Плотный, среднего роста военный с майорскими погонами. Пошутила:

— Виталий Владимирович, да вы в этом году раньше грачей в Спасское! Изменяете своим многолетним привычкам? Ведь ваш месяц — сентябрь.

— Да вы разве не знаете?.. Матушка-то моя что отмочила... инфаркт, в больнице во Мценске лежит... Я так и подумал, что вы не знаете. Решил зайти сказать... да и поздороваться заодно, — с горечью отвечал мне Мельников.

После этой встречи еще недели полторы прожила Анна Ивановна. Поправляться стала, сидеть, пит<sup>1</sup> -есть. Положенные по телеграмме десять суток у ее сына закончились, и он улетел к месту жительства и службы. Другая телеграмма, уже о смерти матери, догнала его на пороге семейного очага.

И увез он ее из домика Спасско-Лутовиновской школы в последний путь на этой земле, в Шаламово. Вез на тракторе по глубокому снегу, так как зимой сюда можно добраться только так да на лошади еще. Вез через губаревскую пустошь, по «большаку», на затерянное в глубоких снегах одинокое сельское кладбище. Лежит теперь Анна Ивановна в одной оградке с мужем Владимиром Григорьевичем, тоже учителем, работавшим в этих краях. Он умер лет десять тому назад и тоже неожиданно: под Новый год ушел в лес за елкой... и не вернулся. Так окоченевшим под елкой его и нашли. И вот теперь Мельниковы снова рядом и уже навсегда. Родились в одной деревне. Учили детей в одной школе: вначале — в Ветровской, а затем — в Спасско-Лутовиновской.

«А почему Владимир-то Григорьевич здесь похоронен? — приходит вдруг в голову мысль. — Ведь он не отсюда родом...»

Но стоило взглянуть на ближнюю могилку в соседней ограде, как все стало ясно: здесь покоилась его мать.

На шаламовском погосте есть еще десятка два ухоженных могил. Они многое рассказали нам... Вот супруги Борзенковы: на снимке муж — старик, а жена его — в темном платье с белым воротничком, совсем еще юная. Не нашлось, видно, другой фотографии в спешке похорон. Но вчитываемся в даты рождения и кончины, выбитые на стеле памятника, и понимаем: Иван Андреевич умер, будучи уже глубоким стариком, а жена его Мария Ивановна едва прожила сорок лет...

Филипповы, Шаламовы, Денисовы... Из-под земли тупыми углами выступают старинные надгробные плиты и камни. Они вместе со своими безымянными владельцами навечно погребены на этом старом сельском кладбище.

Раньше селами на Руси назывались поселения сельских жителей, где выстраивалась приходская церковь. А на кладбище хоронили своих родных и близких ее прихожане. Если, как свидетельствуют документы и история этих мест, Шаламово было раньше селом и здесь издавна существовало кладбище, то где-то поблизости должна быть и церковь.

Поискав ее следы, мы обнаружили камни фундамента в самом красивом месте «села»: между кладбищем и средним прудом. Потом отыщем и коренных жителей, уроженцев бывшего села Шаламово, спросим их о родном селе.

Из «Тульских епархиальных ведомостей» конца прошлого века и от старожилов этих мест удалось узнать, что здесь, в селе Шаламово, стояла издавна небольшая, аккуратная бревенчатая церковка с куполом и звонким колоколом под ним. Относилась она ко второму округу Чернского уезда Тульской губернии наряду с другими церквями, располагавшимися в округе: в Богоявление на Закрытом верху, в Костомарове, Никитском-Бредихино, Никольском-Вяземском, Полтево, Ползиково, Синегубово, Белино, Синдеево, Троицком-Бачурино, Черноусово, Шумнино-Богословском<sup>4</sup>.

Если бы всем им удалось уцелеть, как много об этих местах поведали бы они нам сегодня, когда мы так скрупулезно, по крупицам выбираем сведения из уцелевших архивных источников! Но их нет. Все они, за редким исключением, стерты с лица земли, эти святые свидетели истории нашей Родины и ее многострадального народа...

На самом краю «села» под раскидистыми старыми раkitами навечно окаменел молодой солдат. Более сорока лет зорко охраняет он братскую могилу своих боевых товарищей. Правая рука крепко сжимает автомат, а левая легла на плечо спасенного малыша, который прильнул к его пыльным сапогам. На лице бойца застыло выражение непоколебимой воли и решимости. А взгляд мальчика спокоен и доверчив.

Существуют ли такие сокровища, которыми благодарное человечество заплатит за безвременно оборвавшуюся от вражеской пули чью-то жизнь? Этих дорогих сыновних жизней, сокрытых сегодня вековыми подрубленными деревьями, здесь шестьдесят пять. Юных, сильных, одержимых отвагой, пре-

данных Родине до последнего дыхания... Вспомним, как они защищали в Великую Отечественную войну эти места.

Вот они, огрубевшие, обмороженные мальчики, лежат в ледяных окопах и зорко высматривают свою единственную, заветную цель: старинное русское село Шаламово, горящее, растерзанное. Там, по погребам и ямам, прячутся перепуганные насмерть женщины, старики, дети. Их предстоит спасти от гибели, и потому сейчас некогда думать о себе: только бы успеть!..

К вечеру затихли последние звуки боя, и ослабевшие от голода и страха шаламовцы побрели по бескрайнему полю из конца в конец, поднимая изувеченные в жестокой огненной мясорубке безжизненные, отяжелевшие тела солдат, чтобы их похоронить. И вот над могилой героев рыдают чужие матери: обезумевшие от своего и чужого горя пострадавшие шаламовские крестьянки...

Сорок с лишним лет, из поколения в поколение, как самую бесценную реликвию, берегли сельчане эту большую могилу. Здесь было почти всегдалюдно. Невдалеке гоняли мяч деревенские мальчишки. Старушка ли в поисках заблудшей коровы, бывало, набредет сюда и обязательно присядет в тени, погорюет над чужими сыновьями и мужьями... Нередко девчонка-подросток с охапкой полевых василь-

*Памятник воинам, освободившим село Шаламово и его жителей от фашистских захватчиков Monument to the fighters who liberated the village Shalamovo from the fascist aggressors*



ков постоит возле, пристально вглядываясь в мужественное доброе лицо солдата, и осторожно положит цветы к его ногам. А та, что чуть постарше, задумается вдруг, представив себя рядом с ним, живым...

По праздникам у памятника собиралось все село. Солдаты из соседней войсковой части наезжали. Тогда гремели из отливающих золотом полковых труб знакомые военные марши, говорилось много добрых, теплых слов, обращенных к погибшим: земля живет и дышит тем, что люди растят хлеб, чтят своих героев и ушедших в небытие родных и близких. У нас память священна и никто не забыт...

Но вот доносятся незнакомые лихорадочные звуки... И куда уходят люди?... Разве снова приближается враг и надо покидать обжитые дома, выращенные сады, тех, что лежат в земле на краю села?..

Нет, войны никогда не были трусами. Но теперь — страшно так, как не было им, мальчишкам, даже в том, последнем бою, при освобождении села Шаламова, когда не осталось надежды выжить. И хочется громко, во весь голос кричать от боли за растерзанную землю. Но не разнесет эхо жуткий стон по родной земле. Не услышат его еще живые матери брошенных в поле юных храбрецов... Мертвым не заговорить никогда

Июнь 1988, Голоплеки — Спасское-Лутовиново

## Старики

В округе стариков остается все меньше и меньше. Дмитрий Степанович Овсянников рассказывал мне, что после того, как Голоплекам сменили название, вдруг стали голоплекские старики подбираться: в несколько лет все почти поумирали. Сегодня самая старшая из них, живых, баба Груня. И та не в состоянии жить в своей родной деревне, так как зимой она — нежилая.

Если случится поинтересоваться тем, кого же можно порасспросить здесь о старине, скажут, что некого: стариков, мол, нет, а молодые — и вовсе чужие этим местам. Приходится спрашивать у рожденных на этой земле уже в 20-е годы. И это счастье, что они не отыкли от родины своей, от земли отцов и дедов: хоть летом, да проводывают ее ежедневно, но с болью и горечью вспоминают прожитое.

У одной из таких «старожилок» я и решила порасспросить о ее родном селе Костомарове. А точнее, о церкви села и ее приходе.

Домик Марии Матвеевны Овсянниковой стоит на самом краю хуторов в Голоплеках, с западной стороны деревни. Маленький, аккуратный, удивительно ухоженный ее руками: снаружи весь дом обит каким-то непромокаемым, типа грубого толстого брезента, материалом темно-зеленого цвета. А внутри — чистота, порядок, тишина и все такое прочее. Завтракают, обедают, ужинают в застекленной пристройке. Впервые попав в нее, я поражена была увиденным: вся стеклянная часть жилища обтянута белоснежной кисеей; посередине — длинный обеденный стол, накрытый новой клеенкой, а у стены в ряд стройно стоят детские стульчики. Я насчитала их семь.

— Что это? — удивляюсь увиденному. — В деревне такое вижу первый раз в жизни. Это — не деревенская изба, а какое-то образцово-показательное детское учреждение. Детский сад, что ли?... Разъясните, Мария Матвеевна.

— А у меня детей семь душ, внуки мои, — отвечает Овсянникова.

— Где вы их кормите, я вижу. Чем — не мое дело. А вот где они у вас все спят, никак не пойму. Домик-то ведь крошечный...

— Пойдемте, покажу, — зовет хозяйка и ведет меня к сараю. Открывает неказистую дверь его, и я опять ахаю: эта длинная уродливая, если глядеть снаружи, деревенская клеть изнутри отделана, если так можно выразиться, по последнему слову техники: потолок обит щитами из красивых светлых пласти-





*Деревня Голоплеки.  
Прасковья Петровна и Мария Матвеевна Овсянниковы  
Village Golopleki.  
Praskovia Petrovna and Maria Matveievna Ovsiannikovs*

### *Деревня, которой нет*

ковых кубиков, стены задрапированы материей, над кроватями и кушетками висят ковры. Не ковры, конечно, какое-то подобие их, но смотрятся они здесь, как настоящие. И я удивляюсь, чтобы в деревне — и такой идеальный порядок!

Уловив все растущее мое недоумение, приятно удивленная состоянием гостя, хозяйка ведет меня в стоящую неподалеку деревенскую баню. Тут я теряю дар речи. Баня — моя заветная, давнишняя и пока не осуществленная мечта.

— Как же вы на такую высоту здесь, в деревне, смогли поставить свое хозяйство, Мария Матвеевна? — спрашиваю опять. — И огород-то у вас чище всех, и дом в идеальном порядке.

— Что же делать-то. Каждое лето вот собираю всех внуков из всех городов, пусть воздухом хорошим дышат да по траве босиком бегают. А если попустить — тут погрязнешь и не вылезешь, — отшучивается она.

Эта невысокая, смуглая, неразговорчивая пожилая деревенская женщина всегда в работе. Она уроженка соседнего с Голоплеками села Костомарово, что раскинулось когда-то по правому берегу речки Снежеди. немного ниже Голоплек. Теперь от села остался единственный след — старый деревенский погост. И фамилия родовая у Марии Матвеевны — Костомарова. Родная деревня врезалась в ее память с ранних детских лет: каменная с куполом и колоколом церковь с приходом на шесть деревень — Бобыли, Кобелевка, Жерлово. Голоплеки, Воробьевка, село Костомарово.

До войны в селе было семнадцать домов и почти все кирпичные, начальная школа, вот, пожалуй, и все. А под горкой сверкала на солнце, извиваясь змейкой, чистая приветливая речка Снежедь.

Тридцатые годы запомнились ей однобоко. Шумным, бедственным событием оказалось снятие, а точнее, сбрасывание колокола из-под купола церкви. Тогда громили святые храмы во всех селах одинаково: сбрасывали колокола, топтали иконы. Даже стреляли в глаза святым, пробивая доски икон и уродуя стены церквей.

Из прихода толпами сходились в те дни в Костомарово бывшие прихожане. Падали перед святым храмом на колени, клали поклоны до земли, молились истово на погибающую святыню. Молящихся разгоняли грубыми окриками. А наиболее упорных старушек и оттаскивали подальше, подцепив сзади под руки...

И вот в последний раз страшно загудел грохнувшийся о землю колокол приходской Костомаровской церкви. Поднялся дикий, похожий на звериный рев, вой сотен человеческих голосов, который еще долго разносил ветер по окрестным полям и селам вслед за расходящимися, убитыми горем крестьянами.

Долго не верилось, что этой привычной дорожкой в село Костомарово ходить больше незачем да и некуда, разве что на погост придется когда-либо. Выросшие в атмосфере еще древнего уклада русской жизни, тяготеющего к храмам, костомаровские прихожане еще долго не хотели, отказывались верить во все происходящее. Вначале думалось, что это — случайность, ошибка, и скоро все встанет на свои места. Но разнесшийся по округе слух о том, что громят все церкви подряд — и Ветровскую, и Тургеневскую, и Полтевскую, и Спаса-Преображения в селе Спасском-Лутовинове, — не оставлял сомнений: святой храм в их селе решено уничтожить. «Зачем, для чего? Кому все это мешало?» Эти вопросы задавали себе и окружающим люди, в сознании которых церковь занимала особое место.

Самая значительная часть всего, что наполняло жизнь деревенского прихода, была связана с этим святым местом. В храме крестили новорожденных; люди учились вере, молитве и грамоте, узнавали новости и обсуждали общие дела. Здесь впервые встречались девушки и парни, присматривались друг к другу, сближались и иной раз навсегда. Здесь представляли Богу в общей молитве, с общей надеждой на временные и вечные блага, на земную (и небесную) защиту. Сюда сходились на празднества и торги. И возле своего храма, на приходском кладбище, ложились на покой. Соседи — к соседям. Тесная духовная связь прихожан со своим храмом определяла главное в их отношениях: готовность помогать друг другу в деле спасения. Святым и великим делом было в глазах верующих строительство церквей.

— Что же, Марья Матвеевна, дальше стало с церковью в вашем селе? Когда ее окончательно разрушили? — обращаюсь к Овсянниковой.

— А уже после войны... тогда их все и взорвали.

— Как? Взорвали? Специально или, может быть, они уже разваливались и из-за ветхости своей становились опасными для проходящих мимо людей?

— Да что вы!.. Стояли, как крепости: и у нас, и в Ветрово, и в других селах. Ломали специально, кирпич нужен был после войны на колхозное строительство. Да намаялись с ними: никак не поддавались. Тогда набрали бригаду подрывников из бывших фронтовиков. Специалисты, значит, могли свалить их только. Ну, подложили под Костомаровскую церковь взрывчатку, подпалили. И тогда рвануло... Осколки, камни — в разные стороны... Страшно было... Когда осела пыль, глянули, а она стоит — вся изуродованная, а с места не сошла. Помню, одна стена дольше всех других стояла, долго потом по кирпичику ее растаскивали, кто как осилит.

— Значит, в войну, в бомбежки, в фашистскую оккупацию церковь ваша устояла, а после войны сами защитники и уничтожили ее?..

— Выходит, что так... Народ подневольный. Начальство приказало — значит, делай, хоть умри... Она одна в нашем селе во время войны и уцелела-то, только купол снесен был снарядом. Помню, после окончания сражений отгородил себе в алтаре уголок и долго жил, один на всем погосте, Федор Ильич Кузнецов. Деревни-то не было. Потом стал собираться народ, наши, деревенские. Приехали Костомарова Евдокия Никифоровна, Ивана Митрева невестка, Костомаров Петр Иванович, Костомаров Иван Митрев, Костомарова Ольга Ивановна и Шапорова Евдокия Ивановна. Школу уже не строили. Несколько десятков лет деревня состояла из семи дворов. Постепенно люди разъехались, сады выкорчевали, дома растащили. Последним лет шесть тому назад уехал к сыну Иван Митрев. Долго все никак не ехал... Дом его растащили, деревню всю разровняли бульдозерами и распахали. Теперь только покойников носят с прихода, — говорит Овсянникова, раздумывая, будто вновь переживая те годы.

— А вы сами-то, Мария Матвеевна, как в Голоплеках оказались?

— А догадываетесь, наверно. Овсянникова я. Выходила в Голоплеки за Овсянникова, это уже после войны было... Вон Паня тоже сюда вышла, только она из Борзенки. Она старше меня, году в тридцатом еще сосватана была, тоже за Овсянникова, Ивана Данилова, — кивает головой на подходившую соседку Мария Матвеевна.

Действительно, к нам тихими шагами, очень нерешительно приближалась соседка Марии Матвеевны Прасковья Петровна Овсянникова. Пристально глядяваясь в наши лица, она, видимо, пыталась определить, к месту и ко времени ли будет ее приход. Вид у старушки был довольно приличный. Держалась она просто, с достоинством и удивительно степенно.

Мы пригласили Прасковью Петровну присесть, спросили о здоровье.

— Вот она расскажет вам и о Борзенках, и о Шаламовке, — говорит, обращаясь ко мне, Мария Матвеевна. — Она родилась в Борзенках, а прихода они были Шаламовского, и она про обе деревни все очень хорошо знает.

Неожиданная встреча с восьмидесятилетней Прасковьей Петровной Овсянниковой действительно оказалась для меня просто находкой, так как живет она теперь постоянно «на поселке». А в это лето, оказывается, она еще и огород посадила на своей усадьбе в Голоплеках. И сама его обрабатывает.

— С огородом, — жалуется она, — все труднее и труднее становится, уж сказала родным, чтоб на тот год мне картошку не сеяли, пусть траву косят.

Поговорили немного о ее житье-бытье. Незаметно разговор удалось перевести на интересующую меня тему о тех трех деревнях, где прошла вся ее жизнь.

— В Борзенках и Голоплеках, — говорила она, — барина не было. А в Шаламовке были господа: Зайцевы, Шаламовы, Гриневы... Село старое, испокон веку стоит. Пруды были посредине. Вокруг прудов





*Мария Матвеевна Овсянникова с внуками*



дов улицы шли: одна—само село Шаламово. От прудов ближе к Борзенкам—Денисовка, ее теперь тоже нет. Еще были Безгины Дворы. Это Безгиных, значить... В селе Шаламове была деревянная с куполом и колоколом церковь. Святости там много было, потому что там господа раньше жили, покупали иконы и другое... что надо было. Помню, священник был заслуженный, в камилавке, отец Аким, после десятого года. А после него служил отец Евгений. Помню, к нам в Борзенки приглашали святить кадушку отца Акима. В нее мышь попала, и надо было святить. Отец Евгений служил, когда шел Деникин. У него была дочь Надя, которая вышла в Борзенки за Василь Василичева брата. Между отцом Акимом и отцом Евгением был священник, которого звали Паньч. Не знаю, то ли прозвище такое было, то ли имя. Хорошо служил и пел... Могил священников на погосте нет... Церковь-то сломали после войны. Как хороша-то была!.. А родилась я в 1907 году в Борзенках. Школы там не было, а в Шаламовку ходить было далеко и не в чем. Грамоте меня учила мама. Отец Петр Андреевич и мама Матрена Михайловна — оба из борзенских однодворцев... У меня было живых четыре брата и одна сестра. А до моего рождения умерли четыре сестры и брат... Домик наш стоял на самом краю деревни; как идти на Шаламово. Рядом купил кирпичный дом мой брат Василий, когда женился на Ольге Пятровне. Дальше стоял дом Василь Изотыча. Теперь он брата невестки его, Валентины Ивановой. Муж ее еще пришел с фронта больной и скоро как-то умер. Сама она сейчас живет с сыном на поселке. В четвертом доме жил Семен Иванович Борзенков с семьей, а теперь того дома нет. За ним были Кретовы, за ними — Филипповы, потом Краснопевцевы, Федор Алексеич Борзенков с семьей. За Федором Алексеичем Филипповы, Афанасий Федорович и Мария Андреевна... На теперешнем месте Мельниковых — Николай Павлович Борзенков. За ним был Василь Василич Борзенков, его дом после войны разломали, Иван Иванович Борзенков. Егор Александрович, его жена Надежда Матвевна, старенькая, жили на краю, как идти в Голоплеки. Ездит теперь только летом, когда тепло... Дочь ее Рая живет в Орле, тоже ездит летом... Ивана Ивановичева-то усадьба сгорела. Там сын его Слава гостить. Хорошо смотрит за усадьбой, в сарайчике ночует, огород садит, старушкам помогает... Из стариков-то одна Ольга Пятровна да Надежда Матвевна. Все другие новые, дачники. Чужие все. Дома в Борзенках были у всех кирпичные, с толстыми стенами. Были и деревянные. Сами мы жили плохо. У отца было много сестер и брат, он и им помогал...

Пока Прасковья Петровна рассказывает о борзенской старине, я незаметно вынимаю из пакета и раскладываю на столе перед ней несколько фотографий. Знаю, что люди, изображенные на них, имели раньше отношение к этой деревне... О них никто в округе ничего пока мне не сказал. Но Прасковья Петровна не только опознала людей на фотографиях, но и рассказала о них много интересного.

— Как же, знаю, — говорит она, глядя на одну из них. — Вот эта — Василь Василичева жена Антонина. Только это она не с ним, а с другим с кем-то... Знаете Ветрово-то? Ну, Кальна, потом Русина, еще выше по реке и будет Ветрово. Так вот, он Антонину-то оттуда брал. Выходила она за Василь Василина после мужа, вдова была... помер у ней муж-то, году так примерно в двадцать пятом... Из Чадаевых она, Антонина-то, из купцов... Мельницы-то на Снежеди — все ихнего дедушки были. Вот помер у ней муж-то, а она и выйди в Борзенки да с тремя детьми... Говорили на деревне, за богатство женился на ней Василь-то Василич... Привез, помнится, ее в Борзенки, она высокая, ладная, разодетая... А потом чтой-то скоро они и разошлись...

— А дочерей Антонины вы не помните? — с интересом прислушиваясь к воспоминаниям старушки, расспрашиваю ее.

— Как же, конечно, помню... Три девочки были... Раиса, знать, старшая-то. Да она ведь в Ветрово- вой-то летом и теперь живет. Сходите, она вам больше скажет. А я что?.. Чужие дела — потемки. Потом Марина была... А третью не помню. Меня ведь вскорости сосватали в Голоплеки, за Овсянникова Иван Данилыча. И больше я их чтой-то не видала... Отца Василь Василичева знала, в том году и сослан был, богатый, знать... А еще из наших-то деревень выслан был Саша Овсянников, Алексан Пятрович,

### *Деревня, которой нет*

учителей, знать, брат, из Голоплек... Я-то ету дель видала... Ну, етого-то и вовсе зазря... Что он? Как и все был, живот надрывал на работе... В аккурат только женился недавно. Жену взял из Троицкова-Бачу-рина, красавица была. Мы, помню, из Борзенок все глядеть на ее бегали... Таня Сечина... Двух сыновьев ему родила... А потом их выслали, всю семью. Я уж в Голоплеках тогда жила недолго. Мы всей деревней и округой жалели их. Вишь, придрались, что, мол, в германскую в пляну у немца побывал... А кто тогда и не бывал-то? Известное дело, солдат, не волён себе...

Вот, помню, сидят оне все вчетвером в телеге. Алексан-то Пятрович тоже молодой, красивой был тогда. Шапку в руке держать... Вся деревня окружила, не дают родным подойти, попрощаться. Мальчонка один уж сам сидел, а другого Таня на руках дяржала... Милиция тут... Вот повезли их... да как завоет тут вся деревня в голос. Жуть взяла. Тогда покажут на кого соседи, того и брали, высылали... Ето так и всякого могли... Потом-то? А кто ее знает? Говорили, в Казахстан угнали. Там оне все и сгинули. Один мальчонка, не знаю, которой, старшенькай ли, грудничок ли, говорили, еще по дороге помер... Из вагонов выходить не велено было, они вроде как заключенные были. Вот мыкались-мыкались, а время-то идет, мальчонку уж держать боле нельзя... Ну, его так на ходу и выкинули...

Помолчав, Прасковья Петровна горестно добавила:

— Каково матери-то?! А всем-то, кто ето видал, каково?! Дом-то, что на вашем краю третьим будет, где Дмитрий Степанович с Ниной Степановной, племянники-то Сашины, живут... часть-то заколоченная. Так ведь ето и есть Алексан Пятровичева часть. Ето колхозное теперь... Так и стоит заколоченная с тех пор, разваливается помаленьку. Пробовал колхоз клуб там исделать, да ничего из етого не вышло: видно, на чужом-то горе и не пелось, и не плясалось... Вот Маша видала все, не дасть соврать, — кивает головой старушка в сторону Марии Матвеевны, а та подтверждающе кивает головой.

Понимая необходимость отвлечь Овсянниковых от горестных мыслей, задаю Прасковье Петровне еще один вопрос:

— А как сложилась ваша семейная жизнь в Голоплеках, Прасковья Петровна?

— Моя-то? Да хорошего мало было... Трудно всегда было. Только и помнится из всего, что работа да работа, дома да в колхозе. Зимой помене, а летом — так и не спамши порой... Вышла я в семью-то большую. У свекра моего Данилы Васильича Овсянникова было семнадцать душ детей. Когда я перешла к ним, вместе жили: Семен, Анна, Петр, Екатерина, Сергей, Никита и Иван... с семьями которые. Сказать нечего... Без мужа я осталась в 1966 году, похоронен он на погосте в Ветровой. Голоплеки туда теперь носят своих. Вот и все... Войну помню, голод... Теперь вот живу хорошо. На поселке — зимой, в комнате теплой, сыта, обута-одета... Рядом в комнате Ольга Пятровна, невестка моя. А еще Груня, соседка. Домик-то Грунин знаешь? Вон, за прудом, пустой стоит. Она теперь ослабела совсем: не придеть... Всем нам скоро помирать стать. Я-то вот еще пришла. Правда, одна в своей половине боюсь оставаться, у невестки ночую...

— Как вы, Прасковья Петровна, деревню-то свою теперь называете? — спрашиваю у нее.

— Голоплеки, как же еще?!

— А Черемушки?

— Да ну их, что выдумают! Ето начальство да старики наши голоп.,ецкие с ума посходили... Овсянниковы, значить, братья Никита Данилов и Иван Данилов, Тимофей Никитов, Афанасий Аксенов, Алексей Сергеев, Дмитрий Никитов, Емельян Назаров, Сергей Никифоров и Субычевы, Василь Егоров, Осип Григорьев, их племянник Гаврила Стефанов, Козьма Федоров. Они были собраты на собрание, и оно постановило Голоплекам дать другое название... Говорят, что ето такое — Голоплевки ваша деревня зовется? Что ето за плевки за такие? Ето, грят, здесь барин такой-то Голоплевкин был, так теперь что же, так и будет его именем деревня-то зваться? Ну, и сменили... Чернь, говорили, отказала... А Москва утвердила. А званье-то деревне нашей, знать, дадено еще тогда, давно, испокон веку... и никакого барина здесь никогда и не бывало. Голоплецкий народ испокон веку вольнай, значить... Ну вот, как имя-то

деревне заменили, тут-то и стали скоро наши старики подбираться, один за другим. Еле успевали носить на погост в Ветрово да поминать... вот ведь как, — заключает старушка.

А я думаю: отчего бы это они, старики то есть, все почти так-то сразу поумирали?..

Август 1988, Голоплеки

### Тургенев и каленские крестьяне

У нас появился новый деревенский сосед: в Борзенках обосновался с семьей орловский литератор Владимир Дмитриевич Почечикин, автор одной из интереснейших документально-публицистических работ, опубликованной в журнале «Наш современник» под заголовком «Записки провинциала»<sup>1</sup>.

И в этот раз я пришла в Борзенки с целью навестить семью писателя, пообщаться с ним лично и узнать орловские новости. Пройти единственной, ровно обсаженной по обеим сторонам старыми тополями улицей этой сказочно красивой деревеньки всегда приятно. А в предвкушении общения с интересными людьми — вдвойне.

Пока, сидя в шезлонгах у входа в дом, мы с Почечикиным мирно беседовали, мимо прошла уроженка этой деревни Ольга Петровна Борзенкова. Поздоровалась, но не остановилась. А когда я выходила из деревни, то у последнего на восточной окраине деревеньки маленького деревянного домика увидела ее в обществе его хозяек: старенькой Надежды Матвеевны и ее дочери Раисы. Убедившись, что Почечикин, попрощавшись, повернул назад, Ольга Петровна поднялась со скамейки и пошла со мною рядом. Оказалось, что ей тоже надо было пойти в Голоплеки на ферму к дочери Алевтине Цукановой

Каждый раз, выходя из Борзенок в сторону Голоплек, я останавливаюсь с тем, чтобы полюбоваться еще и еще раз на Губаревку. Отсюда она видна лучше всего: вся, до последнего деревца и кустика.

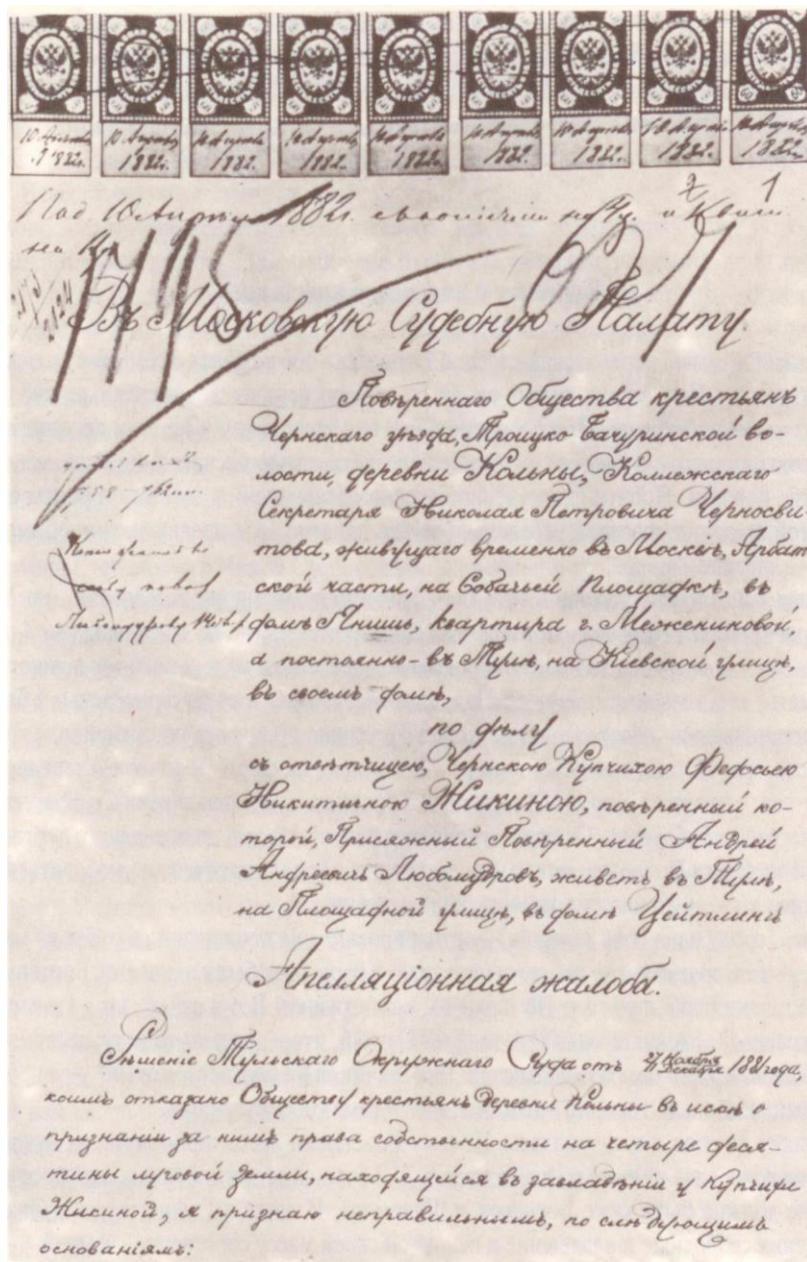
— Вот ведь, Ольга Петровна, никак невозможно не остановиться и не полюбоваться отсюда Губаревкой, — говорю я ей, — до чего же хороша была деревенька!

— Да уж... сроду одна голь да пьянь, — отпарировала она неожиданно в ответ на мое восторженное замечание, — да и другие такие же, не лучше этой. Краше всех были наши две: Борзенки да Шаламо-во. Да еще Голоплеки были ничего... Но наши-то, как игрушки! Все в садах, дома каменные, крепкие, народ чистай, красивой... А жили-то как! А теперь? Считай, что и деревни-то нету: десять домов да Славкин сарай — вот и все. И то все разваливаются. Что, дачники их подымут, что ли? — не обращая внимания на то, слушаю я или нет, говорит и говорит, будто сама себе, старушка.

После таких ее слов я и задумалась. Почему Голоплеки всего лишь немного лучше Губаревки? Ведь эта деревня тоже одна из старых, возникших в XVI веке на защитной линии однодворческих поселений и потому не должна быть хуже Борзенок и Шаламова. И жили в Голоплеках издавна однодворцы, люди, от рождения свободные и владевшие в основной своей массе собственной землей.

Эти мысли привели меня в архивы. И результат поисков истины не замедлил сказаться: оказывается, в 1862 году Иван Сергеевич Тургенев из деревни Голоплеки, часть которой в 1850 году он с землями и крепостными крестьянами унаследовал после кончины своей матери, переселил крестьян в соседнюю деревню Кальна, причислив их к каленскому сельскому обществу. Это были: «Яков, Антон, Трофим Лаврентьевы, Иван Иванов, сыновья его Иван и Николай, Ивана Иванова сыновья Яков, Козьма и Иван, Иона Герасимов, сын его Александр, Ионы Герасимова дядя Аксентий Назаров, принятый во двор Ивана Назарова, Ивана Назарова сыновья Петр и Федор, Иван Дмитриев, внук его Егор Васильев»<sup>2</sup>.

А крестьянские нравы в деревне, как видно, успели прочно укорениться, иначе не пришлось бы сравнивать ее с крестьянским поселением. Оказались не в состоянии Голоплеки угнаться за традиционной



Страница «жикинского дела»  
A page from «Zhikinskoye» dossier



культурой исконных однодворческих деревень. Этот вывод подтверждался и моим постоянным общением с местным населением.

«Несколько случайно брошенных фраз деревенской женщины заставляют задуматься и поразмышлять над разгадкой особенностей существования и психологии местных уроженцев», — думалось мне, и я уже с интересом и пристрастием поглядывала на Ольгу Петровну Борзенкову.

Верно, что сегодняшние потомки местных однодворцев и теперь еще в основной своей массе отличаются от соседей, ведущих свой род от живших здесь ранее крепостных крестьян. Они всегда более сдержанны, осторожны в общении с незнакомыми людьми, более вдумчивы, нежели потомственные крестьяне. Последние — с открытым взглядом и душой — охотно общаются с каждым новым человеком, с готовностью рассказывают о своей жизни, гостеприимны. Но зачастую стесняются пригласить тебя в дом, сетуя на то, что, мол, «не больно в избе у нас чисто... грязь с улицы таскается. Да, по правде сказать, и некогда прибираться-то...».

И мне захотелось побольше узнать об этих людях. Через личное отношение к их предкам Ивана Сергеевича Тургенева попытаться раскрыть их образ мыслей, черты характера, понять, почему, за какие особенные человеческие качества великий русский писатель в свое время всей душой полюбил местных крестьян и увековечил память о них, описав в своих замечательных произведениях.

В 1882 году И. С. Тургенев был уже смертельно болен и хорошо понимал, что едва ли когда-либо снова увидит родину. Поэтому, видимо, в письмах этого времени он особенно подробно расспрашивает своих корреспондентов о положении дел в родных местах. Особую заботу проявляет Иван Сергеевич о бывших своих крестьянах.

Лето в этом году на Орловщине и Тульщине стояло жаркое, с частыми ливнями и грозами, а 8 июня выпал град и сильно повредил хлеба каленских крестьян. Об этой их беде Тургенев узнал из № 2 рукописного журнала «Спасский вестник», который регулярно заполнял и высылал ему во Францию Аля, сын друга — художника и поэта Якова Петровича Полонского, гостившего в Спасском с семьей и в отсутствие хозяина. В ответ на это сообщение И. С. Тургенев писал Полонским в Спасское: «Жаль мне очень каленских мужиков... Народ степенный и дельный, не то что спасские... Но что поделаешь против стихии? Это в своем роде та же болезнь»<sup>3</sup>.

В те дни, когда почитатели великого таланта И. С. Тургенева готовились проводить писателя в последний путь, редакция журнала «Вестник Европы», активным корреспондентом которого он долгие годы являлся, получила посланную из Мценска телеграмму следующего содержания: «Бывшими крестьянами Ивана Сергеевича села Спасского и каленскими отслужены заупокойная обедня и панихида. Они поручили мне возложить на гроб своего покойного благодетеля венки в сорок рублей; дайте знать, когда будут похороны. Н. Щепкин»<sup>4</sup>.

27 сентября 1883 года петербуржцы и почти 200 делегаций из разных уголков России шли по улицам нашей северной столицы к Волкову кладбищу, провожая в последний путь любимого писателя. За гробом покойного несли множество венков. Первым среди них был от земляков — спасских и каленских крестьян.

А спустя месяц после похорон журнал «Исторический вестник» опубликовал «Воспоминания об И. С. Тургеневе» молодого русского журналиста Е. М. Гаршина, бывавшего в тургеневском Спасском неоднократно. Он писал об отношении писателя к местным крестьянам следующее: «Гораздо более был расположен Иван Сергеевич к бывшим своим крестьянам соседнего села Кальны, живописно раскинутого на высоком берегу извилистой речки. И они платили ему тем же, как мне пришлось видеть во время нашей поездки в эту деревню на рыбную ловлю»<sup>5</sup>.

...Длинная прямая улица Голоплек упирается в большой пруд. За ним — «хутора». Так издавна зовется та часть деревни, дома которой расположились на другой его стороне. Вместе эти две улицы

напоминают букву «Т», опрокинутую набок. Если идти от хуторов строго на север километра два, то и придешь в Кальну.

Посреди деревни — громадный овраг, который делит ее на две части. По правую сторону его жили раньше коренные каленские крестьяне. А по левую, как утверждают старожилы, и построил Тургенев избы крестьянам, переселенным из Голоплек и приписанным к каленскому сельскому обществу. Хотя и посмешались с тех пор, породнились каленские крестьяне с голоплекскими, а все же, как только зайдешь в деревню да заведешь разговор о тех далеких временах, каленцы ни за что не забудут сказать, что по правую руку — это коренные, каленские, а слева — голоплекские.

Деревня Кальна имеет свою давнюю историю. Уроженцы ее знают, что в начале прошлого века она принадлежала вместе с крепостными крестьянами и землями предкам Л. Н. Толстого. Затем стала владением И. И. Лутовинова, двоюродного деда И. С. Тургенева, а после кончины последнего стала владением матери И. С. Тургенева. Он же стал последним владельцем ее.

Это — одна из старинных русских деревень. Она расположена на левом берегу небольшой живописной речки Снежеди. О судьбе деревни и ее обитателей во времена владения Кальной матерью писателя Варварой Петровной Тургеновой известно очень немного: несколько упоминаний о деревне имеется в ее письмах к управляющему и сыновьям, Николаю и Ивану Сергеевичам. Так, 1 мая 1838 года она из Спасского сообщала Ивану Сергеевичу: «Я хочу завести на будущий год сахароводство <...>. Завод будет в Кальне. Управитель наш, говорят, знаток. Он обещал мне златые горы. Что хочется, тому верится».

11 июля 1842 года она писала: «Мы ездили в Кальну убирать сено...», 5 сентября: «Мне теперь не нужно уже делить имение на участки. Имение опять все мое, а по-прежнему делится только на правленья <...>. 1-е Лутовиновское мое при доме деревенском, и при Спасском — Кальна, Сомово, Сычово <...>. А твой участок все-таки у дяди, но! — под ихним же обзором пока. — А как по закону меньшей сын с матерью живет, то мой Спасский участок с твоим тургеновским не разделен...».

И в письме без обозначения даты: «Ежели ты уже начал говорить с дядею насчет наших дел, то скажи дяде, что я даже и мое имение, вдовый участок, ему поручаю на сей год <...>. Но! — прошу оставить в собственное мое распоряжение, не вмешиваясь ни во что — Спасское, Кальну, Сомово. Чтобы я умела сколько-нибудь сама хозяйством заниматься»<sup>6</sup>.

Известно, что писателем был задуман и у него зрел план нового произведения — рассказа «Всемогущий Жикин», фабулу которого и действующих лиц И. С. Тургенев намеревался взять из жизни, то есть описать подлинные события, разыгравшиеся на реке Снежеди, в деревне Кальне, в конце 60-х годов прошлого столетия. А героями так и не написанного произведения должны были стать крестьяне Кальны, которые при активнейшей поддержке писателя длительное время бесстрашно боролись с кулаком Жикиным, всячески притеснявшим крестьян и запахавшим четыре десятины луговой земли, принадлежавшей сельскому обществу.

Известно, что задуманный рассказ Тургеновым написан не был. Но в 19 письмах его с 1869 по 1883 годы и дневнике за ноябрь 1882 — январь 1883 годов есть записи, в которых упоминается имя Жикин и название деревни Кальна: «На продажу каленской мельницы изъявляю согласие...», «...деньги, жикинские и другие...», «Жикин мне кажется весьма ненадежен...», «...что произошло с Жикиным?», «...дело жикинское подвигается или нет?», «... и в конце концов Жикин останется непобедимым», «...я совершенно согласен на помещение меня в жикинском деле свидетелем...», «...из Спасского одно интересное известие: кабатчика засадили-таки в острог. Ну, — а Жикина?»<sup>7</sup>.

Этот неполный перечень выдержек из писем И. С. Тургенева и целый ряд подобных свидетельств из других источников говорят о непосредственном участии писателя в судебном процессе против посягательств кулака Жикина на крестьянскую землю.

Из воспоминаний современников И. С. Тургенева — М. А. Щепкина, брата управляющего его име-

### *Тургенев и каленские крестьяне*

ниями Н. А. Щепкина; журналистов А. В. Половцева и С. Н. Кривенко, встречавшихся в разное время с писателем, а также из писем корреспондентов Тургенева тех лет мы узнаем о судебном деле, «возбужденном Тургеневым по просьбе каленских крестьян»<sup>8</sup>, а также о том, что «о кулаке Жикине Тургенев собирался написать очерк «Всемогущий Жикин»<sup>9</sup>, или: «Жикин, кулак, купивший у Тургенева мельницу в деревне Кальна Чернского уезда Тульской губернии и притеснявший крестьян этой деревни»<sup>10</sup>.

На эти свидетельства и ссылались до сих пор тургенеvedы, комментировавшие в академическом издании письма И. С. Тургенева в связи с «жикинским делом». Из комментариев узнаем о том, что «чем закончилось это дело, сведений обнаружить не удалось»<sup>11</sup>, а также: «Дело с Жикиным тянулось несколько лет и осталось безрезультатным для каленских крестьян...»<sup>12</sup>.

А между тем Тургенев в 1882 году в одном из писем своему управляющему в Спасское-Лутовиново сообщал: «Князь Урусов (тульский вице-губернатор) пишет мне, что дело с Жикиным кончено в Московской судебной палате в пользу каленских крестьян — и что Черносвитов (адвокат — *прим, авт.*) поехал в Кальну объявить им решение Палаты...»<sup>13</sup>.

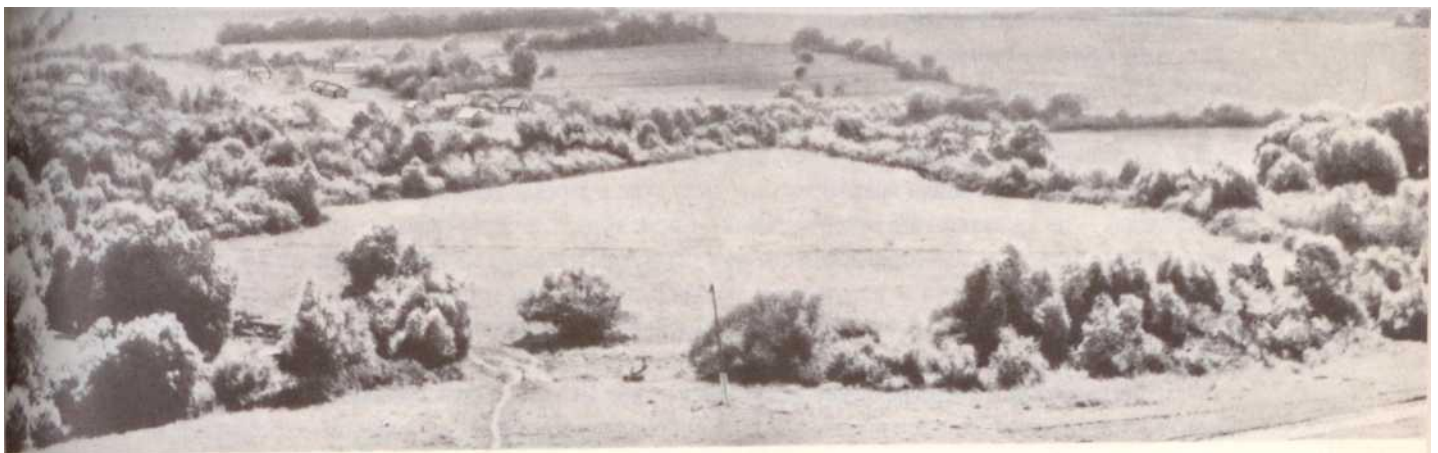
Последнее свидетельство писателя и помогло мне разыскать в архиве «жикинское дело». Но прежде обратимся к документам, свидетельствующим о положении каленс их крестьян накануне реформы 1861 года.

Раздельный акт между братьями Николаем Сергеевичем и Иваном Сергеевичем Тургеневыми гласит: «Лета 1855-го, марта в восьмой день, надворный Советник Николай и коллежский секретарь Иван Сергеевы Тургеневы, состоя единственными наследниками после умершей родительницы нашей полковницы Варвары Петровной Тургеневой, к оставшемуся движимому и недвижимому имению, состоящему в Курской, Калужской, Орловской, Тульской и Тамбовской губерниях <...> учинили сей акт в следу-

*Крестьянская земля, за которую восемь лет судился с кулаком Жикиным*

*И. С. Тургенев*

*Peasant grounds for which I. S. Turgenev has been at law with kulak Zhikin for 8 years*



ющем: младшему из нас Ивану получить на свою часть <...> Тульской губернии <...> деревни Кальну и Голоплеки <...> участок Ивана Тургенева составляют следующие имения, земли и души <...> Тульской губернии деревни Кальна и Голоплеки. При сих имениях находятся водяные мукомольные мельницы в сельце <...> Кальне земли <...>. При деревнях Кальне и Голоплеках земля состоит в даче деревни Кальны, пустоши Борзенках, дачи сельца Малых Борзенок, пустоши Жерновой — Мышнево тож, в даче деревни Голоплек и деревни Руссиновой; душ по 9-й ревизии <...> в деревнях Кальне мужска пола 88 и женска 93; Голоплеках мужска пола 16 и женска 19»<sup>14</sup>.

О положении крестьян Кальны и Голоплек спустя три года свидетельствует другой документ, хранящийся в Государственном архиве Тульской области (ГАТО). По всем 14 страницам плотной старинной бумаги его понизу растянута строка, писанная рукой дядюшки писателя: «К сему сведению по доверенности коллежского секретаря Ивана Сергеевича Тургенева гвардии штаб-ротмистр Николай Николаевич Тургенев руку приложил». На титульном листе читаем: «24 ноября 1858 года. Сведения по имению коллежского секретаря Ивана Сергеевича Тургенева, Тульской губернии Чернского уезда 1. дер. Кальна, 2. дер. Голоплеки»<sup>15</sup>.

Это — справка, составленная по доверенности И. С. Тургенева управляющим его имениями Н. Н. Тургеневым согласно программе, полученной от тульского губернского предводителя дворянства по имениям Кальна и Голоплеки «для составления проекта положения об устройстве помещичьих крестьян по Тульской губернии». Она позволяет нам подробно узнать о материальном положении крестьян Кальны и Голоплек накануне правительственной реформы об отмене крепостного права.

Из этой обширной справки мы узнаем, что в Кальне в 1858 году было 22 крестьянских двора, в которых проживали 189 человек; из них — 90 мужчин и 93 женщины. В Голоплеках было всего 4 крестьянских двора, и в них проживали 17 мужчин и 16 женщин. Крестьяне Голоплек намечались к переселению в деревню Кальну. В Голоплеках дворовых не было. В деревне Кальна «дворовых мужеска две души, которые в должностях при хозяйствах не состоят, а находятся по паспортам для прокормления себя и семейств своих». Хозяйственные же должности в этих деревнях исполняли староста и десятский, выбранные самим помещиком из среды тягловых крестьян.

Все крестьяне Кальны и Голоплек не умели тогда ни читать, ни писать. Дворовые обучались грамоте при конторе. При этих деревнях не было никаких благотворительных заведений, ни богадельни, ни больницы, ни детского приюта. Имелся лишь один запасный магазин, выстроенный его владельцем.

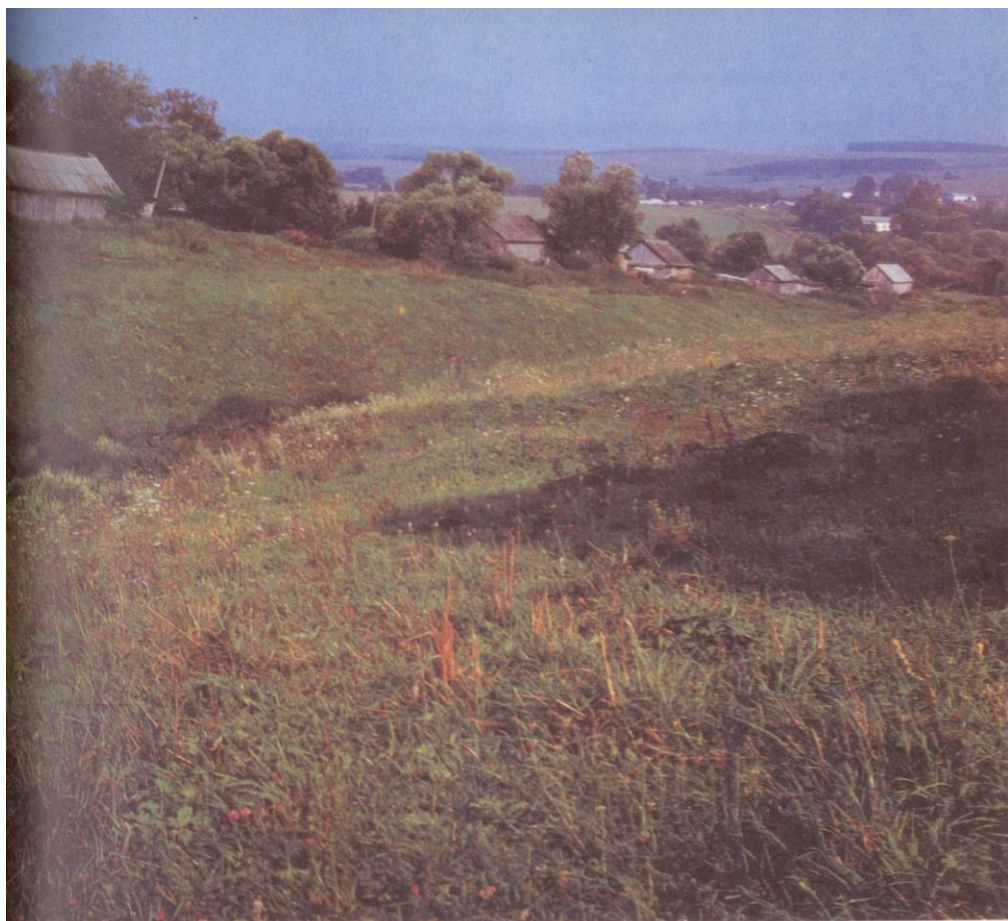
На вопрос «справки», чем занимались жители Кальны и Голоплек, следовал ответ: «Из крестьянского населения писарей, конторщиков, лесничих, музыкантов, певчих, псарей, фельдшеров, ветеринаров, винокуров, огородников, сахароваров, селитроваров, мыльников, пастухов и пр... не имеется, а которые берутся на дворню, то это престарелые, бессемейные или вдовы с малолетними детьми, не могущие иметь свое хозяйство и тянуть тягло»<sup>16</sup>.

А на вопрос о промышленности крестьян отвечали: «Промышленность крестьян в летнее время состоит в наемке земли; а в зимнее и свободное время занимаются извозами с разными купеческими товарами, которые едва доставляют в дороге пропитание крестьянину и его лошадям. Ремесленной же, заводской и фабричной промышленности у крестьян нет».

Общее количество земли приходилось по числу душ: в деревне Кальна по 6 десятин 917 сажень, в Голоплеках — по 3 десятины 388 сажень на душу. Кроме того, из анализа справки видно, что крестьяне Тургенева уже в середине 50-х годов прошлого века знали, какой именно землей в будущем они будут распоряжаться как хозяева. Пока за пользование ею они платили своим трудом, не соглашаясь на аренду, оформленную по всей форме. А без аренды невозможен был выкуп земли, к чему Тургенев стремился с того самого времени, как стал ее хозяином.

Чтобы уничтожить чересполосицу между своей и крестьянской землей, а также укрепить сельское общество этого имения, он и предложил крестьянам Голоплек, как видно из «справки», переселиться в





Деревня Кальна  
Village Kalna

соседнюю Кальну. Усадебная земля тогда ценилась дороже полевой, а он назначил за нее цену как за полевую.

В Центральном государственном историческом архиве 23 апреля 1986 года мною обнаружено «Дело тульского окружного суда по иску общества дер. Кальны к купчихе Жижиной о земле». Его материалы содержат ряд новых сведений, дающих возможность более глубоко осветить то живое, непосредственное участие, с каким великий русский писатель И. С. Тургенев относился к судьбам крестьян.

Из писем Тургенева и воспоминаний его современников известно, что он тяготился своим положением помещика и всячески способствовал освобождению крестьян в имениях, перешедших к нему по наследству после смерти матери. Материалы обнаруженного дела дают этому документальное подтверждение. О том же свидетельствует и находящаяся в нем «Уставная грамота для сельского общества деревни Кальны», определившая условия освобождения крестьян каленского сельского общества от крепостной зависимости. Из сопоставления данных «справки» и уставной грамоты видим, что свое прежнее намерение переселить крестьян из Голоплек в Кальну Тургенев осуществил к 1862 году, о чем в уставной грамоте имеется соответствующая запись:

«В каленское сельское общество входило 90 крестьян, и с ними переселенные и водворенные всем обществом, записанные по ревизии в деревне Голоплеки Чернского уезда 17, всего следует включить в общество 107 душ, которые и донныне на основании Положения получают в пользование земельный надел»<sup>17</sup>. А далее следует перечисление крестьян, имена которых были приведены выше.

Условия освобождения от крепостной зависимости оказались выгодными для крестьян каленского сельского общества. Из уставной грамоты видно, что Тургенев, став землевладельцем, предоставил своим крестьянам земельный надел в два раза более высокий, чем предусматривало положение реформы:

«3. Для Чернского уезда в расписании, приложенном к ст. 15, определен высший душевный надел в 3 десятины, а потому на основании примечания 1 ст. 17 по числу душ высший надел на все крестьянское общество составляет 321 десятину, а низший 107 десятин. 4. Так как крестьяне деревни Кальны пользуются ныне земельным наделом, превышающим высший надел, то на основ. ст. 18 крестьянам предоставляется в постоянное пользование полный высший надел»<sup>18</sup>.

Поэтому по распоряжению правительства Тургенев вынужден был часть надела у своих бывших крестьян отрезать, оставив им по 3 десятины земли на душу. Ту часть, которая согласно закону о реформе оказалась отрезанной от крестьянских земель, он предложил крестьянам в аренду, а затем способствовал тому, чтобы они приобрели ее в собственность по выкупу.

Из указанных далее в уставной грамоте сумм платежей оброка видно, что Тургенев не брал с крестьян даже той арендной платы, очень небольшой, которая полагалась за пользование землей, а постоянно снижал ее: «Крестьяне дер. Кальны должны были со всех душевных наделов платить оброку 963 рубля, ныне же за вычетом 53 руб. 50 коп., пожертвованных помещиком на усадьбу, должны платить в год оброка 909 руб. 50 коп... При общей сумме оброка, следующей за весь поземельный надел, следовало бы отчислить на усадьбы по 1 руб. 50 коп. с души... но помещик определил крестьянам 50 коп. на душу... вследствие чего повинность за пользование всей усадебной оседлостью крестьянского общества составляет в год 107 руб., а выкупная сумма за всю оседлость за вычетом пожертвованной третьей части 891 руб. 66 и одна треть коп., сост. 1783 руб. 33 и одна треть серебром»<sup>19</sup>.

При размежевании Тургенев позаботился о том, чтобы каленские крестьяне имели удобный выгон для скота, свободные проходы к водопоям, оставил нетронутыми проторенные ранее дороги в ущерб господской земле, перенесенной в менее удобное место.

При составлении уставной грамоты он решил передать свою усадебную землю в окрестностях Кальны крестьянам, чтобы не разъединять их надел, что и осуществил, о чем в уставной грамоте имеется свидетельство: «А бывшая господская усадьба, состоящая внутри крестьянских усадеб, в количестве

десяти десятин предоставляется в постоянное пользование крестьян»<sup>20</sup>. Свою же личную усадьбную землю он перенес в менее удобное для себя место.

Уже в 1863 году крестьяне каленского сельского общества стали самостоятельно вести хозяйство, то есть стали собственниками: «...в надел крестьянам каленского общества в 1862 году отведено помещиком удобной земли 321 десятину, с указанием границ на владения и данною крепостью, совершенною в Чернском уездном суде 16 сентября 1863 года, по которой крестьяне выкупили в собственность у Тургенева то самое количество земли (321 десятину), которое значится в надельном плане и уставной грамоте»<sup>21</sup>.

Таким образом, крестьяне Кальны одними из первых в России после крестьянской реформы стали самостоятельно вести хозяйство. Их положение выгодно отличалось от состояния крестьян, ранее принадлежавших другим помещикам. Об этом имеется ряд документальных свидетельств. Вот одно из них:

«Окрестные крестьяне знали о добрых отношениях Ивана Сергеевича Тургенева к своим крестьянам. И вот они обращаются к нему за советом, как им поступить, когда их обидел помещик. В 1927 году Тургеневским музеем приобретен документ с таким заголовком: «Прошение крестьян села Гушино Мценского уезда к князю Меншикову», у которого они были крепостными. В прошении крестьяне указывают, что до освобождения они имели по 2 дес. на душу, а теперь им дали только 103 дес. на 200 душ; среди их земли остался барский сад, что стесняет крестьян. Они указывают, что их соседи — крестьяне И. С. Тургенева — получили по 3,5 с лишним дес. на душу.

Иван Сергеевич Тургенев в некоторых местах исправил это прошение»<sup>22</sup>.

Переход земли в собственность крестьян мог осуществиться лишь на следующих условиях: «Правительство ссужало <...> определенную сумму, с рассрочкою уплаты оной на продолжительные сроки, и само взыскивало следуемые с них платежи <...> При приобретении крестьянами полного по уставной грамоте надела выдавалось им в ссуду 4/5 всей необходимой суммы, а остальную 1/5 часть крестьяне должны были немедленно выплатить помещику. По утверждении выкупной сделки правительством все обязательные отношения между помещиками и крестьянами прекращались, и последние поступали в разряд собственников»<sup>23</sup>.

Тургенев подарил крестьянам ту самую сумму, которую они должны были заплатить ему немедленно. На 24 крестьянских двора было оставлено Тургеневым 24 десятины земли. Эта земля так же, как и 1/5 часть выкупной суммы, была писателем подарена крестьянам.

Сохранилось документальное свидетельство этого. В письме к племяннику Н. Н. Тургенев писал: «Впоследствии времени для личного твоего распоряжения были в Спасском собраны с многих деревень крестьяне близ террасы, и ты объявил им следующее распоряжение и передал мне для немедленного исполнения. 1. Оборотясь к крестьянам, произнес следующие слова: «Освобождаю я вас от всех обязательных отношений согласно местного Положения с пожертвованием 1/5 доплатной выкупной суммы и сверх того уступаю безвозмездно всю усадьбу, огороды, конопляники... Крестьяне, выслушав милостивое твое награждение, заявили свою благодарность — и не замедлили требовать от меня о немедленном исполнении твоего распоряжения.

2. Сим пожертвованием сполна воспользовались одни лишь крестьяне, кои лично присутствовали, именно...

4. Крестьяне деревни Кальны — 901 руб. 63 коп.»<sup>24</sup>.

Таким образом, приведенные здесь документы свидетельствуют, что крестьяне деревни Кальны оказались в смысле выкупа земли в наиболее выгодном положении: они лично слышали о «награждении» Тургенева и немедленно воспользовались им, потребовав от управляющего, который препятствовал такому льготному выкупу крестьянами земли, осуществления этих льгот именем писателя.

Итак, в 1863 году Тургенев окончательно рассчитался с каленскими крестьянами, продав им 321 десятину плодородной пахотной земли и сделав всевозможные уступки и пожертвования. Тем не менее он продолжал считать своим долгом заботу о них, защиту их интересов, личное участие в их судьбах.

В письмах Тургенева из-за границы до конца его жизни звучит тревога за судьбу каленских крестьян. Но с особой очевидностью это участие раскрылось в защите их прав от посягательств кулака Жикина.

Началом действий богатого семейства Жикиных на землях каленского сельского общества явилось заключение Иваном Жикиным контракта на аренду мельницы на реке Снежеди в деревне Кальне 29 мая 1862 года

сроком на 8 лет с управляющим имениями писателя Н. Н. Тургеневым, который имел доверенность от писателя. Фактически же на этой мельнице и прилегающей к ней земле хозяйничал брат его Михаил Жикин, который впоследствии и стал главным героем так называемого «жикинского дела».

Михаил Жикин на арендованной его братом мельнице и земле действовал как самоуправный хозяин. Еще до окончания арендного контракта, заключенного на имя брата, он построил на мельничной плотине кабак. Зная, что земля эта принадлежит Тургеневу, крестьяне разнесли по бревнам строение кабака.

19 марта 1870 года Жикин возбудил иск у мирового судьи 1-го участка Чернского округа «по обвинению каленских крестьян в самовольных действиях по поводу постройки кабака» и пытался защищаться на суде именем Тургенева: «... б) <...> приняв доверенность от управляющего имением Тургенева, в которой сказано, что постройка кабака на плотине принадлежащей Тургеневу мельницы производилась по распоряжению управляющего, и затем, защищаясь на суде у мирового судьи правом Тургенева, Михаил Жикин тем самым утверждал, что ни он лично, ни брат его Иван права собственности на землю и мельницу не имели»<sup>25</sup>.

Как показывают последующие материалы судебного дела, и в дальнейшем крестьяне Кальны, «каждое поползновение Жикина на захваченной им земле оспаривали, а не смотрели равнодушно на этот захват»<sup>26</sup>.

Узнав, что вследствие материальных затруднений Тургенев продает часть своих земель и недвижимого имения, Михаил Жикин через нового управляющего Кишинского начал переговоры о продаже арендованной его братом мельницы и земли. Ему удалось совершить эту покупку: «...и то, что право собственности на эту мельницу и на приданную вместе с ней землю при той же деревне Михаил Жикин приобрел лишь с 3-го сентября 1870 года <...> важно это потому, что до 3-го сентября 1870 года Жикины вообще пользовались и распоряжались мельницею не на правах собственности, а на арендованных правах...»<sup>27</sup>.

Не расплатившись за эту покупку, Михаил Жикин стал хлопотать о приобретении еще одного плодородного участка земли в окрестностях Кальны, но Тургенев продал эту землю каленским крестьянам- собственникам по акту от 22 мая 1874 года<sup>28</sup>.

Не смирившись с неудачей, Михаил Жикин решил завладеть этой землей незаконно. Следующей же весной он захватил принадлежавшие крестьянам острова, которые образовала река Снежедь своими рукавами. Он нанял работников из соседних деревень, окопал захваченную землю канавой, уничтожив дорогу на остров, устроил изгороди и крестьян на их землю не пускал.

Крестьяне возмутились: «...заспорили и одновременно возбудили против Жикина два уголовных преследования: по ст. 1603 Уложения Судебного Следователя и по ст. 170 № 29 УСТ. и Наказ, у Мирового Судьи за уничтожение дороги <...> после данной полиции подписки восстановить оную <...> крестьяне возбудили против него (Жикина — *прим, авт.*) дело по межевым законам, о возобновлении межевых признаков и об отграничении земельного владения крестьян в натуре (копия журнала Тульского губернского правления по губернской чертежной от 31 октября 1880 года)»<sup>29</sup>.

Управляющий соседними со Спасским и Кальной тульскими имениями брата писателя Н. С. Тургенева П. К. Маляревский в то время в письме к нему сообщал: «Вы знаете, что в Кальном все оставшееся за наделом Кишинский продал некоему Жикину; вот этот-то Жикин пририсовал на своем плане часть кре-



## Деревня, которой нет

стьянского надела, провел плетень и, где его еще не устроил, загоняет скот и берет с крестьян штрафы, на плотине мельницы поставил шлагбаум и берет за проезд...»<sup>30</sup>.

Каленские крестьяне, будучи не в силах самостоятельно справиться с Жикиным, обратились за помощью к И. С. Тургеневу. В деле это зафиксировано следующим образом: «2) Что по поводу завладения Жикиным земли в 1875 году крестьяне прежде всего обратились к своему бывшему помещику Ивану Сергеевичу Тургеневу за разъяснением и ограждением их прав на отнятую у них Жикиным землю...»<sup>31</sup>.

Тургенев не остался безучастным к крестьянской беде. М. А. Щепкин вспоминает: «В 1876 году Иван Сергеевич Тургенев приехал в Спасское в начале июня месяца <...>. Спустя два дня после моего приезда в Спасское, я был очевидцем следующего эпизода: сидели мы втроем за обедом: Иван Сергеевич, Дмитрий Иванович (землемер, занимавшийся размежеванием земель Тургенева — *прим., авт.*) и я; вдруг входит Захар, камердинер Тургенева, и говорит, что приехал мельник Жикин <...> за Жикиным Иван Сергеевич посылал ввиду того, что каленские мужики приходили к нему жаловаться, что Жикин их притесняет, не позволяет ездить по плотине, и его просят, как бывшего барина, за них заступиться.

Жикин был в полном смысле кулаке...> Кончили обед; Иван Сергеевич велел позвать Жикина. Тот вошел степенно и, поклонившись нам, поглаживая свою жиденькую бородку, подобострастно обратился к Ивану Сергеевичу: «Зачем изволили посылать?» Едва произнес он эту фразу, как Иван Сергеевич обрушился на него потоком таких грозных слов, что Жикин задрожал, как осиновый лист <...> — и сена- том-то он ему грозил, грозил, что доведет до сведения государя о его притеснениях; <...> Только Иван Сергеевич кончил, как Жикин повалился в ноги со словами: «Не погубите», — и зарыдал, как ребенок; Иван Сергеевич растерялся и стал его поднимать; Жикин поднялся с полу и дал слово, что притеснять больше не будет, и, шатаясь, вышел из столовой...»<sup>32</sup>.

Тургенев не поверил кулаку и, предварительно разыскав план своих земель, выехал в Кальну. На спорной земле он сличил свой и жикинский планы и окончательно выяснил, что Жикин пририсовал на плане четыре десятины крестьянской земли и выдавал ее за свою. На спорной земле между Тургеневым, который защищал интересы каленских крестьян, и Жикиным произошел инцидент, который очень подробно со слов Тургенева записал С. Н. Кривенко: «Представьте, какую штуку выкинул: жаловались мне несколько лет тому назад крестьяне, что он у них землю захватил. Я сказал им: захватил, так жалуйтесь суду. «Да жаловаться-то, — говорят, — нельзя; уж жаловались, да ничего не выходит, потому что по плану-то по его выходит. А на самом-то деле по нашему должно быть». Что, думаю, за чепуха такая? Послал в контору, велел принести план, поехал с ним на место и увидел, что все как следует, т. е. границы в натуре совпадают с планом. Очевидно, крестьяне не правы. Так и сказал им. А они между тем все свое твердят и каждый год мне повторяют одно и то же... Однако, представьте, что вышло: <...> нашли старый план имения, где обозначены соседние границы и земля, отведенная потом крестьянам. Стал я сличать этот план с новым и убедился, что они не сходятся. Велел запречь дрожки и поехал на место: оказалось, что межа действительно перенесена и что крестьяне правы <...> — Между тем, увидев, что я приехал опять с планом и что-то смотрю, пришли и мужики, целая огромная толпа, пришел и Житкин<sup>1</sup>, и какая было вышла неприятная история: увидев, что правда не на его, Житкина, стороне, они напустились на него и стали самым невозможным образом ругаться: он сначала было попробовал отругиваться, но потом видит дело плохо, видит, что негодование растет и становится единодушнее, видит, что его окружают. Был один момент, когда и мне показалось, что вот еще одно какое-нибудь слово, какая-нибудь капля и все набросятся на него и растерзают в клочки. Признаться, перетрусил я; попаду, думаю, в кашу, пожалуй, еще подстрекателем сделают: я ведь план разыскал и приехал с ним, я сказал, что он не прав, и т. д.

Но тут меня вдруг осенила мысль, которая дала делу совершенно неожиданный оборот. Вдруг я

---

<sup>1</sup> Следует читать Жикин.

протиснулся вперед и просто не своим голосом закричал на Житкина: «Я тебе, мерзавец, за это задам! В острог засажу, в каторгу сошлю <...> В кандалы закую!» Смотрю, все примолкли, возбуждение в толпе утихает, видят, что защита есть, что сам барин, а следовательно, и начальство за дело берутся. «Вот погоди, — говорят, — будет тебе на орехи, вражий сын, узнаешь кузькину мать!» А Житкин тем временем все пятился да пятился назад, дошел до дома, юркнул в него и запер дверь. Точно камень у меня с души свалился: слава богу, думаю, благополучно все кончилось; и за них ведь боялся: случись что-нибудь, отвечали бы, не пошутили бы»<sup>33</sup>.

Возмущенный наглостью и мошенничеством Жикина, Тургенев вернулся в Спасское «до того взбешенным, что Кривой Захар рассказал, что сроду не видел Ивана Сергеевича таким»<sup>34</sup>. Желая, чтобы дело каленских крестьян получило справедливое завершение, Тургенев принял к этому все возможные меры.

Жикин, узнав о намерении Тургенева, попытался его разжалобить, перехватив на пути в Москву на станции Чернь, и молил о пощаде. Мы имеем на этот счет свидетельство самого писателя, который в письме к своему управляющему Н. А. Щепкину из Петербурга 20 июля 1876 года писал об этом так: «...и завтра отправляюсь за границу — в Туле я видел г-на Григорьева — отдал ему планы (Жикин), а из Москвы написал ему письмо соложением подробного изложения дела для губернатора — будет что будет! <...> На Чернской станции Жикин, совершенно пьяный, опять лез ко мне в вагон с просьбой: не погубить!»<sup>35</sup>.

Случай на станции Чернь со слов Тургенева описан мемуаристами. Самому же В. Я. Григорьеву, своему знакомому, тульскому чиновнику при губернаторе, Тургенев двумя днями раньше написал: «Прочтите прилагаемое письмо, вложите его в конверт с именем губернатора и, попрося у него аудиенцию, вручите ему оное, а также и переданные мною два плана и еще бумагу, которую Жикин не подписал. Потом, когда Вы эти бумаги получите обратно, доставьте их Ник. Ал. Щепкину и в воздаяние за свою доброту и услужливость примите искреннее спасибо, во-первых, от мужиков деревни Кальна, а во-вторых, и от меня!»<sup>36</sup>.

Через некоторое время Иван Сергеевич покинул Россию...

По приезде в Буживаль Тургенев писал Н. А. Щепкину: «Вот уже девять дней, как я выехал из Спасского — и я все подумываю, что там происходит?.. Что произошло с Жикиным?»<sup>37</sup>.

Письмо писателя тульскому губернатору возымело действие. Об этом свидетельствуют материалы судебного дела: «Противозаконные действия Жикина, направленные против нарушения состояния владения крестьян дер. Кальны, обратили на себя внимание административного начальства; и вот. в 1876 году, по предписанию г. тульского губернатора от 2 августа за № 2640 на иск чернского уездного исправника, производилось о купцах Жикиных сначала полицейское дознание, а потом и предварительное следствие, через судебного следователя Тульского окружного суда по особо важным делам Демидовича»<sup>38</sup>.

В ходе следствия выяснились следующие обстоятельства: «Жикин, для оправдания себя, представил г. Тургеневу план своего владения, сочиненный неким землемером Соломиным еще в 1869 году, т. е. в то еще время, когда Жикин владельцем мельницы и земли при дер. Кальне не был, хотя план удостоверял владения уже Жикина. План этот, как называли его при следствии, был фальшивый, ибо на нем было показано всей земли во владении Жикина не 55 десятин 132 сажени, как он, в действительности, купил у г. Тургенева, а 58 десят. 2370 саж., в том числе показаны на нем и острова, оспариваемые крестьянами.

При дознании г. исправника, когда план был представлен Жикину, этот последний отказался от него и за свой не признал, в чем и дал исправнику собственноручную подписку, а между тем землемер Соломин, спрошенный судебным следователем, показал, что план тот был составлен им для Жикина по его просьбе и границы показаны с его-де слов»<sup>39</sup>.

Потерпев эту неудачу, Жикин не успокоился. Не желая расставаться с захваченной им землей, он стал искать новые способы завладения ею. Так, 20 декабря 1877 года появилась купчая на продажу мельницы и земли в деревне Кальна и даче Жерловой его жене Жикиной Федосье. В деле это зафиксировано

следующим образом: «...Жикин, отказавшись в 1876 году от плана <...>, тем самым отказался и от всяких прав на излишне показанную в нем землю и, за тем, в следующем 1877 году продал жене своей Федосье Жикиной уже не 58 дес. 2370 саж., как значится в этом плане, а 55 дес. 132 саж., согласно купчей от Тургенева»<sup>40</sup>.

Совершив эту сделку, он посчитал себя свободным от ответственности за незаконный захват земли и продолжал пользоваться ею. Но с этих пор все претензии крестьян были официально обращены к Федосье Жикиной.

Казалось бы, материалы следствия не оставляли сомнений в правдивости иска о земле каленских крестьян. Но официальное следствие затянулось, и лишь через пять лет по распоряжению тульского губернского правления в Кальну был командирован казенный землемер для снятия с крестьянской земли подлинного плана. «Из этого последнего плана оказывается, что в настоящее время у крестьян деревни Кальны находится в натуре земли не 321 десятина, а лишь 317, т. е. недостает четырех десятин, каковой недостаток, по заключению землемера и губернской чертежной (копия журнала от 31-го октября 1880 года), объясняется тем, что граница крестьянского надела, показанная на плане 1862 года, от земли, оставшейся за наделом крестьян в распоряжении г. Тургенева, проданной им впоследствии купчихе Жикиной, около плотины на реке Снежеди имеет значительную разницу против современного владения»<sup>41</sup>.

В том же 1880 году о происходивших на каленской земле событиях И. С. Тургенев рассказал молодым писателям-народникам, с которыми встречался в Петербурге. Участник встречи С. Н. Кривенко оставил нам свое свидетельство об этом: «Вот явление, — сказал Тургенев относительно кулачества, — с которым просто необходимо считаться и не оставлять его без внимания. Плодятся они, положительно, как грибы, и черт знает, что делают. Скоро не будет, кажется, деревни без кулака. Это какие-то разбойники. Я думаю написать рассказ об одном таком артисте, который так и назову: «Всемогущий Житкин». Это, видите ли, сосед бывших наших крестьян <...>. Представьте, какую штуку выкинул...»<sup>42</sup>. И далее Кривенко со слов Тургенева привел рассказ о том, что происходило на Снежеди.

Летом следующего 1881 года Тургенев просил заняться делом каленских крестьян своего знакомого, тульского вице-губернатора князя Л. Д. Урусова, гостившего у него в Спасском. Но, очевидно, Жикины оказались оперативнее Тургенева. Об этом говорят первые строки апелляционной жалобы: «Решение Тульского окружного суда от 27 ноября/1 декабря 1881 года, коим отказано обществу крестьян деревни Кальны в иске о признании за ними права собственности на четыре десятины луговой земли, находящейся в завладении у купчихи Жикиной, я признаю неправильным по следующим обстоятельствам...»<sup>43</sup>.

Убедившись, что использованные им способы защиты крестьян не принесли успеха, Тургенев решился на последнюю возможную меру: уже от собственного имени он пригласил для ведения дела одного из лучших адвокатов Тулы Н. П. Черноситова и взял на себя все расходы по его осуществлению.

Тщательно ознакомившись с обстоятельствами иска, взвесив все за и против, Черноситов убедился в бесспорной правоте крестьян и в апреле 1882 года подал в Московскую судебную палату гражданского департамента апелляционную жалобу. В ней было указано, что материалы по делу, представленные Тульскому окружному суду, свидетельствуют, что крестьяне в споре с Жикиным правы: «Земля, о которой идет настоящий спор, выкуплена крестьянами деревни Кальны у бывшего их помещика Ивана Сергеевича Тургенева в количестве 321 десятины. Право собственности на все это количество земли доказано по делу следующими документами: а) планом на крестьянские наделы общества деревни Кальны (подписанным поверенным владельца), на основании которого была составлена первоначальная уставная грамота, а потом и выкупной договор <...>. А что из этого количества земли участок (в четыре десятины) заливного луга, прилегающего к мельнице на реке Снежеди, находится ныне в завладении



На Снежеди AtSnezhed



ответчицы Жикиной, — обстоятельство это подтверждается другим планом современного крестьянского владения, снятом в 1880 году командированным по распоряжению Тульского губернского правления казенным землемером <...>. Таким образом, по делу являются бесспорно доказанными со стороны истца следующие обстоятельства: а) обществу крестьян деревни Кальны принадлежит право собственности на 321 дес. удобной пахотной земли при деревне Кальне, выкупленной им у г. Тургенева; б) в настоящее время у общества недостает до этого количества четырех десятин около плотины на реке Снежеди <...>. Суд отказал моему доверителю в иске на том основании, что им пропущена десятилетняя давность для осуществления своего права; причем давность эту суд исчисляет со времени владения землею Михаилом Петровичем Жикиным (мужем ответчицы), а время владения сего последнего основывает на показаниях пяти свидетелей со стороны ответчицы, утверждавших на суде, что Михаил Жикин владел спорной землей больше десятилетия»<sup>44</sup>.

Уличая Жикиных, пытавшихся доказать непрерывное десятилетнее владение спорной землей, Черносвитов указал, что свидетели Жикиной, все пять человек, в один голос говорят, что Михаил Жикин владел на правах собственности землей более десяти лет, а документы опровергают это. Свидетели не в состоянии были различить аренду Жикиным земли и после купчей, поэтому утверждали, что он очень давно владел землей. О том свидетельствуют следующие строки: «Большинство свидетелей отказались определить *хотя бы приблизительно пространство спорной земли и отозвались незнанием о таком наглядном и поныне существенном предмете*<sup>2</sup>, как, например, канава на спорной земле, вырытая Жикиным (показания Сысоева, Овсянникова и частию Засорина), тогда как и сама Жикина, и свидетели истца утверждают, что такая канава существует уже несколько лет.

Единственные два свидетеля, которые могли дать суду хотя по одному признаку, коими <...> выражалось владение Жикиной, — это Засорин и Карлов. Но на какие признаки владения они указывают? Засорин говорит, что «Жикин строил плотину на мельнице» (когда — неизвестно) *и вообще хозяйничал\**, а Карлов показал, что «Жикин рубил лозняк» <...>. Следовательно, показания этих свидетелей на такие признаки владения Жикина, которые осуществлялись им, как братом арендатора, доказывают, что этому предшествовало арендное право Жикина».

Указывая на то обстоятельство, что все свидетели Жикиной не понимают ясно того, о чем идет речь, так как или малограмотны, или вовсе неграмотны, Черносвитов далее пишет: «Независимо от сего (в приведенных) показаниях свидетелей бросается в глаза неопределенность, неясность, а главное — односторонность, указывающая как бы на заученную ими фразу. Почти на все вопросы свидетели отвечали незнанием, кроме вопроса о времени владения Жикина; здесь все свидетели дают ответ слово в слово. Так, например, ни один из свидетелей не сказал, что Жикин владел более девяти лет, или около 11— 12, или вообще известное число лет, хотя бы приблизительно, а все, как и один, говорят: более 10 лет! Даже и тот свидетель, по показанию которого Жикин купил землю только лет десять тому назад (т. е. не более десяти лет), и тот говорит, что Жикин владеет ею более десяти лет! (Показание Лукина).

Но и этого мало: в числе свидетелей Жикиной был, например, один (Сысоев), который сначала прямо заявил, что он жил у Жикина лет десять работником и знает, что Жикин владел оспариваемой крестьянами землею более десяти лет. При дальнейших же расспросах этого свидетеля оказалось, что он жил в работниках у Жикина только четыре года и что только в то время (когда это было, неизвестно) Жикин владел землею, а кто теперь ею владеет, свидетель не знает, потому что живет от Кальны за 25 верст.

Был и другой, не менее лучший свидетель Жикиной (Карлов), который, прежде чем ему был предъявлен на суде вопрос о предмете его свидетельства, начал сам свое показание такими словами: «Жикин владел более десяти лет»<sup>45</sup>.

---

2 В тексте протокола подчеркнуто.

Правдивыми, искренними оказались показания свидетелей, выступивших на стороне каленских крестьян по делу: «9). Как достоверность показания свидетелей Ланина и Стёпина о том, что до 1875 года спорною землею владели каленские крестьяне и что только с этого года началось самовольное завладение Жикина, — так равно вся несправедливость показания свидетелей ответчицы доказывается всего лучше фактами из уголовного производства, возбужденного в 1876 году против мужа ответчицы — Михаила Петрова Жикина...»<sup>46</sup>.

Далее Черносвитов пишет: «Обращаясь за тем к показаниям свидетелей со стороны истца, мы находим, что двое из них, Алексей Ланин и Левит чтении, показали, что островами, которые образовала река Снежедь, до 1875 года пользовались каленские крестьяне, что только с 1875 года, приблизительно около этого времени, стал пользоваться Жикин: прорыл канаву и каленских крестьян не пускает; что до 1875 года <...> крестьяне деревни Кальны сеяли на островах полосками хлеб и сажали картофель и что владение крестьяне прекратили только с того времени, как Жикин окопал спорную землю канавою; канава же, как показал и третий свидетель истца — Антон Захаров, была вырыта им, по найму Жикина, самое большее — лет восемь или девять тому назад»<sup>47</sup>.

Помимо усилий Черносвитова по доказательству правоты крестьян материалами дела, немаловажную роль в решении его сыграло то, что Тургенев решил выступить на суде в качестве свидетеля на стороне каленских крестьян. Об этом 30 марта 1882 года он писал из Парижа управляющему: «Спешу также известить вас, что я совершенно согласен на помещение меня в жикинском деле свидетелем в том, что он мне представил фальшивый план для подписания (который я представил в Тулу при моем объяснении) — и потом умолял меня на коленях о пощаде. Все это я могу подтвердить на суде»<sup>48</sup>.

Как свидетельствуют материалы дела, Тургенев не удовольствовался этим письмом и одновременно прислал Черносвитову для оглашения в судебном заседании засвидетельствованную официальными органами телеграмму примерно того же содержания. В деле это зафиксировано следующим образом: «По изложению обстоятельств этого дела членом палаты Д. Е. Охмабининым г. Черносвитов, повторив содержание апелляционной жалобы и представив телеграмму и уставную грамоту в доказательство того, что Иван Сергеевич Тургенев не отказывается от показания в качестве свидетеля по настоящему делу и что спорная земля составляет собственность его доверителей, просил судебную палату удовлетворить его ходатайство о дознании через оковых людей <...> допросить в качестве свидетеля Ивана Сергеевича Тургенева и о выдаче свидетельства на пересылку из окружного суда уголовного дела с Жики-ным»<sup>49</sup>.

К сожалению, телеграммы в деле не оказалось. Но сам факт того, что телеграмма существовала и была представлена адвокатом суду, ясен. При возможном обнаружении ее тургенеvedы имели бы возможность дополнить Полное собрание писем писателя еще одним его текстом.

28 сентября 1882 года Московская судебная палата по второму гражданскому департаменту в публичном заседании, происходившем под председательством председателя департамента Е. Е. Люминарского, постановила: «1) Отменить решение окружного суда, признать за обществом крестьян деревни Кальны Чернского уезда право собственности на участок луговой земли в количестве четырех десятин или сколько таковой окажется по правую сторону плотины, идя по ней от деревни Кальны до р. Снежеди, т. е. в тех границах, которые означены на плане 1862 года. 2) Изъять означенный участок земли из владения Жикиной и передать во владение общества крестьян дер. Кальны. Взыскание судебных издержек обратить на ответчицу в пользу истцов. Копию сего решения препроводить при указе в Тульский окружной суд...»<sup>50</sup>.

Об исходе дела И. С. Тургенев узнал из письма к нему Л. Д. Урусова из Тулы. Но к этому времени он настолько разуверился в порядочности чиновничьего мира, что, несмотря на положительный исход дела, все еще сомневался: «Известите меня, точно ли это совершилось — и какой окончательный резуль-

тат и для плута Жикина и для крестьян? — Мне все еще не верится, что эту бестию наконец победили», — пишет он управляющему 15 октября 1882 года<sup>51</sup>.

Опасения Тургенева безосновательными не были. Зная хорошо, на что способны Жикины, он предвидел принятие с их стороны контрмер на решение суда. И не ошибся. Главную причину своих неудач Жикины видели в заступничестве за крестьян Тургенева. До России стали доходить слухи о тяжелой болезни писателя, и Жикины снова воспрянули духом. Не смирившись с поражением, понимая, что в случае кончины Ивана Сергеевича каленские крестьяне действительно могут остаться без защиты, они подобрали доводы, чтобы обжаловать решение Московской судебной палаты в высшей судебной инстанции — правительствующем сенате, где рассмотрение их жалобы надолго затянулось.

Летом 1883 года внимание всего прогрессивного мира было приковано к имени умирающего Тургенева. Вскоре его не стало. О нем много писали, говорили... В связи с мировой славой писателя и печальными событиями, связанными с его кончиной, правительствующий сенат, вероятно, посчитал неуместным и опасным дальнейшую проволочку по жикинскому делу, так как тяжба, в которой до сих пор принимал непосредственное участие И. С. Тургенев, успела принять слишком широкую огласку.

Все это, а вместе с тем бесспорно доказанная правота крестьянского иска заставили правительствующий сенат вынести 15 сентября 1884 года окончательное и справедливое решение по делу: «Принимая во внимание: 1) что объяснение просительницы о нарушении палатою 366 а. уст. гр. суд <...> не заслуживает уважения <...>, 2) что объяснение просительницы о нарушении палатою 694 ст. зак. гражд. тоже не заслуживает уважения <...>. Наконец, объяснение просительницы о нарушении 756 и 339 ст. уст. гр. суд нерассмотрением представленных ею документов <...> опровергается определением палаты <...>. А потому правительствующий сенат определяет: жалобу поверенного жены чернского купца Жикиной, за силою 783 ст. уст. гр., оставить без последствий, возложив на нее издержки кассационного производства, о чем Московской судебной палате послать указ»<sup>52</sup>.

21 сентября 1884 года Московская судебная палата в публичном заседании «слушала указ гражданского кассационного департамента правительствующего сената за № 6148 об оставлении без последствий жалобы поверенного жены купца Федосьи Никитичной Жикиной...»<sup>53</sup>.

1986—1988. Москва—Орел—Спасское-Лутовиново

## Настенька

Минули далекие тургеневские времена. Давно ушли из жизни и те крестьяне, за землю которых так долго боролся, судился с кулаком Иван Сергеевич Тургенев. Ему не довелось порадоваться за каленских и голоплекских мужиков. И оттого, видимо, в письмах писателя 70—80-х годов XIX века — лишь тревога и боль за их судьбу. И хотя судебное дело более ста лет пролежало в архиве необнаруженным, все на этой земле знают, что крестьяне каленского сельского общества с помощью Тургенева победили кулака. А последний «с горя спился и где-то сгинул».

Теперь в деревне Кальне живут крестьяне, часть из которых являются колхозниками чернского колхоза «Родина». По списку их — 14 человек. Более половины — потомки тургеневских крестьян. Сухоруков Виктор Яковлевич — тракторист. Его жена Антонина Михайловна — доярка, мастер машинного доения. Их дочь Татьяна — бухгалтер Новикова Екатерина Афанасьевна — полевод. Новиков Владимир — тракторист. Савин Николай Константинович и Карлова Валентина — скотники. Из неработающих в колхозе — пенсионеры и инвалиды. Еще есть на этой земле дачники... Последние — как уроженцы этих мест, так и «чужие», то есть не имевшие раньше отношения к этой земле.

*Деревня, которой нет*



*Однодворец Василий Егорович Овсянников*  
*Small-holder Vasily Egorovich Ovsiannikov*



*Максим Максимович Воловский, 1915*  
*Maksim Maksimovich Volovskiy, 1915*

*Анастасия Максимовна Воловская с учениками, 1947*  
*Anastasia Maksimovna Yolovskaya with her pupils, 1947*





Из пенсионеров меня, естественно, в первую очередь заинтересовали самые старшие уроженцы Кальны и среди них — местные учителя, которые по-иному, нежели крестьяне, более трезво и глубоко воспринимают и переживают все, что связано с этой землей. Да и людей в округе они знают хорошо с самого рождения и почти всех, потому что те — их бывшие ученики.

В Кальне живут две старые сельские учительницы: Прасковья Петровна Цуканова и Анастасия Максимовна Воловская, обе с фамилиями тургеневских крестьян. Когда мы решили встретиться с ними и побеседовать, Прасковьи Петровны, к сожалению, не оказалось дома. А вот с Анастасией Максимовной мы познакомились. Мы — это я; уже известный читателю по главе «Путешествие в Шаламово» «плотный среднего роста военный с майорскими погонами» Виталий Владимирович Мельников и его пятнадцатилетний сын Володя.

Виталий Мельников (я называю его обычно по имени, так как по возрасту он почти годится мне в сыновья) на сей раз был без формы и одет, как и сынишка его, немного по-походному и очень современно: в спортивной майке с короткими рукавами и закатанных до колен стареньких джинсах. На ногах его были кроссовки. За плечами — огромный, туго набитый рюкзак, в котором есть все. вплоть до ведра и котелка. А на шее висел нужный в походах фотоаппарат.

Мельников — мой добровольный на протяжении многих последних лет помощник, и я ежегодно с нетерпением жду его приезда в отпуск... А уехав к месту службы, он обычно очень быстро присылает заказную бандероль с фотографиями и негативами.

— Вот если когда-нибудь нам посчастливится увидеть проводимые теперь исследования опубликованными, под ними непременно будет стоять подпись: «Фото В. В. Мельникова», — шучу я, обращаясь к нему.

— Согласен на публикацию фотографий без имени фотографа, лишь бы зафиксировать в памяти людей увиденное нами сегодня, — отвечает он. — Вы только посмотрите, что делается... В прошлом году вот на этом месте стоял дом и цвел сад, а теперь здесь — распаханное поле. Скоро и родины своей не узнаешь. Мой сын говорит мне: «Что ты все показываешь мне пустые места? И речку Снежедь все нахваливаешь... А в ней и покупаться-то негде, одна грязь... Вон, навоз с фермы течет!»

Проходя по улице Кальны, останавливаемся почти у каждого дома, беседуем с их обитателями. Теперь полдень, и в деревне только старики и дети. Старики — в основном местные уроженцы. А дети, как свидетельствует их одежда и то, с какой смелостью они обращаются с посторонними, явно не живут здесь постоянно.

Дома в Кальне почти сплошь кирпичные, с деревянными сенцами. Перед каждым домом — палисадник, а через дорогу — сарайчик с нахлобученной, как на Украине в деревнях, островерхой крышей, крытой, конечно, не соломой. Возле одного из таких жилищ, в палисаднике, мы увидели пожилую женщину. Подошли, поздоровались, спросили:

— Вы уроженка этих мест?

— Да-а, Зайцевы мы...

— А знаете, что писатель Тургенев был хорошо знаком с каленскими крестьянами, и среди них были Зайцевы?

— Да... знаем, из газеты...

— Бабушка, это та самая тетя! — кричит стоящая чуть поодаль от нас девчушка. Мы давно приметили ее, так как со своей подружкой она ненавязчиво, как-то со стороны, сопровождала нас от самого начала пути по деревне.

— А помните, где в Кальне на реке раньше мельница стояла? — снова обращаемся к женщине.

— Вон девчонки вам покажут... Их учителя водили, — отвечает, показывая на внучку.

Обе девочки с готовностью, теперь уже на законном основании, в качестве проводников, зашагали рядом с нами. Спускаясь по улице к реке, не миновали дома учительницы Анастасии Максимовны Волов-



*Анастасия Максимовна Воловская с внучками, 1989 Anastasiya Maksimovna Volovskaya with her granddaughters*

ской. Она оказалась довольно пожилой, со светлыми, с сединой, густыми волосами, симпатичным приветливым взглядом светлых глаз. И на костылях. Одета в свежее пестренькое платье, довольно модное в наши дни. Познакомились. Она пригласила нас в дом, усадила за стол, заставила пообедать вместе с ней, хотя время обеденное еще не наступило. Но, как видно было по всему, отказываться от гостеприимства оказалось бесполезно, да и поговорить за столом было удобнее.

— Родилась я в Кальне в 1913 году, — говорила она, отвечая на первый вопрос о родстве ее с этой деревней. — Мать моя Наталья Егоровна родилась в 1883 году в Голоплеках, в семье однодворца Овсянникова, в восемнадцатилетнем возрасте она была просватана в Кальну за крестьянина Максима Максимовича Воловского. Это мой отец. Так и прожила в этой деревне всю жизнь... Сама я училась сначала в Кальне, в начальной школе. Но в детстве со мною случилось несчастье: я упала и ушибла колено. Поэтому от тех лет у меня остались не только приятные воспоминания, связанные в основном со школой, но и впечатление постоянной боли: меня родители часто увозили из деревни, лечили в разных местах... Но бесполезно. Всю жизнь передвигаться без посторонней помощи мне было трудно. Ходила сначала с палочкой. А на старости лет и вовсе на костылях... В 4—5 классах я училась в Спасском-Лутовинове, а затем в Черни. Помню, я была уже в седьмом классе, когда в Черни открылось педучилище и к нам в школу пришли его преподаватели с предложением нам, семиклассникам, не окончив учебного года в школе, перейти на первый курс училища на отделение «деткомдвижение». Мы почти все согласились, и в 1934 году состоялся наш выпуск. Мы направлялись в сельские школы в качестве учителей начальных классов. Первые шесть лет я работала в школе в деревне Жерлово, это на Снежеди ниже Кальны, а в

1940 году меня перевели в Ветровскую школу, где пришлось в течение нескольких лет вести русский язык и литературу в 6—7-х классах. Последние десятилетия перед пенсией работала снова с начальными классами. Из Ветровской школы и на пенсию ушла...

Вся жизнь Кальны и окрестных деревень практически прошла на моих глазах. Помню, сколько страстей разыгралось в те годы, когда создавались в округе колхозы. В 1931 году я училась уже в Черни, и родители туда, в Чернь, сообщали мне обо всем происходящем. Говорили, даже писали, что некоторые соседи уже записались в колхоз, а все остальные присматриваются, что будет дальше, выгодно или нет... Помню, мы ждали этих известий и с нетерпением поджидали каждую неделю своих, каленских соседей, которые привозили нам на неделю продукты: картошку, муку, сало... Первым председателем колхоза в нашей деревне, а колхоз так и назывался «Кальна» и состоял из одной нашей деревни, был Епищев Осип, а отчества теперь не помню... Его жена еще живет в Кальне, в своем доме... Ну вот, когда каленцы поняли, что затеянное дело с колхозами стоящее, они все вдруг стали вступать в колхоз. До укрупнения он был одним из лучших. Обычным делом показался труд сообща, в одном коллективе; никогда почти не было ссор, споров, вражды, зависти...

Произнесла Анастасия Максимовна последнюю фразу, а я подумала о том, что слова ее о происходивших на этой земле событиях 30-х годов не случайны. Если вспомнить разыгравшуюся в середине прошлого столетия в Кальне драму в связи с судебным процессом каленских рествян по иску к кулаку Жикину о земле и о том, что землю уже тогда каленские крестьяне обрабатывали сообща, по «числу душ 104», то становится более понятной психология каленских крестьян и в годы коллективизации: их отличали приверженность к родной земле, чувство коллективизма и взаимотерпимость, дружелюбие и открытость в отношениях друг к другу. А главным, конечно же, была та, вышедшая из этих отношений преданность земле, результатом которой и стала жилая деревня Кальна, что так редко сегодня, когда опустели и исчезли с лица земли в округе многие существовавшие здесь издавна исконные русские поселения.

А те из потомков каленских крестьян, которых теперь в родной деревне нет, недалеко и уехали. Чтобы убедиться в этом, ходить за тысячи верст не надо: только на знакомой нам уже МТФ, что в Голоплеках, из восьми доярок, мастеров машинного доения, более половины носят фамилии каленских тургеневских крестьян. Сестры Антонина Исаева и Людмила Горохова до замужества имели родовую фамилию Воловские и жили в Кальне. Девичья фамилия доярки Валентины Ивановны Емелиной — Терехова. Борзенкова Алевтина Васильевна в замужестве Цуканова. Ее муж Цуканов Николай Николаевич, мастер по ремонту и эксплуатации электроприборов, также трудится на этой ферме. Ну, а живут они «на поселке», на центральной усадьбе колхоза в коттеджах с городскими удобствами.

Отсюда, с холма, Кальна видна, как на ладони, до последнего домика. Здесь же, на центральной усадьбе колхоза «Родина», как зовут ее среди колхозников, живут и крестьяне, имена и фамилии которых в связи с именем Ивана Сергеевича Тургенева встречаются в справках, уставных грамотах, судебных делах и других, теперь уже архивных материалах тех далеких времен, когда сюда, в Кальну, приходил писатель. Здесь жили его будущие герои, те самые мужики, черты которых и по сей день проявляются в поступках, поведении и характере нового поколения: Карловых, Зайцевых, Воловских, Ланиных, Овсянниковых, Исаевых, Гороховых, Назаровых, Ларцевых, Романовых, Сухоруковых, Лукиных, Новиковых, Цукановых, Савиных...

Во все время беседы с Анастасией Максимовной от нее не отходила девочка лет семи, ее внучка из города Щекино Тульской области, приехавшая в Кальну на лето. Когда я стала рассказывать о визите к бабе Груне и ее песнях, Анастасия Максимовна вспомнила, что в этих краях действительно какие-то песни и частушки из ее репертуара раньше пели.

— Вот, например, — говорила она, — сразу после войны везде слышалось:

В колхозе я живу,  
Работаю здорово:  
Я и лошадь, я и бык,  
Я и баба, и мужик!...

— А теперь никто ничего не поет, — заключает она, помолчав.  
— Нет, а я знаю! — кричит девочка. — Меня Настенька научила!  
— А кто это Настенька? — интересуемся мы.  
— Да это она меня так называет, — с улыбкой, любовно глядя на девочку, говорит Воловская. — Спой, Катенька, спой!

И Катя звонко поет «Настенькины» частушки. Конечно же, они далеки от задорных народных песен бабы Груни, более корректны, как и должно быть... Ведь «Настенька» — сельская учительница. Но кто знает, возможно, с ее частушек и запоем Катенька, которой очень нравится деревенская жизнь:

Две старушки без зубов  
Толковали про любовь:  
Мы с тобою влюблены:  
Ты в кисель, а я — в блины...  
  
Мне не надо пудры,  
Мне не надо краски,  
Только были б у меня  
Веселые глазки!

Уходя из этого приветливого дома, мы попросили Анастасию Максимовну показать нам место каленской мельницы. Она охотно согласилась, и мы большой компанией направились к Снежеди.

По дороге Анастасия Максимовна рассказывала, что живет она хорошо, что родные ее не бросают, заботятся, как могут: «Я ведь одинокая, детей у меня нет... Но у меня очень заботливые родные. Приедут, привезут всего, перестирывают... Этой зимой случился сердечный приступ, так они меня увезли в больницу, все по очереди дежурили, пока я не поправилась, а затем настояли, чтобы я переехала в Щекино. Но там я выдержала всего два месяца: домой хочу — и все! Приехала сюда, холода еще стояли. Так соседи и дров принесут, и печку истопят, и накормят... Особенно заботится обо мне Прасковья Петровна Цуканова. Жаль, что вы ее не застали, она многое рассказала бы...».

Последний дом Кальны подходит почти к самой воде. А затем деревня уходит вправо по берегу.

— Вот здесь стояла мельница, — показывает Воловская. — Здесь еще и сваи деревянные совсем недавно были, теперь их не видно что-то... Вот тут, выше, река заворачивает, волна бьет в берег. Поэтому здесь место для водяной мельницы удобное. Еще после войны, помнится, она работала...

Мы просим Анастасию Максимовну сфотографироваться на фоне реки. Она соглашается, шутит: «Давайте и девочек сюда... рядом, они ведь тоже... потомки тургеневских крестьян».

Передо мной эта фотография. Снимок сделан в июле 1986 года. На фоне реки, которая десятью километрами выше омывает Бежин луг, стоит пожилая женщина на костылях. Рядом с ней — две девочки...

Два года я не была в Кальне, не встречалась с Анастасией Максимовной. А на днях, проводывая бабу Груню, на обратном пути в Голоплеки зашла к ней. Старая учительница по-прежнему живет в своей родной деревне. В домике ее тишина, порядок, летом никогда не бывает жарко. В последнее наше свидание Анастасия Максимовна показывает мне свои старые учительские фотографии и, предлагая взять одну из них на память, говорит: «Я в последнее время фотографии раздариваю, сама не пойму почему... Возьмите и вы...» Видя мой изумленно-благодарный взгляд, добавляет: «Вот эту... наверное». И она протягивает мне старенькую фотографию, на которой она, совсем еще молодая, красивая, в темном жакете с белым воротничком, снята в окружении своих десятилетних питомцев. Это ее дорогие Пети, Алеши, Вани, Васи...

Приходилось ли вам когда-либо видеть, как старенькая учительница рассматривает школьные фотографии сорокалетней давности?



— Вот этот мальчик, третий слева в первом ряду — Коля Емелин. А вот этот, вверху, справа, крайний — Хлопенков Толя. Оба трактористами работают в нашем колхозе... Еще... главного бухгалтера колхозного знаете? Пшенишников Алексея Ивановича? Так вот он — тоже мой ученик!

Старенькая учительница перебирает в руках и подолгу рассматривает школьные фотографии своей далекой юности... Поверьте мне: это не поддается описанию. Несомненно одно: сегодня весь день Анастасия Максимовна Воловская будет со своими дорогими, теперь давно уже взрослыми детьми, в той далекой теперь и такой духовно богатой жизни на родной земле. В своей прекрасной любимой школе, которой сегодня как и многого другого на этой земле, уже нет...

### **В селцо Ветрово**

(к реальным истокам комедии И. С. Тургенева «Нахлебник»)

Богатого каленского мельника Михайлу Петрова Жикина разорил другой мельник, живший выше по реке Снежеди, Анисим Варфоломеевич Чадаев. Как ни лукав и смекалист был Жикин, а сосед оказался, не в пример ему, и хитрее, и оборотистее. Задумал он большое дело: все мельницы на Снежеди, не считаясь со средствами, взять себе под начало. Часть их ему удалось купить у разорившихся хозяев. А состоятельных владельцев, у которых были мельницы, уговаривал сдать ему в аренду на выгодных условиях.

Целил Чадаев верно: не жилец мельник-единоличник на большой реке. Для ведения дела с пользой необходимо либо контролировать всю реку одному хозяину, либо вовсе отказаться от мельничного дела.

К преклонным годам Анисиму Варфоломеевичу Чадаеву удалось почти полностью осуществить свой замысел: скупить почти все мельницы на Снежеди. Дружнее пошла работа. Но в Кальне прочно сидел мельник Жикин и уступить Чадаеву не желал. Тогда Анисим Варфоломеевич решил пойти на крайность, хотя было это в ущерб не только его большому делу, но и репутации честного хозяина: задумал он неправдой разорить Жикина. И началась на реке кутерьма: нет-нет да и подтопит Чадаев Жикина, когда тот хода воды не ожидает. То плотину ему подпортит, то вдруг в самый разгар работ перекроет реку в Ветрове и совсем воды не даст.

Глядя на все это, окрестные крестьяне, много лет бывшие постоянными помольцами Жикина, все чаще стали к Чадаеву проситься. И у Жикина совсем дело встало. А в 1884 году стало известно, что судебное дело с каленскими крестьянами он проиграл. Девять лет судился, сколько добра спустил на подкупы чиновников, до самого сената дошел, а все впустую...

И запил с горя Жикин. А запив, вскоре, как водится, и разорился. И досталась жикинская мельница в Кальне обидчику. Так стал Анисим Варфоломеевич Чадаев единоуправным хозяином всех мельниц на Снежеди. Купцом начали звать его. Порядок он завел строгий: при нем все села и деревни, лежащие по обеим сторонам реки, знали наперед свое рабочее расписание. А когда намечались изменения, Чадаев посылал конного крестьянина со строгим предупреждением оповестить о них округу. Бывало, торопится, скачет нарочный по берегу реки с верховьев донизу, не передохнет за день, а предупредит по деревням на всех мельницах: мужики, мол, съехались, хозяин велит помол готовить, завтра с утра начнем, будьте начеку: вот-вот сверху побежит поток. Не зевай тогда, береги плотины, открывай заставки, работай!

### ***В селцо Ветрово***

На другой же день рано поутру по всей реке дружно закрутятся, зашумят мельничные колеса-рабо-тяги, натужно заскрипят крепкие, тяжелые каменные жернова: ни за что теперь не остановить такую мощную машину!

Разбогател от своего обширного хозяйства Анисим Варфоломеевич Чадаев. Первым человеком прослыл на десятки верст окрест. Во всех селах по реке мельников верных завел, сам обстроился. В Ветрове в самом центре села возвел громадные, в два этажа, каменные хоромы. Окружил свою усадьбу многочисленными конюшнями, амбарами, складами, погребами. Потихоньку стал он присматривать и соседские земли: как почует, что беда пришла к соседу, тут как тут Чадаев: вроде и не собирается хозяин торговать землей, а как устоять, когда покупатель сам идет к тебе да еще дает хорошие деньги!

Поговаривали, будто в Ветрове церковь на широкую ногу собирался строить Чадаев.

Из Кальны в Ветрово полчаса ходьбы. Можно подняться вверх по Снежеди левым берегом, не переходя ее. Но лучше и удобнее всего перейти речку по деревянным кладям и подняться к центральной усадьбе колхоза на холм, застроенный кирпичными коттеджами. По его склону берегом реки и идет проселочная дорожка до самого Ветрова.

С вершины холма открывается живописная панорама окрестностей реки. При взгляде вдаль невольно вспоминаются бессмертные тургеневские строки, как всегда точные и образные:

«Вы взобрались на гору <...>. Какой вид! Река вьется верст на десять, тускло синяя сквозь туман; за ней водянисто-зеленые луга; за лугами пологие холмы; <...> сквозь влажный блеск, разлитый в воздухе, ясно выступает даль <...>. Как вольно дышит грудь, как бодро движутся члены, как крепнет весь человек, охваченный свежим дыханием весны!...»<sup>1</sup>.

Отправляясь из Спасского-Лутовинова на охоту без определенного заранее маршрута, Тургенев, побродив по окрестным полям и лесам, частенько невольно оказывался на берегу Снежеди. Тянуло к воде, к заливным лугам реки, казавшейся ему необыкновенно прекрасной. Побродив по ее окрестностям, писатель заходил в богатые села и бедные деревеньки, где каждый из обитателей — и зажиточный хозяин, и сельский бедняк — были его знакомцами.

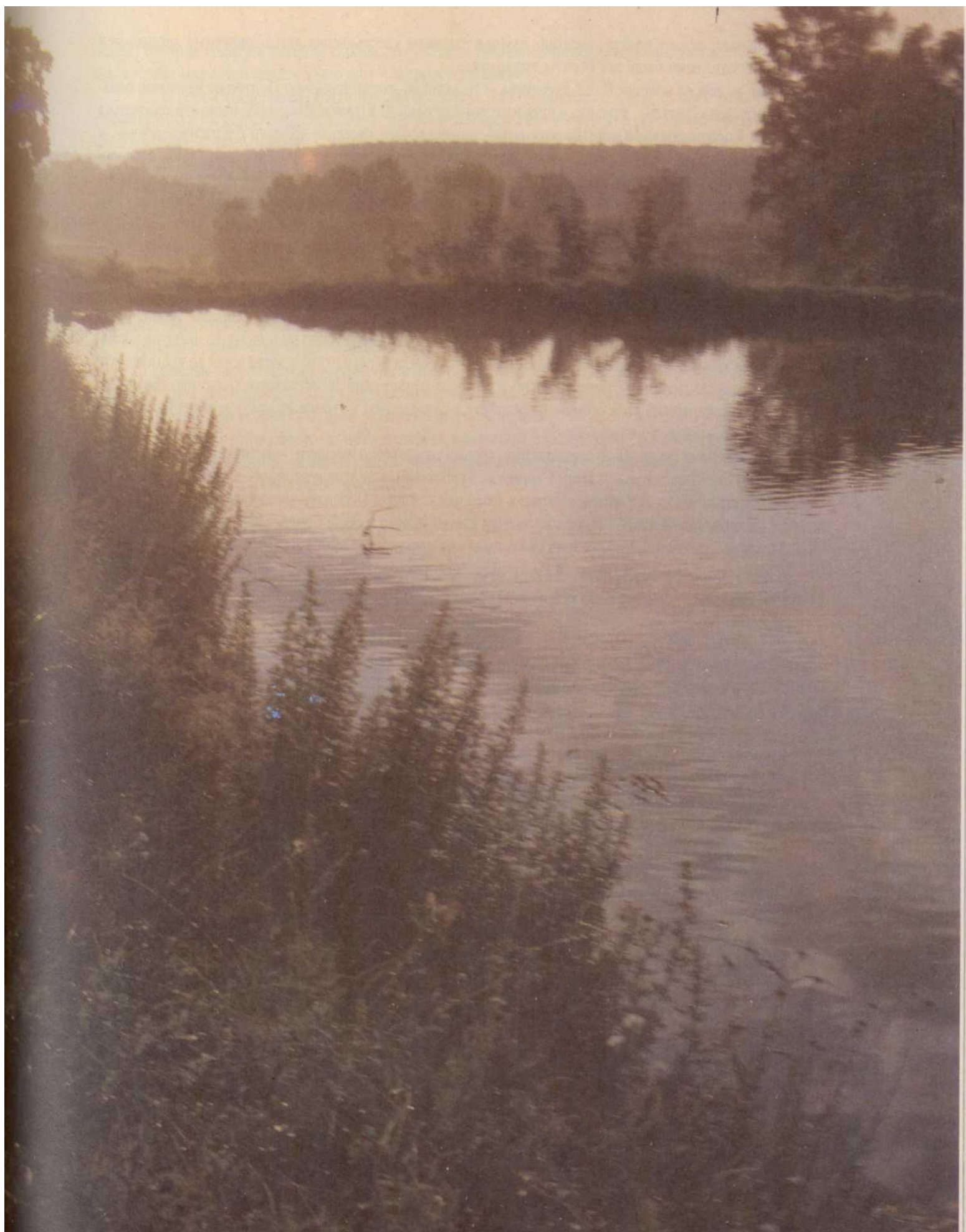
Окрестные крестьяне, хорошо знавшие писателя, не боялись его и без стеснения, просто и открыто поверяли ему свои невзгоды, спрашивали советов, просили помощи. Писатель был неприхотлив: зачастую ночевал на сеновалах, ел простую крестьянскую пищу, был необыкновенно деликатен. Его появление в деревнях на Снежеди никогда не было неожиданным для их обитателей и принималось как должное. Он никого не стеснял, внимательно слушал и рассказы деревенских ребятишек в ночном, и пленительное, глубоко волнующее душу русского человека пение местных крестьян.

Под впечатлением этих встреч он писал обширные, художественно совершенные письма-дневники своим друзьям и близким. А позднее из-под его пера появлялись вдохновенные рассказы, посвященные этим поэтическим уголкам России и их бесхитростным обитателям.

Только начертив на бумаге причудливо-извилистую линию речки Снежеди и обозначив по обеим берегам ее названия сел и деревень, описанных И. С. Тургеневым, мы можем прочувствовать, что его удивительные повести, рассказы и сцены из народного быта — это драгоценные жемчужины бесценного ожерелья, скрепленные голубой нитью речки, ласково называемой Тургеневым Снежинкой.

Если по следам писателя пройти Снежедь сверху до ее низовьев, то можно, пожалуй, начать с селца Покровского, в котором когда-то жила с семьей младшая, единственная и горячо любимая братом сестра Льва Николаевича Толстого — Мария Николаевна. Гостем ее с середины пятидесятих годов прошлого столетия не раз бывал Тургенев. Он придал ее черты образу Веры Ельцовой, главной героини повести «Фауст».

Бедная чернская деревенька Колотовка — место действия рассказа «Певцы», а на Бежином лугу



## *Деревня, которой нет*

однажды ночью, лежа у костра, писатель слушал рассказы крестьянских детей, овсянные легендами и преданиями, которыми были так богаты эти места.

Один из героев повести И. С. Тургенева «Отчаянный» носит фамилию Полтев по названию большого некогда села Полтево, лежащего чуть в стороне от реки. В Юдиных Выселках, ныне эта деревенька называется Костомаровым-Юдиным, жил герой тургеневского рассказа «Касьян с Красивой Мечи», в котором подробно описываются похороны Мартына-плотника, крестьянина из деревни Рябая, расположенной на левом берегу Снежеди, чуть выше сельца Ветрово. Васильевское упоминается им и в романе «Дворянское гнездо», и в рассказе «Однودворец Овсяников». Деревня Жерлово упоминается в сцене «Разговор на большой дороге». Она раскинулась по обеим берегам Снежеди ниже Кальны. В Голоплеках или, возможно, в сельце Овсяниково поселил И. С. Тургенев своего героя Луку Петровича Овсяникова. В рассказах писателя говорится и о селе Троицком, и о Красных холмах, о Парахинских кустах, Синдеевской роще и о многих других местах на Снежеди и в окрестностях ее, прославленных Тургеневым.

Вот только деревню Кальну с ее обитателями Иван Сергеевич не успел описать: неизлечимая тяжелая болезнь и смерть писателя помешали этому. И деревеньку Русино он почему-то нигде не упомянул, хотя она лежит на пути из Кальны в Ветрово, на правом берегу реки, и жили в ней во времена Тургенева, владели ею «капитан Гаврила Ильин» и его брат коллежский регистратор «Александр Ильин сын Беленьков», назначенный опекуном их племянника и совладельца «Чернского уезда деревни Русиновой» — «Михайлы Михайлова Беленькова»<sup>2</sup>.

С небогатыми русинскими помещиками, своими соседями по имениям, участниками обороны Севастополя братьями Беленковыми Иван Сергеевич Тургенев был не только коротко знаком, но и дружен. Он неоднократно принимал живое участие в их судьбах. Так, в 1855 году через своего друга П. В. Анненкова он хлопотал об утверждении их в правах на дворянство в связи с представлением к офицерскому чину. Позднее Тургенев заботился и об их малолетнем племяннике Мише Беленкове.

Сельцо же Ветрово на Снежеди писатель решил увековечить в своей комедии «Нахлебник», подарив его своему герою, обедневшему дворянину Василию Семеновичу Кузовкину...

Действие комедии «Нахлебник» разворачивается в одном из богатых помещичьих имений средней полосы России. Хозяин имения — чуждый земле крепостник-помещик, каких тогда много было в этих местах.

«Вообразите себе, — говорит дворецкий помещиков Елецких Трембинский, — например, спрашиваю: музыканты имеются? Вы понимаете, надо господ как следует встретить. Говорят мне: имеются. Ну, говорю, подайте их сюда. Что же вы думаете? Все они, музыканты-то, в разных должностях состоят. Кто огородником, кто сапожником; контрабас за волами ходит. На что это похоже? Инструменты тоже в беспорядке. Насилу кое-как сладил».

Метко обрисована хорошо знакомая Тургеневу с детства по Спасскому-Лутовинову картина встречи господ, приезжающих из столицы на лето в деревню с вечной в таких случаях суматохой, беготней дворовых девушек, окриками дворецкого и управляющего, музыкой доморощенного оркестра, играющего вразнобой, предложениями хлеба-соли.

И. С. Тургенев, назвав свое произведение комедией, стремился, по-видимому, усыпить бдительность цензуры. Но последняя все же заметила в нем запретную критику барского произвола.

«Увы и трижды увy, Иван Сергеевич! — писал Тургеневу редактор и издатель журнала «Отечественные записки» Андрей Александрович Краевский 11 марта 1849 года, узнав о решении Санкт-Петербургского цензурного комитета. — «Нахлебник» не прошел сквозь утесы и завяз в них со всеми потрохами; ни одной строчки не уцелело; и это решение не одного, не двух голосов, а целого синедрiona. Я спрашивал, почему же и за что: мне сказали <...> по всей комедии проходит *что-то* нехорошее. Пошел я



домой, понутив голову и глубоко скорбя, что «Отечественные записки» лишились такой славной вещицы, которая мне понравилась более всех «Записок охотника»<sup>3</sup>.

Из текста «Нахлебника» были изъяты все места, где говорилось о связи ее персонажей с крепостным бытом и государственной службой. Например, упоминание о числе душ, которыми владеет тот или иной помещик, о чинах и званиях персонажей: «коллежский советник», «голосом начальника отделения», «Вы, барин, человек знатный», «Корины — фамилия ведь тоже старинная, столбовая», а также прямые и косвенные свидетельства о «крещеной собственности», например «мужики, словно куропатки, бегут, бегут», «с деревни бестягольных нагнали», «свежая девка», «сильно заезженный и севший на ноги дворовый»<sup>4</sup>.

Лишь спустя тридцать лет после написания пьесы в Москве состоялась премьера «Нахлебника» в бенефисе знаменитого, когда-то бывшего крепостным актера Михаила Семеновича Щепкина, которому не случайно она была посвящена. Долгие годы именно Щепкин боролся за возможность сыграть в этой комедии главную роль — обедневшего дворянина Кузовкина.

Снятая с репертуара в том же 1862 году, пьеса вновь вернулась на сцену в 1889-м.

В комедии «Нахлебник» Тургенев беспощадно, в который уже раз в своем творчестве, рисует отношения богатых помещиков-дворян и мелкопоместных бедняков, над которыми богачи попросту потешаются. Комедию «Нахлебник» скорее можно назвать трагедией, так как попирается их человеческое достоинство. В качестве одного из доказательств этого писатель приводит диалог богатого помещика Тропачева с разорившимся, не защищенным жизнью мелкопоместным дворянином Кузовкиным:

«— А вот вы спойте-ка нам песенку. Ну!

— Не могу-с.

— Ну, в таком случае, знаете что? Видите вы этот бокал шампанского? Я вам его за галстук вылью.

— (с волнением) Вы этого не сделаете-с. Я этого не заслужил-с. Со мной еще никто... Помилуй- тес-с... Это... стыдно-с... За что вы так со мною поступаете? Да я и сам все-таки дворянин — извольте сообразить...».

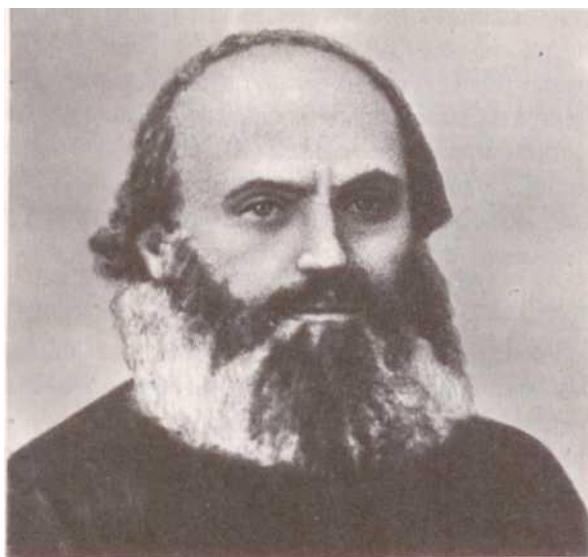
Пьеса во многом автобиографична. Упоминаются отдельные места на Снежеди, знакомые читателям и по другим произведениям. Например, лес Малинник, находящийся между Спасским-Лутовиновым и Ветровым, высокий холм на берегу реки Зуши при впадении в нее Снежеди называется, как в древности: Каменная гряда. Она упоминается и в рассказе «Бежин луг». Фамилию главного героя пьесы Кузовкина мы находим в новелле «Петр Петрович Каратаев». Имя это часто встречается у Тургенева, и речь идет, по-видимому, о реальном прототипе.

Но обратимся к действию самого произведения и его центральным образам — обедневшему дворянину Василию Семеновичу Кузовкину, законному наследнику части сельца Ветрово, живущему более двадцати лет «на хлебах» в богатой дворянской семье, и молодой хозяйке этого имения Ольге Петровне Елецкой, урожденной Кориной.

В комедии Кузовкин рассказывает об отношениях родителей Ольги Кориной на заре их совместной жизни: «На другой же день, вообразите, Ольга Петровна, меня дома не было — помнится, я на заре в лес убежал, — на другой же день скачет вдруг доезжачий на двор... Что такое? Барин упал с лошади, убили насмерть, лежит без памяти... На другой же день, Ольга Петровна, на другой день! Ваша матушка тотчас карету — да к нему <...>. Как ни спешила, сердечная, а в живых его уже не застала... Господи боже мой! Мы думали все, что она с ума сойдет... До самого вашего рождения все хворала». Так и мать писателя, как мы знаем, родилась после смерти своего отца Петра Ивановича Лутовинова, известного своим буйным нравом.

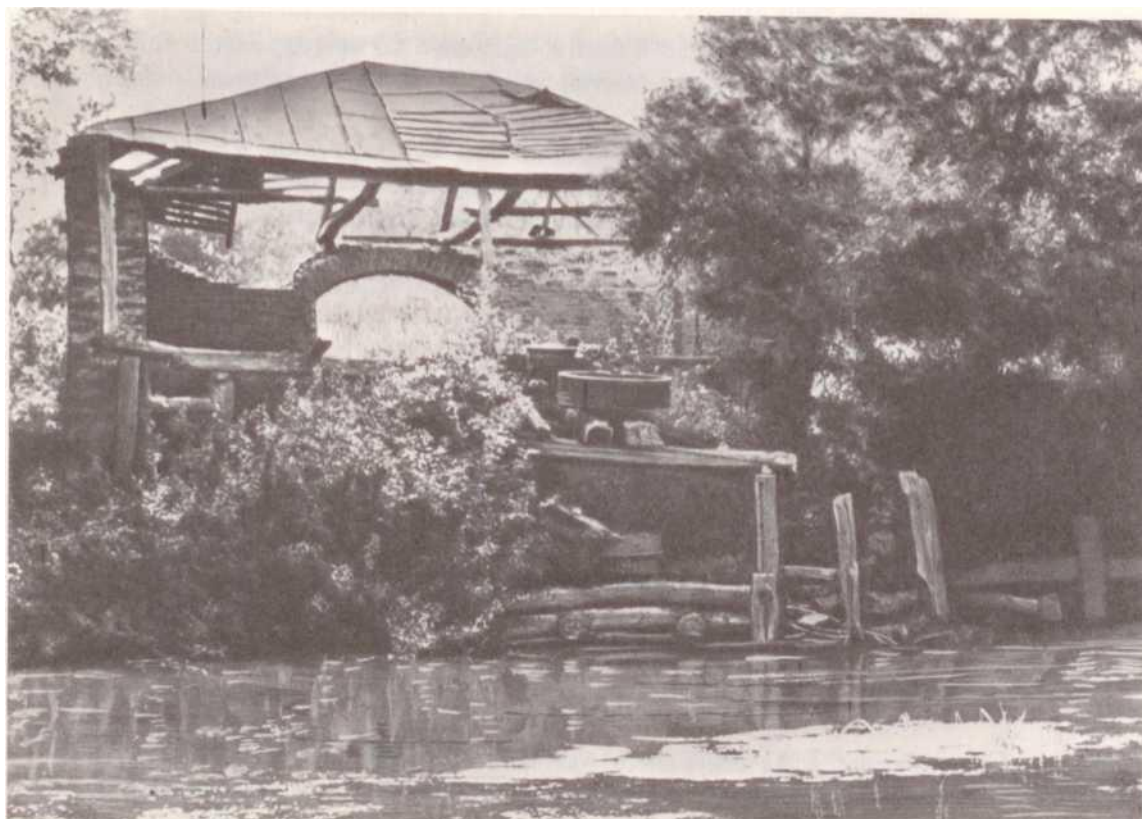
Характер Петра Корины, мужа матери Ольги, о котором говорит Кузовкин, напоминает личность родного деда Тургенева Лутовинова в рассказе о нем однодворца Овсяникова в одноименной повести.

*В селѣцо Ветрово*



*Анисим Варфоломеевич Чадаев*  
*Anisim Varfolomeievich Chadaiev*

*Мельница купцов Чадаевых в селѣце Ветрово A mill of the merchants Chadaievs in the village Velrovo*



«— И скажу я вам, Ольга Петровна, — говорил Кузовкин, — был ваш покойный батюшка крутой человек, такой крутой, что и прости господи!.., на руку тоже маленько дерзок — и когда, бывало, осерчают, самих себя не помнят. Выпить тоже любил <...>. Соседка у нас в ту пору завелась... Ваш батюшка возьми да к ней и привяжись <...>. А у батюшки-то у вашего между тем <...> ндрав еще более попортился. Грозный стал такой, что беда <...>. Натерпелась она в ту пору, ваша-то матушка».

Наконец, доведенная до отчаяния жестокостью и распутством мужа, не находя выхода и не в силах более терпеть жестокий произвол и оскорбления, мать Ольги в отчаянии и из мести мужу решается на интимную связь с Кузовкиным, влюбленным в нее. Результатом этой близости явилось рождение дочери, которую нарекли Ольгой Петровной Кориной.

Скоропостижная трагическая смерть в отъезде поле жестокого помещика Петра Корина как бы сопоставлена автором, по-видимому, с кончиной его родного деда Петра Лутовинова, а страдания униженной и оскорбленной матери Ольги — со сходными чувствами бабки писателя Екатерины Ивановны Лутовиновой, которая 31 января 1803 года, обращаясь в сенат, писала: «Жизнь мужа моего была образцом распутности, а вместе с тем и единственным всех зол моих источником, ибо по вступлении моем в брак не могла я еще осмотреться в сем новом состоянии, как он ни в долгое время все мои вещи и серебро проиграл в карты да до супружества еще отяготил незаконно имение долгами»<sup>5</sup>.

О том, каким образом Петр Иванович Лутовинов «отяготил имение долгами», поведали нам документы судебного дела, публикуемые здесь впервые. На титульном листе его читаем: «Дело по указу орловского Наместнического правления о взыскании с капитан-поручика Петра Лутовинова разными лицами по векселям денег. Начато 29 февраля 1784 года, окончено 19 июня 1789 года. На 333 листах»<sup>6</sup>.

Разноречивые чувства вызывает этот весьма объемистый том, дополняющий наши сведения о биографии предков великого писателя по материнской линии. Штудирова его, воистину изумляешься, каким образом при такой, прямо скажем, неблагоприятной наследственности удалось Ивану Сергеевичу Тургеневу воспитать в себе ту доброту, отзывчивость, мягкость в обращении и уважение к людям, как принадлежавшим к высшим сословиям, так и к крестьянской бедноте орловской и тульской губерний — качества, отличавшие его всю жизнь.

К сожалению, документы находятся в таком состоянии, что разобрать их чрезвычайно трудно. Написанные каллиграфическим писарским почерком, они все же вызывают горькое чувство сожаления и напоминают в этой связи детскую сказку о журавле и лисе, когда ни тот, ни другой, придя в гости, не смогли съесть предложенную хозяином еду — поданную в неподходящей посуде. Точно так же идеально ровные палочки букв при отсутствии поперечных связок и по диагонали внутри самих букв и между ними в сочетании со старинной вязью, окончательно изжившей себя на исходе XVIII века, но еще цепко державшейся в письме, сильно затрудняют чтение. Некоторые из них попорчены временем. Но все же, пользуясь лупой, удалось, в конце концов, разобрать десяток листов судебного дела, содержащего прошения потерпевших, пострадавших от бесчестности и жестокости Петра Лутовинова.

«1785 года мая 6 дня по Указу Ея Императорского Величества Мценский уездный суд слушал дело, начавшееся по Указу орловского наместнического правления прошлого, 1784 года февраля от 29 № 2956 с приложением текста и протеста копий, представленных при челобитье ответственного губернского прокурора Алексея Зыбина, адресованные ему ко взысканию Мценского купца Федора Митина <...> Мценского помещика прапорщика Ивана Федорова, сына Чертова, и велено во взыскании поступить по законам», — читаем на листе 57 дела.

Из других полностью или частично прочитанных документов стали известны и другие имена, фамилии и звания людей, которых обидел Лутовинов, взяв у них в долг и не возвратив различные, в иных случаях весьма солидные суммы денег.

«По Указу Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийской из орловского наместнического правления Мценскому уездному суду <...> слушав челобитье коллежского регистратора Луки

Дубровина, при котором представлен вексель с протестом и в данном ему для взыскания коллежского ассессора Алексея Миткова с гвардии капитан-поручика Петра Лутовинова суммою на сто семьдесят два рубля <...>. Дело по иску московского купца Михайлы Малыгина о взыскании с лейб-гвардии капитана Петра Лутовинова денег «400» (...). Объявление по делам в Московском нижнем надворном суде в 3-м департаменте начавшим о взыскании с лейб-гвардии капитан-поручика Петра Иванова сына Лутовинова по предъявленным на него векселям денег (...) лейб-гвардии подпоручика Ивана Шмаевского, делу жителей Василия Тещева (...), московского купца Федора Головина (...), другой от московского купца Бони- фатия Кармалина (...), от московского купца Ильи Мальцева (...), из дг рян от недоросля Козьмы Про- селскова (...), от московского купца Алексея Крюкова...»<sup>7</sup>.

При лучшей сохранности бумаг список потерпевших, вероятно, мог бы продолжиться. Из материалов видно, что Лутовинов старался затянуть судебное разбирательство, прибегая ко всевозможным уловкам и ухищрениям.

В 1787 году он скоропостижно умер, и все потерпевшие немедленно предъявили прежние иски его вдове Екатерине Ивановне Лутовиновой, которая, заявляя о своей непричастности к делам мужа, в объяснении писала: «...от жены Екатерины Ивановны Лутовиновой (...) векселей оных за рукой его Лутовинова (...) не видела оных (...) признаться оны. \. не можно; и тем паче, что она, Лутовинова жена, при оном своем муже не имела собственные деньги, не имела никогда нужды занимать у кого-либо денег на толстую сумму, каковые товаром...»

Все это кончается учреждением опеки над его именьями для установления наличных капиталов, оставшихся после смерти Лутовинова, и возвращения долгов. В деле об этом сказано так: «3) посему над имением покойного и малолетнюю дочь определены в высочайших губерниях учреждены опекуны, как ото мценского дворянства опека к орловскому наместническому правлению рапортовала, которое опекуны для уплаты законных и неоспоримых долгов о продаже некоторой части имения покойного просили мценской дворянской опеки: но что она опека в сем случае исделала по делу замешательство к волоките сего дела, то потому подана о сем жалоба верховного земского суда во 2-й департамент с прошением о представлении взыскать дабы позволена была такова продажа; а потому до получения из правительствующего сената разрешения, за получением же оно и те вексели и расписки правильными или незаконными показать его могут (...). К сему объявлению Новгородско-Северского наместничества помощник коллежский протоколист Иван Герасимов, сын Завацкий. Июня 19 дня 1789 года»<sup>8</sup>.

Сегодня деревни на Снежеди катастрофически вымирают. Вот и Русино теперь можно обойти всего лишь за несколько минут. Зимой деревенька почти пустая, за исключением домов, где живут семьи колхозников, из которых двое — Карловы, еще двое — Овечкины, Распопов Виктор, скотница Евдокия Лукина и Хрыкин Иван Владимирович, шофер. Старейший колхозник дед Лукин в 1987 году продал свою родовую усадьбу приехавшему сюда из дальних краев пенсионеру и уехал на покой к детям в город. Новый владелец усадьбы Лукиных, глядя на бескрайние, раскинувшиеся окрест голубые и зеленые просторы, не растерялся и завел свою пасеку и не нарадуется на облюбованное для жизни место: кругом приволье, дом прочен и добротен, он выстроен по всем правилам образцовой усадьбы и расположен прямо на живописном берегу реки.

Русино от Ветрова отделяет только поле. Именно полями раньше и мерили землю, присоединя лежащие вблизи ее леса, кустарники и овраги. Такие сочетания пахотных полей с неудобными землями назывались раньше клиньями, и они принадлежали, как правило, одному хозяину. Теперь не услышишь такого термина: «клин земли в даче деревни такой-то». Теперь поля отмечены номерами на колхозной карте и отличаются по засеваемой на них культуре. Те прежние деревни исчезли, а оставшиеся медленно вымирают. За окрестными же лесами присматривает уже другой хозяин — назначенный местным лесни-



чеством лесник. Но леса сохранили свои прежние названия по имени владельцев: Галахов лес, урочище Галахово-2, Малинник. Чаплыгин. Пчелкин лес...

Клином земли от Русина до Ветрова, лежащим теперь на нашем пути, в XIX веке владели помещики Лутовиновы, предки И. С. Тургенева. Вначале — устроитель спасской усадьбы Иван Иванович Лутовинов, после смерти его — его родная племянница Варвара Петровна, мать будущего писателя. А после ее смерти эта земля отошла по раздельному акту 1855 года Ивану Сергеевичу Тургеневу. «Участок Ивана Тургенева составляют земли а также в дачах деревни Голоплек и деревни Русиновой», — гласят строки раздельного акта<sup>9</sup>.

Описанию земли своих предков Тургенев уделял в рассказах и романах большое внимание. Его герои постоянно ведут разговоры и спорят о ней, измеряют ее, ссорятся за право владения ею, судятся за нее, любят ее, страдают, глядя на ее беды, как страдал и любовался принадлежавшей ему землей и сам Тургенев, бывший просвещенным хозяином, владельцем усадьбы, глубоко озабоченным будущим своих владений, судьбами крестьян в принадлежащих ему деревнях и всего крестьянского сословия на Руси. Эти «дети земли», подчас наивные, чистые душой, часто гораздо выше в нравственном отношении, чем владеющие ими помещики. Эти мысли высказываются и в комедии «Нахлебник».

Разговор ведут помещик Елецкий и его управляющий из крестьян Егор Карташов:

Е л е ц к и й . Гм... Прошу аккуратно узнать и донести. Череспосица есть?

Е г о р . В круглой меже дача состоит-с.

Е л е ц к и й (глядит на Егора с некоторым недоумением). Гм... а удобной земли много?

Е г о р . Достаточно-с. Двести семьдесят пять десятин в клину.

Е л е ц к и й (опять с недоумением глядя на Егора). А неудобной сколько?

Е г о р (с некоторой расстановкой). Как вам доложить-с... Под кустарниками... овраги тоже есть... Ну, да вот под усадьбой... выгон тоже... (оправившись). Вот покос идет-с.

Е л е ц к и й (играя бровями). А сколько именно?

Е г о р . Да кто ее знает-с. Земля немеряная. Разве на плане означено. Десятин, пожалуй что, пятьдесят набегит.

Е л е ц к и й (про себя). Все это беспорядки. (Громко). А лес есть?

Е г о р . Двадцать восемь десятин с осьминником.

Е л е ц к и й (громко с расстановкой). Стало быть всего десятин этак с пятьсот имеется?

Е г о р . С пятьсот-с? Да две тысячи наберется.

Е л е ц к и й . Как же ты сам... (останавливается). Да... да... я... я так и хотел сказать. Понимаешь?».

В письме Людвигу Пичу, переводчику комедии «Нахлебник» на немецкий язык, боясь искажений смысла, писатель разъясняет некоторые особенности своего замысла, композиции и языка комедии. Тургенев пишет: «Телецкий — петербургский чиновник, ничего не смыслящий ни в сельском хозяйстве, ни в его установившейся терминологии, но он хочет и будет управлять. По старому обычаю (да и теперь еще), вся возделываемая земля делится на три равные части, одна часть засеивается рожью, вторая — овсом, гречихой и т. д., третья — под паром, и каждый год их меняют. Это первобытное земледелие держится, однако, до сих пор и носит название трехпольной системы. К этому прибавьте лес и луга, где косят сено, и, наконец, непригодную к обработке землю (плохая же или сады, парки, вообще незасеянная земля). Каждая из этих трех частей по-русски называется *клином*, и когда спрашивают, сколько десятин в имении, то отвечают, — сколько их есть в клину. Если говорят 100, то это значит, что во всем имении приблизительно 400 десятин — 300 в трех клинах и около 100 (таково обычное отношение) под лугами, лесом и непригодной к обработке земли. Сверх того, до самого последнего времени угодия были разделены на много Отдельных частей, и только хорошие имения обладали «круглой границей», т. е. были цельными. Телецкий этого, конечно, не понимает <,» стало быть, если Егор отвечает 275 десятин то это значит в общем больше 800; Телецкий и этого не понимает — и затем поражен числом десятин. Когда же дальше он говорит о земле, находящейся под паром, то Егор думает, что он хочет знать, сколько есть непригодной к обработке земли, и отвечает приблизительно, потому

что по патриархальному обычаю — земля эта, как необработанная, не измерялась»<sup>10</sup>.

Проселочная дорога между деревнями вьется по берегу реки, а единственная русинская улица выводит прямо в поле. Картофельные ряды, которые нужно было преодолеть, весной были напаханы поперек нашего пути, и идти было неудобно. Приходилось перешагивать через них, высоко поднимая ноги, чтобы не сбивать головок цветущей синеглазки, которая бледно-фиолетовым ковром сплошь усеяла поле. Не подумали сеятели о пешеходах. Да и кому тут ходить? В Ветрово так же, как и в Русино, жителей мало. По списку сельсовета здесь всего десять фамилий колхозников, из которых лишь в четырех семьях работают в колхозе по 2—3 человека, а в других — по одному. Остальные дома так же, как и в Русино, раскуплены дачниками.

От местных жителей уже неоднократно приходилось нам слышать о том, что несколько лет тому назад в Ветрово, на своей родине, купила дом у гончара и каждое лето живет в нем внучка мельника Чадаева, приезжающая сюда из Москвы. По правде сказать, в такое известие плохо верилось. Но оно заставило нас проделать довольно длинный путь из Спасского. Было интересно узнать, простое ли любопытство, желание отдохнуть подальше от Москвы или тяга на старости лет к родным пенатам привели Чадаеву в Ветрово. Какая она, потомок столь маститого и знаменитого в этих краях купца? Как складываются ее личные отношения с сельчанами? Какова ее психология? Короче, напоминает она или нет своих маститых предков, помнит их, чтит ли их традиции или потеряла с ними все связи? Встреча обещала интересные результаты, она могла обогатить нас новыми драгоценными сведениями о родной земле Тургенева.

Шли мы не с пустыми руками: все, что удалось разыскать в архивах, письмах писателя и его корреспондентов об этой земле, помогло нам представить себе личность Анисима Варфоломеевича Чадаева, хозяина крепкого, умного, изворотливого, хорошо знающего землю. Документы рассказали, что во времена Тургенева он владел не только всеми мельницами на Снежеди, но арендовал, а затем скупал у других владельцев земли, леса, укрепляя свое и без того обширное хозяйство, поставленное на широкую ногу.

В письмах с 1875 по 1883 годы И. С. Тургенев часто спрашивает у своих управляющих о том, каковы их хозяйственные отношения с Чадаевым, начавшиеся купчей от 30 июля 1875 года, по которой И. С. Тургенев продал «чернскому купцу Анисиму Варфоломеевичу Чадаеву восемьдесят десятин триста сорок восемь сажень земли, состоящей в Чернском уезде при деревне Кальне в двух отдельных пустошах реки Снежеди, в даче пустоши Марсенковой и в даче пустоши Чаплыгиной, Марьянская тож и в даче деревни Голоплеках»<sup>11</sup>. Земли эти простирались от имения И. С. Тургенева Спасское-Лутовиново до реки Снежеди. Кроме того, одновременно Чадаев оформил заем у Тургенева на крупную сумму под залог земель «при деревне Кальне и в даче деревни Голоплек»<sup>12</sup>.

Через два года, однако, выяснилось, что Чадаев денег Тургеневу не заплатил, а, кроме того, просил несколько раз отсрочки платежа. Причем прибегал при этом ко всевозможным уловкам и ухищрениям, например к таким: письмо его к Тургеневу с просьбой об отсрочке платежа пришло в день полагающейся уплаты. И Тургеневу, изумленному изворотливостью купца, только и остается, что написать своему управляющему: «<.,.> только заметьте Вы ему, когда Вы его выпишете, что эдак не делается между порядочными людьми: просить об отсрочке платежа — и распорядиться так, чтобы письмо с просьбой пришло как раз ко мне за границу в самый день срока»<sup>13</sup>.

Об этом же поступке Чадаева Тургенев писал брату: «Что касается до г. Чадаева, то я уже распорядился об отсрочке платежа 4000 р. сер. <...>. Не сомневаюсь в его честности и сочувствую его положению; но странно, что он не позаботился прислать мне пораньше свое письмо, которое попало в мои руки в самый день, когда следовало платить деньги»<sup>14</sup>.

Хозяйственные отношения Чадаева с братом писателя — Николаем Сергеевичем Тургеневым, имение которого на Снежеди находилось несколькими километрами выше Ветрова, начались так же, как и с Иваном Сергеевичем Тургеневым, с 1875 года. То есть с того момента, когда купец заключил с Н. С. Тургеневым контракт на рубку леса в лесах одного из его имений при селе Сомове Мценского уезда Орловской губернии сроком на десять лет с обязательством ежегодно уплачивать 2850 рублей. Деньги по этому контракту Н. С. Тургенев в случае своей

кончины завещал брату Ивану. Но Чадаев с управляющим имениями Николая Сергеевича П. К. Маляревским, который был назначен своим хозяином душеприказчиком, составили документы так, что оказалось, будто бы Чадаев выплатил крупную сумму денег Н. С. Тургеневу еще до его кончины. В результате при дополнительном расчете Маляревский удержал из причитающихся Ивану Сергеевичу денег 492 рубля<sup>15</sup>.

И. С. Тургенев отлично понимал, что Чадаев пытается обмануть его, вступив в сговор с управляющим имениями брата. Поэтому в последующие годы писатель просит своего управляющего Н. А. Щепкина пристально следить, чтобы «Чадаев в Сомовском лесу не вырубал свыше положенного»<sup>16</sup> и своевременно выплачивал деньги за срубленные деревья.

Последующие письма Тургенева по делу с Чадаевым свидетельствуют о недобросовестности и лживости купца, объяснявшего живущему за границей писателю свою нужду в отсрочках и снижениях сумм платежей бедственным положением якобы в связи с убытками от весенних паводков, неурожаями и другими неполадками.

Тургенев отлично понимал, что Чадаев хитрит, но, будучи человеком добрым и мягкосердечным, все же вновь и вновь уступал купцу: «Хотя мне нет причины оказывать ему какое-либо снисхождение после его поступка со мною вкупе с г-ном Маляревским, — пишет он Н. А. Щепкину, — однако если он действительно потерпел такие убытки от паводков, то это можно взять в соображение. Не следует забывать, что мы имеем дело с плутом — но если мы его слишком прижмем, то он, пожалуй, станет отвертываться. .. Полагаю, что взять с него — пока — 2000 р. вместо 2850 можно»<sup>17</sup>.

Возможно, что дела с Чадаевым могли бы растянуться после смерти И. С. Тургенева на неопределенные сроки с его наследниками, не победи (в который раз в жизни!) природные доброта и человеколюбие писателя.

В последние месяцы жизни, когда ему трудно стало передвигаться, он катастрофически слабел, постоянно предаваясь грустным размышлениям. Прикованный к постели, он не раз, вероятно, думал о родной земле и людях, живущих на ней. В последних его письмах звучат имена знакомых крестьян, в том числе Жикина и того же Чадаева. Времена менялись, в деревне происходило заметное расслоение крестьянства: хитрые, оборотистые богатели, а не приспособленные к жизни, нерадивые, а зачастую просто обескровленные большими семьями совсем разорялись и попадали в конце концов в полную зависимость к соседям, что напоминало иногда формально отмененное крепостное право.

Однако чувство невольного уважения и даже восхищения вызывали тот же Жикин и Чадаев своей смекалкой, умением и желанием рационально вести хозяйство, расчетливостью, аккуратностью и многим другим, что так необходимо для процветания любого хозяйства. Если бы при этом не проявлялась недобросовестность. Возьмись за его, тургеневские, имения, в свое время такой хозяин, как Чадаев, владения бы процветали. Ведь сам писатель постоянно отсутствовал.

Как гимн всепобеждающей человеческой доброте, отзывчивости и любви к ближнему звучат строки одного из последних предсмертных писем великого писателя на его родину — Н. А. Щепкину: «Насчет Чадаева простите все, что можно, и насчет крестьян тоже...»<sup>18</sup>.

Ветрово лежит на скате пологого холма, а последние его дома переходят на левый берег Снежеди. Их всего десятка полтора, видны и развалины чадаевской мельницы — это все, что сегодня напоминает о прошлом. Жилища его обитателей более чем скромны, об их сохранности заботятся мало: по примеру покинувших этот край соседей, живущие здесь могут в любой момент продать усадьбу и уехать к родне в город, тем более что в последнее время дома в здешних деревнях сильно дорожают. От москвичей нет отбоя, да и окрестные горожане не обходят стороной эти места.

Старину здесь уничтожили начисто: от богатой чадаевской усадьбы остались лишь до основания разрушенные и превратившиеся в груды камня и мусора фундаменты зданий. До сих пор местное население проводит ежегодные раскопки: ведь в деревне в хозяйстве все сгодится — могучие валуны и кирпичи, намертво спаянные известковым раствором в мощные слитки, и многое другое.

И лишь с каменной чадаевской мельницей не в состоянии были справиться до сих пор местные аборигены. Стоит она, зияя побитыми боками да наполовину снесенной крышей. «Смотрите, мол, — как бы говорит она, — и учитесь у моего хозяина! Били-били меня — не разбили; по кирпичику колупают почти целое столетие — никаких результатов. Двери высадили, крышу разобрали — бог судья вам; жернова могучие, выкованные на заказ бывлым хозяином, теперь бы только в музее показывать, да тяжелы они для наших музеев». Вместо плотины — деревянные крошечные лавы, вместе с остатками мельницы утопающие в диких зарослях раkit и кустарников. А на месте некогда широкой, а в разлив просто-таки необъятной речки, которая кормила не только несколько орловских и тульских уездов, но и столицы российские, теперь течет все еще довольно глубокий, но уже ручей, будто сопротивляясь времени. Шибко бежит он вниз, журчит по голышам, гордится: вода его ключевая, чистая как слеза. Зимой ни за что не даст сковать себя морозу: в иных местах сверху ледяной корочкой покроеется и вдруг — пробьется, выбежит снова наружу, накроет ледяной наст и растопит его... И так на всем протяжении Снежеди...

Глубокий, тихий омут за лавами по-прежнему подмывает мельницу. А когда налетит ветерок, ударит мелкая волна ей в бок и будто зашепчет: «Не горюй, мы с тобой еще живы, а может, и повоюем!..» Тих, темен, таинственен этот омут. Низко склонились к нему раkitы и кусты, полощутся листочками, пытливо глядят в воду: не появится ли из его глубины красавица-русалка, дочка старого мельника?..

...Когда растворилась настежь дверь домика гончара и в проеме ее показалась Чадаева, щемящим холодком вдруг наполнилась грудь: окаменевшее лицо женщины выражало массу отрицательных эмоций. Это был, видимо, и гнев за то, что непрошенные гости потревожили ее в неурочный час; явное недоверие и ожидание с их стороны возможных напастей; и постоянная готовность к самозащите, и многое другое, что можно было бы, пожалуй, определить единым чувством: обидой на весь мир.

Появилось единственное желание: немедленно уйти отсюда, не видеть больше этого лица. Но выручил мой спутник:

— Раиса Григорьевна, эта женщина — научный сотрудник музея-заповедника Спасское-Лутовино-во. А я — Мельников. Мои родители работали в Ветровской школе: отец — директором, а мать — учительницей. И я учился здесь. А жили мы в школе, то есть в вашем доме...

Такие понятия, как «Спасское-Лутовиново» и «мы жили в вашем доме», отрезвили Чадаеву, подействовали магически: застывшая на ее лице непроницаемая маска немедленно растворилась в доверительной улыбке, в глазах заиграли бриллиантовые лучики, она заволновалась, засуетилась, приглашая нас присесть, сама устроилась напротив, пристально вглядываясь в наши лица потеплевшими глазами.

Как дорого иногда мгновение! И как мало надо человеку, чтобы раскрылась его душа! Перед нами на табурете сидела по-прежнему строгая, стройная, немного сухопарая, очень пожилая женщина, готовая приветливо побеседовать с нами. Лицо ее было приятно и чисто и сохранило следы былой замечательной красоты. Умен и проницателен взгляд ее светло-голубых, немного выцветших глаз, доверительно устремленных на нас. Она понимала, конечно, что с нами не нужно будет хитрить и притворяться, ведь

мы знаем здешнюю обстановку в прошлом и настоящем и пришли не судить ее, а понять ее судьбу, вникнуть в ее

прошлом.

Немного помолчали, присматриваясь друг к другу. Потом долго слушали её рассказ и думали, какой же все-таки трудной была её жизнь. А на закате дней властно потянуло на родину. Туда, где жили многие поколения предков, оставившие зримый след на этой земле. Но соседям-то было важно, к сожалению, только одно, что она — дочь того мельника, а остальное, хорошее в ее жизни — не в счет. Отворачиваются они нередко, встретившись с ней, частенько даже не здороваются. Когда привозят в деревню хлеб или сахар, то норовят утаить это, и приходится ей постоянно держать в доме запас сухарей. Правда, есть в деревне дальние родственники, они-то и помогают в трудных случаях.

...Сколько же лет не была она на родине?.. Да, считай, всю жизнь. Из Ветрова ее увезли в 1923 году в девятилетнем возрасте. А приехала снова сюда спустя более чем шестьдесят лет, в 1985-м! А старое в округе все еще помнят, само имя Чадаева одиозно, а какой она человек — всем безразлично.

— Анисим Варфоломеевич Чадаев (фамилия пишется через два «а», подчеркивает она) — это мой прадед. Он и развернул мельничное хозяйство на Снежеди. Единственная мельница, построенная на реке в селе Хитрово, принадлежала другому владельцу. А когда дедушка мой женился на дочке хитровского мельника, все мельницы стали чадаевские, река оказалась в одних руках. Прадеда своего я, конечно, не могу помнить, а вот деда Михаила Анисимовича смутно, но помню. Он умер в 1919 году от тифа, когда мне было шесть лет. У меня хранится его фотография. У Михаила Анисимовича было три сына, между которыми он разделил свое время все мельницы на Снежеди, начиная от Ветрова и ниже. Ветровскую мельницу отдал во владение моему отцу, Григорию Михайловичу — отсюда и неприязнь ко мне односельчан. Как же! Правнучка, внучка и дочь Чадаевых! Но я стараюсь ни с кем из местных жителей не общаться, а в одиночестве-то тяжело. Выручает собака, Чада, с ней я хожу повсюду: по окрестным лесам и соседним деревням... Вот она... Чада!.. Не мешай, иди!.. Эрдель-терьер! Я за ней два года в очереди стояла... На кладбище были? Пойдемте, я вам склеп Чадаевых покажу, сами вы не найдете, там все заросло.

Втроем, в сопровождении Чады, мы медленно спускаемся по единственной деревенской улице, идущей вдоль реки. У развалин, а точнее бесформенных груд мусора, глыб, оставшихся от дома Чадаевых, останавливаемся... Здесь многое говорит о былой красоте: остатки старинного сада и парка, старые развесистые деревья, загложившие кустарники... Мы фотографируем все это.

Я и сейчас часто вынимаю и внимательно разглядываю эти фотографии. На них запечатлены груды камней, кирпича, цементные плитки, над которыми не властно время. Все это — в диких зарослях травы, кустарника. Кажется, что даже из камня везде что-то растет. На уступе хорошо уцелевшей части фундамента сидит и сама Раиса Григорьевна Чадаева, с глазами, устремленными прямо в объектив фотоаппарата. Одной рукой она облокотилась о глыбу камня, другая бессильно лежит на коленях, а взгляд строг и, пожалуй, даже суров...

А Виталий Владимирович Мельников, снимавший Чадаеву, помнится, все то время, пока мы усаживали ее, рассказывал о Ветровской школе. Здесь действительно долгие годы жила его семья, учительствовали родители, учился он сам. Говорил, что в тридцатые годы это красивое большое, добротно построенное здание дома Чадаевых собирались ломать, чтобы уничтожить память о прошлом, но не осилили прочных стен и отдали в конце концов под школу; что на довоенных фотографиях усадьба Чадаевых кажется почти полностью сохранившейся, а в 50-е годы от нее мало что уцелело, только та часть, где разместилась школа. Позднее из окрестных деревень крестьяне стали сселять в поселок под названием «Жизнь», и жизнь самой школы в Ветрове кончилась трагически, ее стали просто ломать. Ломал каждый, кому было не лень.

Ветровское кладбище — самое обширное в округе. Деревни исчезают, и страшно становится умерших родных оставлять одних в чистом поле, на старых одиноких кладбищах. И если раньше каленские



крестьяне хоронили родных и на Костомаровском кладбище, то теперь все чаще и чаще предпочитают Ветровское. Ведь в этой деревне еще слегка теплится жизнь и кладбище не совсем заброшено. Здесь и церковь когда-то была. Ее решил построить дед Раисы Григорьевны ко дню венчания своего сына Григория. Строилась церковь долго и трудно. Пока ее строили, скончались друг за другом четверо членов семьи и были похоронены в склепе, вырытом прямо на строительной площадке.

Церковь эта была закрыта в двадцатых годах, а разрушать ее стали в тридцатых. Сначала разрушили купола — всю сразу было не осилить. Нижнюю часть оставили под клуб, который работал еще во время войны. Теперь на месте церкви — пустырь, а на место, где стояла церковь, как-то не решаются посягнуть.

Мы сидели на этом пустыре прямо на траве, а Раиса Григорьевна рассказывала все новые и новые семейные предания.

— В склепе шесть могил Чаадаевых, — говорила она, — и дедушка Михаил Анисимович здесь, и отец мой, и его братья. Отца в 1923 году в возрасте 55 лет отравил племянник, сын одного из его братьев, получивших от дедушки мельницу в деревне Жерлово. Каленская мельница досталась третьему сыну. Не ладили братья, враждовали друг с другом, и началась на реке круговерть: не дело, когда у реки нет одного хозяина... Мама вышла замуж вторично в Борзенки за однодворца Василия Васильевича Борзенкова, самого богатого тогда в округе человека. Но брак этот оказался неудачным, и ей пришлось уехать в Москву...

Обратно мы возвращались левым берегом Снежеди. Поднявшись на вершину холма, с которого начиналась дорожка на Кальну, долго стояли и смотрели в сторону деревни Ветрово. Действительно подходящим было это место для барской усадьбы. Отличная панорама открывалась отсюда. Среди буйной зелени были видны с горы все домики сельца, а за ними параллельно реке ровными рядами шли огороды, выводившие в поля и усеянные цветами картофеля. Чья-то заросшая бурьяном, заброшенная полоска сиротливо темнела вдали...

— А это за моим домом бурьян, — сказала Чаадаева. — Весной из сельсовета пришли и говорят: «Не занимайте участок, вам не положено». — «Как же, — говорю, — всем дачникам положено, а мне нет?» — «Всем, — отвечают, — положено, а вам нет!» Так и заросла полоска сорняками. Да мне хватит: возле дома сотка под грядками есть, огороженная...

Как при этом не вспомнить знаменитое стихотворение Некрасова о несжатой полосе:

Только не сжата полоска одна,  
Грустную думу наводит она...

Пошли по дорожке между полем и посадками. Чаадаева с Чадой далеко провожали нас.

— Ведь это поле — бывшая земля моего дедушки Михаила Анисимовича, — показала она влево, — и лес за полем — тоже наш был. Я туда каждое утро с Чадой хожу... Вон, в лесу, видите? — показывает она на густую колку деревьев, — там была большая поляна, а въезд был по кромке леса. На поляне возвышался дедушкин кирпичный завод, кирпич обжигали на древесном угле. Там же строения были, конный двор... У дедушки постоянных рабочих не было. Те крестьяне, которым нужен был кирпич для строительства, приезжали на своих подводах и определенное время у него на заводе работали. Денег за труд он им не платил — а платил кирпичом...

Сама того не подозревая, Чаадаева открыла нам важный секрет. Мы давно обратили внимание на прочные кирпичные дома в соседних деревнях, нерушимые, как крепости. Многие из них все стоят, давно брошенные владельцами. Во время Великой Отечественной войны, когда на этой земле не оставалось ни одной постройки, так как все они были разрушены артиллерией и бомбежками, дома из чадаевского кирпича дали приют многим вернувшимся на родину семьям.

Вот и Кальна показалась... Остановились, стали прощаться с Чаадаевой. При прощании поинтересовались, почему же ее фамилия пишется через два «а». Она объяснила:

— Мои предки ведут свое происхождение из деревни Чаадаевки, которая находится недалеко от Ясной Поляны. Она принадлежала раньше тем самым (выделила ударением последние два слова) Чаадаевым...

Отойдя довольно далеко от повернувшей назад Раисы Григорьевны, мы понимающе переглядываемся: уж мы-то видели в документах еще начала прошлого века, как правильно пишется фамилия местных заправил. Примерно до 1860 года они именовались Чедаевыми. И даже сам И. С. Тургенев писал именно так. Затем, неизвестно почему, буква «е» была заменена на «а», и фамилия стала звучать как славное напоминание о великом Чаадаеве...

Пусть так и останется!..

Апрель 1989.

### Спустя год

1990-й... Переступило свой порог новое десятилетие... Что сулит оно моим героям, мне, всем нам, людям, не равнодушным к родной, многострадальной, на сегодня почти полностью разоренной земле, родившей великого писателя и с такой любовью воспетой им?

Этим летом я вновь решила пройти знакомыми проселочными дорогами, чтобы еще раз увидеть таких необычных, живых и певчих, полюбившихся мне навсегда моих героев, посмотреть, что же изменилось здесь за нашумевшие, бурные, как горный поток, годы, уже успевшие войти в мировую историю и по воле судьбы именуемые перестройкой... Пройти точно по описанному ранее пути...

Вот и Спасское позади... Стоим на донельзя изуродованной плотине Захарова пруда, рискуя оступиться и с огромной высоты свалиться в глубокий овраг, называемый Захарочкиным верхом, обдирая одежду и тело об огромные и древние, разломившие ракиты надвое и натрое, их мощные лапы, — так узка и разбита сегодня эта узенькая тропинка на берегу пруда, именуемая по старинке плотиной. А справа, из старого лутовиновского, давно заброшенного парка, всего в трехстах шагах от дома писателя, ревет трактора, «освобождая» место для строительства совхозного телятника. Будто мало пустующих земель вокруг. И будто бы для бычков, выращиваемых совхозом имени Тургенева, так уж важно, где выращиваться: на пустующей ли совхозной земле или же во возвращенном предками писателя прекрасном старинном парке, среди мемориальных деревьев-великанов, любимцев И. С. Тургенева.

Понимаю, гневен и грустен зачин послесловия. И обещаю не расстраивать более своих читателей. Опустим пятикилометровый путь от Спасского-Лутовинова в Голоплеки и вновь войдем в знаменитую тургеневскую деревеньку с ее западной околицы.

Не удивляйтесь, если на той же дорожке с фермы вы и сегодня встретите Дмитрия Степановича Овсянникова. Совсем согнулся старик. Да и то сказать: его мать прожила сто лет, от векового надрыва на тяжелой работе согнулась почти вдвое. А ведь Дмитрий Степанович — ее сын. Вот и гены налицо...

Таисия Ивановна Овсянникова, оказывается, в это лето почти совсем не жила в Голоплеках: не было возможности хоть на час покинуть Полтевскую больницу. Пришлось мне съездить к ней и даже переночевать у нее во втором этаже больницы. В этот раз я получила документальное свидетельство того, что писала о ней в очерке «Таисия Ивановна Овсянникова, медицинская сестра».

Ночью ее разбудила дежурная сестра, так как группа сельской молодежи из поселка «Жизнь» доставила в больницу своего товарища, паренька лет восемнадцати с поврежденной рукой. Овсянникова быстро оделась и спустилась вниз. Я не поленилась, накинула на плечи халат и вышла вслед за ней. В принципе-то я почти никогда и не видела ее за работой. А было любопытно. В приемном покое я увидела такую картину: все подростки, и ребята, и девушки, были напуганы состоянием товарища. Перебивая друг друга, они пытались рассказать о том, что на танцах баловались и случайно толкнули этого паренька, который упал и сломал руку выше

локтя.

С совершенно спокойным, я бы сказала даже безмятежным выражением лица Таисия Ивановна подошла к парнишке и отвлекла его от боли следующими словами: «А теперь ты сам расскажи, что случилось... не спеши... и не волнуйся, по твоему состоянию видно, что ничего серьезного нет...». А сама между тем осторожными, плавными, еле заметными движениями пальцев рук пробиралась по большому месту от его локтя к плечу.

— Перелома нет, порыв тканей, гематома будет... Вызовите рентгенолога, нужно сделать снимок... Хотя и так видно... Не волнуйся, сейчас тебя перевяжут и пойдешь домой, — говорила она, поочередно обращаясь то к пострадавшему, то к дежурной сестре.

Мы с ней поднялись наверх, вновь готовясь ко сну, а через полчаса, уже сквозь дрему, я услышала голос санитарки: «Таисия Ивановна, рентгенолог велела передать, что перелома нет».

А утром Овсянникова расстроила меня сообщением о том, что внезапно умерла соседка бабы Груни Ольга Петровна Борзенкова... И погибла Чада, этот замечательно умный эрдель-терьер, принадлежавший Раисе Григорьевне Чаадаевой. Случилось так, что его хозяйку увезли с сердечным приступом в Полтевскую больницу, и верный пес не вынес этого испытания.

Каждый год Таисия Ивановна собирается переехать в Голоплеки, расстаться с больницей — и все никак не решится... Хотя и в своей деревне не обошлось бы без труда медика: полна деревня жителей; нет ни одной пустующей усадьбы. Капитально ремонтирует приобретенный у колхоза дом «с заколоченными окнами» Юрий Михайлович Черемисинов, потомок однодворца Овсянникова из Голоплек. Обосновывается в родной деревне потомок другого овсянниковского корня, Иван Владимирович Рыков. Екатерина Андреевна Тарасова основательно обжилась на новом месте, а ее обидчик, тот самый «дачник», который перегородил деревенскую улицу возле купленного у нее дома и грозился спустить на нее собаку, уезжает из Голоплек, так и не потрудившись найти общего языка с соседями.

Летом в Голоплеках множество детей. Они знают, что книжка о Голоплеках написана, и когда я с фотографом появилась «на хуторах» с тем, чтобы заснять на цветной слайд Марию Матвеевну, Прасковью Петровну Овсянниковых, они огромной гурьбой сопровождали нас.

Помните ли вы рассказ Марии Матвеевны Овсянниковой о ее родном селе Костомарове и о красавице сельской церкви, которую после войны взрывали подрывники из фронтовиков? Так вот: ее построил прадед Льва Николаевича Толстого. Вот что сообщал об этом в 1895 году ученый Малицкий в своем фундаментальном исследовании «Приходы и церкви Тульской Епархии»...

«Село Костомарове находится в 125-ти верстах от Тулы, в 25-ти верстах от Черни и в 16-ти верстах от ст. Чернь Московско-Курской железной дороги. Местность села возвышенная, окружена с двух сторон оврагами, а с третьей омываемая рекою Снежедом. Начало возникновения прихода с точностью неизвестно; сведения из его истории восходят только к 1805-му году, но, несомненно, приход существовал ранее, так как с этого времени существовал тут уже храм, построение которого предание приписывает фельдмаршалу Бибикову. Что местность эта составляла вотчину Бибикова, на это указывают некоторые названия, например Бибиковская мельница — недалеко от села. В настоящее время приход состоит из села и деревень: Костомарова, Жерлова, Русиновой, Сухой Сальницы и Ветровой. Всех прихожан числилось 911 душ мужеска пола и 898 женска пола. Кроме земледелия, многие занимались плотничеством, изготовлением телег, саней, борон и гончарным делом. О существовании храма в приходе до 1805-го года сведений не сохранилось: указывают только место, на котором стоял храм с остатками его фундамента. Существующий храм в приходе во имя обновления храма Воскресенья Христова, построен в 1805-м году

тщением умершего помещика Николая Ивановича Горчакова. Сохранилось предание, что князь имел в виду построить храм больших размеров, но ко времени построения он ослеп. Строители храма воспользовались недобросовестно слепотой князя, и храм был построен меньших размеров. Это открытие до такой степени огорчило князя, что он заплакал. В последнее время храм был расширен: к 1887-му году при нем устроена была каменная колокольня, что произведено было на средства прихожан и других благотворителей; в 1847-м году в храме устроен был придел во имя святого чудотворца Николая, который в 1887-м году заменен был новым на средства диакона Порфирия Рождественского. Особое участие в украшении и благоустройстве храма принимал в 50-х годах церковный староста Афанасий Павлович Грицков. Из икон храма особенным почитанием пользуется икона Знамения Божией Матери. Об этой иконе известно следующее: мещанке В. Т. Горбылевой, в бытность ее в Спасском-Лутовинове, три раза являлась во сне икона Знамения Божией Матери именно в Костомаровском храме, но между иконами храма не оказалось виденной ею во сне. По указанию диакона этой церкви Г. Георгиевского, она пересмотрела старые иконы на чердаке церкви и между ними отыскалась та самая, которая три раза являлась ей во сне. Означенная Горбылева жива до сего времени. Причт прихода состоит из священника, диакона и псаломщика. Церковной земли имеется: ус. 4 д. 1700 с., полевой удобной — неудобной 97 д. 938 саж. Почва земли песчаная и каменистая. В селе существует школа грамоты с 1868 года»<sup>1</sup>.

А невдалеке от бывшего села Костомарове на другом берегу реки лежит деревня Кальна, принадлежавшая до 1810 года родной бабке Л. Н. Толстого по отцовской линии Пелагее Николаевне Горчаковой и отвоєванная у нее двоюродным дедом И. С. Тургеневым Иваном Лутовиновым<sup>2</sup>.

Мы снова пришли в Кальку навестить старенькую учительницу Анастасию Максимовну Воловскую, а от нее, как и в прежние времена, перейдя по деревянным лавам Снежедь, прошли на центральную усадьбу колхоза «Родина», где в совхозном домике живет баба Груня... Но возвратимся к нашему с ней знакомству, а точнее, к тому самому моменту, когда несколько лет тому назад, восхищенная этой милой, приветливой старушкой, ее необычными песнями и частушками, мы прощались с ней «до завтра»...

Обратная дорога в Голоплеки показалась мне тогда и короче, и веселее. Уже вовсю палило солнце. Почти все время пути слева над полем между землей и небом, будто намеренно сопровождая меня, висел жаворонок. По временам он взвивался в вышину, ускользая от моего взгляда, и вдруг, словно по волшебству, черной крошечной точкой появлялся далеко впереди...

А во мне не переставали звучать песни бабы Груни. То задорными частушками, то грустными, жалобными напевами безголосого и ненавязчиво всплывали они в памяти, и я очнувшись от этой прелестной русской сказки, только лишь завидев крыши Голоплек.

Вот и домик Аграфены Афанасьевны показался. Деревянный, маленький, бедный и... одинокий, выше крыши заросший диким, несколько лет не кошенным бурьяном... При виде его мозг молнией пронзил неожиданная мысль, от которой остановились ослабевшие вдруг ноги и стало мутно на душе: «Забыла!».

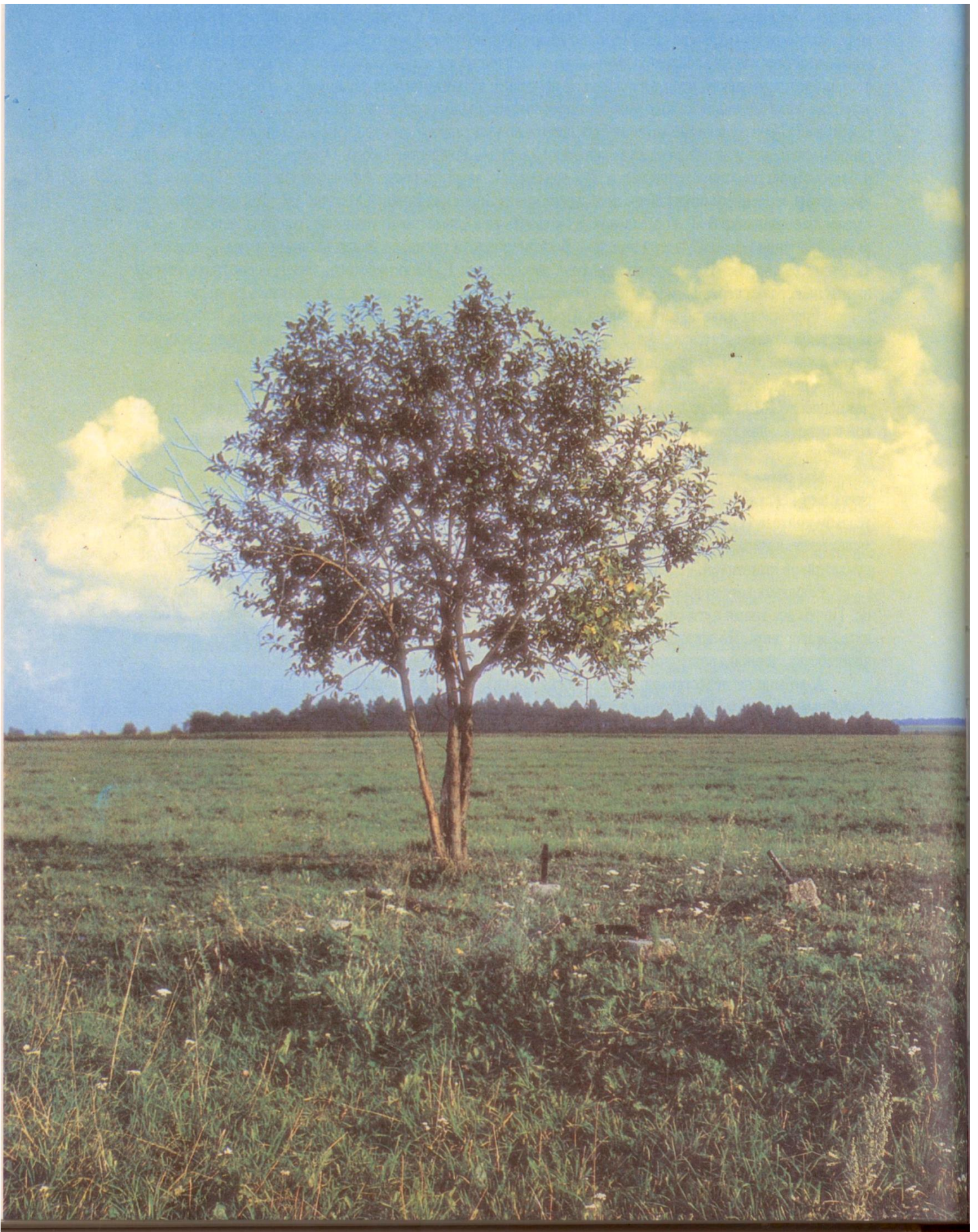
Очарованная песнями старушки и ею самой: ее самобытным талантом, оптимизмом, распахнувшейся навстречу гостю доброй, чуткой, веселой музыкальной душой, я, просидев с нею рядом на вынесенном по случаю лета на веранду диване несколько часов сряду, так и не догадалась зайти в ее жилище и посмотреть, как и чем жива старушка, не нуждается ли... Ведь баба Груня одинока...

«Возвращаться назад не буду, а в ближайший выходной день обязательно снова навещу старушку», — решила тут же я, снова трогаясь в путь.

Очерк о ней родился в тот же день, на одном дыхании... А вот еще одного выходного дня для бабы Груни я так и не выкроила и, надо признаться, была за это вскоре жестоко наказана...

Прошло лето. Потянулись скучные дни осенней распутицы, новые поездки и командировки — но уже в архивы и библиотеки... Однажды, явившись домой из очередной такой поездки, вскрываю уже







## *Деревня, которой нет*

несколько недель ожидавшее меня письмо со штампом райцентра того района, где живет баба Груня, и читаю:

«Здравствуйте, дорогая Людмила Николаевна! Ваш очерк «Баба Груня» мы опубликовали, но в двух номерах газеты. После первой публикации — своеобразная реакция последовала... от самой бабы Груни. Она позвонила на мой телефон (меня не было). Вот «стенограмма» беседы:

— Они не зашли домой, не посмотрели, как я живу, что у меня дров нет. Пусть не печатают дальше. В «Коммунар» писать буду!

Вот Вам и баба Груня!

Теперь придется ждать от нее противодействий. Из того колхоза к нам постоянно идут жалобы. Сегодня позвонила какая-то Антонина Ивановна, сказав, что ее дом восемь лет на подпорках, а мы напечатали, что ее дом отремонтирован...»

Но никаких противодействий со стороны бабы Груни, конечно, не последовало. Да и не жаловалась она, как выяснилось в дальнейшем, никогда, никуда и никому. Это сердобольные соседки таким образом решили позаботиться о ней. Но мне стало окончательно ясно: не одними песнями живет баба Груня... И, видимо, далеко не она одна...

Пока суть да дело, пишу письма в разные адреса с просьбой помочь старушке: в местную больницу, директору школы. Председателю колхоза, тому самому, о котором в одном из своих очерков под названием «Деревня, которой нет» недавно писала как о святом подвижнике, сохраняющем эту прекрасную землю от разорения.

Пусть простит он меня, если что не так, но я решила тогда написать ему письмо следующего содержания:

*«25 ноября 1988 года  
Село Спасское-  
Лутовиново*

Здравствуйте, уважаемый Николай Иванович! Прошу прощения за беспокойство, но сегодня я получила известие из Москвы о том, что съемочная группа «Мосфильма» намеревается прибыть в «Жизнь» для съемки фильма о бывшей Вашей колхознице Аграфене Афанасьевне Коптевой-Ширавой (очерк «Баба Груня» каким-то образом попал в Москву), и в связи с приездом журналистов я хочу спросить Вас, привезли ли ей дров, так как знаю, что месяц тому назад она бедствовала в этом смысле.

Возможно, этот приезд съемочной группы и не коснется собственно колхоза, но в любом случае желательно, чтобы старушки жили сносно. У Аграфены Афанасьевны муж погиб на фронте, детей нет, и, следовательно, жизнь ее — беда: одиночество, бессилие, бедность... Думаю, что все у нее нормально, но все же решаюсь напомнить Вам, как руководителю хозяйства, о ней...»

Конечно же, никакая съемочная группа к бабе Груне не приехала... Через некоторое время пришли к ней мы вдвоем с фотографом из Москвы Светланой Сергеевной Сафоновой. Как же была рада нам баба Груня! ...Выжила зиму, ей действительно пытались помочь и взрослые, и дети. Да разве можно украсить чем-либо одинокую старость?! Все черты и приметы разрушения и ветхости — налицо: исхудала баба Груня, совсем ослабла; не обмыта, не обстирана, не обогрета и плохо, время от времени кой-чем питается. Почти совсем не слышит... Ноги ее, еще прошлым летом буквально трепетавшие при звуках песни, теперь почти не слушаются. По-прежнему все дни проводит она у окна, высматривая редкого прохожего, глядит почти невидящими глазами в бездонное голубое пятно неба...

Но и в этот раз спела нам баба Груня. А вернее, пыталась петь. Но... голос ее то срывался и издавал какие-то непонятные хриплые звуки, а то и просто переходил в шипение, напоминавшее глухой звук истерзанной старой грампластинки. Но она, будучи не в силах остановить мысль и запомнившиеся на всю жизнь простые слова и немудреные строчки, не сдавалась, все «говорила и говорила...»

. — Ой, матушка, горе,  
Сударыня, горе:  
Приехал муж с поля —  
Куда дружка дети?!  
Посажу дружка в плятушку,  
Накрою рогожкой...

— Ой, женушка-любка,  
Што у тебя в плятушке?  
— Дурак бестолковай! —  
Овца окотилась.  
Окотила барана  
Во синем кафтане...  
Окотила барана Во  
синем кафтане,  
Во синем кафтане,  
Шляпа голубая!  
— Женушка-любка,  
Давай-ка посмотрим!  
— Дурак бестолковай, —  
До трех дней не смотрят!  
Проходит три денечка.  
— Давай-ка посмотрим!  
— Дурак бестолковай, —  
В стадо прогнали!  
Из стада пригнали...  
— Давай-ка посмотрим!  
— Дурак бестолковай, —  
Волки разорвали!

Узнаёте вы веселую, задорную выдумщицу — певунью бабу Груню? Пусть такою и останется она навсегда в нашей памяти...



# **ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «БЕЖИН ЛУГ»**

*Post Office «Bezhin Lug»*







Чаадаева

Посмотришь на русского человека острым глазком...  
Посмотрит он на тебя острым глазком...  
И все понятно.  
И не надо никаких слов.  
Вот чего нельзя с иностранцем.<sup>1</sup>

В. Розанов

Сельцом Ветровом прерываю свое путешествие вверх по Снежеди, ибо давно взрастила в себе огромный интерес к другому, несказанно удивительному уголку тургеневских мест, запечатлеть который можно и не петляя по Снежеди, и не путаясь в значительном количестве деревень и деревенок, где не увидишь порою живой души. И только чутьем угадаешь за отколотенным по случаю летней поры оконцем заросшего по самую крышу домика бурьяном глаз заехавшего на выходные дни дачника, в планы которого никак не входит встреча с забредшим в эту, чужую ему до сих пор, деревеньку любопытным путешественником, а тем паче общение с ним...

Битком набитый «Пазик», тяжело дыша от пассажирского перегруза, выполз с чернской автостанции в южном направлении. Примерно через полчаса ему удалось благополучно перевалить через железнодорожные пути и даже пополнить свой мягкий, легко трамбуемый груз еще десятком до невозможности нагруженных пассажиров.

Недовольно урча, он потащился по искореженной бетонке дальше, к колхозу «Путь Ильича»...

По сторонам дороги попадались деревеньки, обросшие кустарником, и новые небольшие поселочки, еще лысые, необжитые. Вот переехали грузовой мост через речку, справа сплошной стеной встал вековой парк. У его ограды на покосившемся железном столбике притулилась табличка, от одного приближения к которой перехватило дыхание и дрогнуло сердце: большими печатными буквами, черным по белому, на ней было начертано «Т у р г е н е в о»...

Я никогда не бывала в Тургеневе. Но образ этого большого села, некогда принадлежавшего предкам Ивана Сергеевича Тургенева по отцовской линии, выработался в моем сознании очень давно и четко: старинный парк с утопающей в его зелени красавицей церковью, выстроенной еще дедом писателя. Знаменитая на всю страну тургеневская средняя школа, возведенная в тридцатых годах на фундаменте сожженного дома Тургеневых. Сохранившееся здание бумажной фабрики, описанной Тургеневым на страницах его произведений. И сады, сады...

Вот справа промелькнул вздыбленный к небу засохший и будто ошкуренный до белизны многовековой дуб, за ним — церковь, зияющая пустыми глазницами... Слева — какие-то старинные низенькие постройки, одноэтажное длинное здание с отсыревшей от фундамента до половины ее высоты грязнобелой стеной... Отложилось в сознании: в коридоре пристройки выбито стекло... Грязного цвета забор из штакетника, еще какие-то строения...

На остановке схожу с автобуса прямо против этого сырого здания и медленно иду вдоль забора со многими прорехами, из боязни исполнения своего недоброго предчувствия так и не решившись войти через выломанную калитку в его двор...

Стараюсь не глядеть туда, но угловым зрением замечаю перевернутые с ног на голову прямо в грязь гимнастические снаряды...

— Нет, — говорю себе, — это что-то не то... Наверное, сошла с автобуса раньше времени, не доехала до пункта назначения. А если даже это и есть то самое Тургенево, так ведь и то сказать: погода такая, что красное солнышко может показаться грозовой тучей...



### *Почтовое отделение «Бежим луг*

Февраль выдался теплым и мягким, погода в ту зиму стояла, что называется, слякотная, из-под колес машин разбрызгивалась мокрая снежная каша, ноги вязли в раскисевшемся черном снегу, везде было мрачно и скверно... Оттого и впечатление, видимо, тяжелое... Да и попала, верно, все же не по назначению...

Но рассуждения мои, в которые и сама верила с трудом, внезапно прервал новый объект, при взгляде на который зыбкие мои сомнения рассеялись, как дым... В самом углу шаткой ограды стояло и глядело на мир просторными окнами в окружении старых тополей здание. В верхний правый угол наружной высокой каменной, давно не беленной стены его была вмонтирована металлическая доска, исполнявшая, видимо, роль мемориальной, с надписью: «В этом здании до 1861 года размещалась бумажная фабрика Тургеневых. В одной из комнат здания в 1850 году проживал великий русский писатель И. С. Тургенев».

Вновь возвращаясь к зачину главы, будучи не в силах вот так, сразу, пережить такую огромную массу хлынувших на меня впечатлений. Не хочу торопиться войти в первый попавшийся дом села Тургенева и вновь окунуться в только что исчезнувший реальный мир сегодняшнего дня с его теснотой, толчеей, неустроенностью и сердечной пустотой. Похоже, зря прервала я намеченный маршрут, рассталась со ставшими дорогами за последние годы и месяцы лицами, уйдя с середины Снежеди и переехав сразу в ее верховья, в Тургенево, которое как далекий огонек, много лет маячил впереди и сведения о нем я упорно собирала в белую канцелярскую папку, распухшую уже до грандиозных размеров...

Думалось, что если все идти и идти вверх по Снежеди, всюду собирая сведения и знакомясь с жителями, то эдак и жизни не хватит, чтобы добраться до села Тургенева.

В 1985-м году я поселилась в Голоплеках, а ушла с тех пор в своих исследованиях недалеко, километров на три—пять в радиусе деревни. От Голоплек до Снежеди — километра три пути, до сельца Ветрово — примерно четыре, а ходила вокруг да около тоже — целых четыре года...

Выше сельца Ветрово по реке лежит деревня Лобаново. Если заняться ею вплотную, то есть столь же скрупулезно, как Голоплеками, Калькой, Ветровом, то на это исследование уйдет, пожалуй, также несколько лет, так как во времена Тургенева здесь жил небогатый помещик Василий Каратеев, деревенский сосед и приятель Ивана Сергеевича Тургенева, который во время Крымской кампании перед отправкой на фронт, не надеясь остаться в живых, в последний, как он сам считал, раз в своей жизни посетил писателя в его родовом имении селе Спасском-Лутовинове и, протягивая ему тоненькую тетрадочку, говорил примерно так:

— Вот, Иван Сергеевич... Возьмите себе... Вы писатель, у вас получится... Это история моей любви. Я в юности любил девушку, а она полюбила болгарина и уехала с ним на его родину...

Читатель, вероятно, уже догадывается, что история любви Василия Каратеева — и есть жизненная основа, то есть канва романа И. С. Тургенева «Накануне». Что история эта, таким образом, действительно не выдумана писателем, а связана с именем и судьбой соседа, который в 1857-м году сообщал о себе:

«Помещик сельца Лобаново Мацнево тож Губернский Секретарь Василий Владимиров сын Каратеев: крестьян 75 душ, дворовых 16 <...> тягол 22 <...> состоящих из 63-х ревизских душ <...> крестьяне живут в двадцати отдельных избах, при каждой из которых находятся их клетки, сарай, одним словом, все хозяйство, их дворы, а в конце их конопляников расположены их овины, кормовые сараи и гуменники. Каждое тягло занимается своею усадьбою, конопляниками и гуменником (...) так что под всем их поселком находится около одиннадцати десятин земли».<sup>2</sup>

Словом, еще одна интереснейшая тема прошлого в соединении с настоящим просится в разряд исследуемых и потребует длительной разработки и анализа...

А выше Лобанова по Снежеди, в одной из ее старых излучин лежит знаменитый на весь мир Бежин луг... Чуть в стороне, на притоке Снежеди речке Снежедке — Колотовка...

Обойдем же теперь стороной эти дивные места и, поскольку мы заехали в село Тургенево, обратимся к его обитателям...

К тыльной стороне бывшего здания тургеневской бумажной фабрики, отступив всего лишь на два-три метра, примыкает задом длинный добротный сарай, за которым скрываются двор и огород. А венчает эту крестьянскую усадьбу больших размеров кирпичный одноэтажный дом с сенцами, глядящими на сарай. В этом доме я решила оставить на время свои вещи, так как четкого плана действий на первый день командировки в село Тургенево себе не представила, а носить их за собой не имело смысла.

Обогнув сарай, направилась было к дому, — но не тут-то было: из собачьей будки с истеричным лаем выскочила и кинулась мне под ноги злющая собачонка, сидевшая благодаря, как видно, своему буйному нраву постоянно на цепи.

Первым моим движением был шаг назад. Но из дома в окно застучали и, всмотревшись в его светлое пятно, я разглядела женское лицо, обладательница которого лихо и часто махала мне в свою сторону рукой, приглашая, как видно, войти...

Благополучно миновав двор, я открыла наружную дверь и вошла в просторные сенцы, а оттуда — в кухню с громоздкой русской печью, от которой отходили за стенку еще и трубы водяного отопления.

Не успела я поставить носу и скинуть запачканную обувь, как еще одна дверь внутри дома навстречу мне распахнулась, и худенькая пожилая женщина в вязаной кофте и платке, быстро перешагнув порог и стремительно приблизившись ко мне, цепко ухватила за рукав моего пальто и потянула меня в горницу, говоря:

— Чего там... Иди уж, садися, раздевайся!... — А я, глядя на свои грязные сапоги, переводила с них взгляд на хозяйку и, кажется, растерянно улыбалась, так как чувствовала себя виноватой.

*Въезд в село Тургенево Entrance to the village Turgenevo*









*Почтовое отделение «Бежин луг»*

... На этом месте, на этом стуле я и осталась сидеть неподвижно, поскольку глаза мои вперились в глядящее со старинного громадных размеров фотографического портрета строгое лицо немолодого мужчины, и была не в силах оторваться от приковавшего меня к себе его цепкого, умного взгляда...

Человек, поразивший мое воображение и показавшийся мне очень близким знакомым, был снят вполоборота. Одет в добротный темный суконный кафтан или пальто без воротника, наглухо застегнутое и скрытое в верхней своей части породистой, густой, окладистой, по обеим сторонам снизу седой, а в середине и по лицу черной бородой веером. Волосы на голове его ровной шапкой отступили назад, как бы давая простор прекрасной формы высокому лбу, почти нетронутому морщинами. Темные густые брови, прямой с горбинкой нос...

Но самую суть этого лица составляли глаза... Живые, внимательные, иссиня-черные и лучистые, они, казалось, впивались во все, на что направлялся взгляд, и приковывали к себе каждого помимо его воли...

— Несомненно, это лицо я где-то видела... — мучительно вспоминала я.

— Нет... Он на кого-то похож... — говорило другое «я», — но на кого?

— Нет, ни то, ни другое... Скорее всего, о нем я где-то вычитала, — вот это было реальнее...

Женщина шутливо посмеивалась...

— Что, понравился?..

А как вас зовут? — поинтересовалась я в ответ, пытаясь одновременно сообразить, кем бы мог приходиться ей этот поразительный человек...

— Лидия Казминишна, — ответила она.

— А батюшку вашего как звали?

*Сохранившееся здание бумажной фабрики Тургеневых Remained building of the Turgenevs' paper factory*



- Казма Онисимович...
- А-а-а... Фамилия ваша?.. — коснеющим языком ера выговариваю я, потрясенная внезапной догадкой.
- Чаадаева... Пишется через два «а», — пояснила она.

Нет, это было уже слишком... Я не была готова к такой информации. И не смела верить во все происходящее...

— Так деда вашего как звали? — обращаюсь к ней снова, собравшись с мыслями и одновременно переводя взгляд с портрета на лицо женщины и обратно, пытаюсь определить общие черты.

- Онисим Варфоломеевич...
- А Раиса Григорьевна Чаадаева кем приходится %ам по родству?
- Я не знаю такой...

Мы сидели в это время с Лидией Казминишной за столом, а она, уловив по моим вопросам состояние гостьи, тоже, видимо, ждала чего-то неожиданного и чудесного...

Пока суть да дело, приготовила и подала чай, масло, предложила попробовать ржаного хлеба, разрезав на несколько щедрых ломтей высокий выпеченный ею каравай, принесла молока — будто я не была в ее доме случайным посетителем, — и она меня знала, ждала и принимала так, словно давно готовилась к встрече.

Пока женщина хлопочет, я стараюсь сопоставить имя Анисима Варфоломеевича Чаадаева с двумя другими именами, Чаадаевых Раисы Григорьевны и Лидии Казминишны, одна из которых правнучка, другая — внучка Анисима Варфоломеевича. Но что за наваждение?.. Правнучка и внучка, как видно по всему, — ровесницы, а не знают о существовании друг друга. Неужели наш народ действительно стал похож на Иванов, не помнящих родства?..

- Лидия Казминишна, — опять обращаюсь к ней. — Ваш дед мельником был?
- Мельник...
- И все мельницы на Снежеди ему принадлежали?
- Ему...
- Значит, я стою на правильном пути... Но почему же вы не знаете о существовании своей племянницы Раисы Григорьевны Чаадаевой?..

— Женщина хитро поглядывает на меня... И говорит:

— Ладно... Скажу... Знаю я про нее... Сестры мои с ней знали... Дедушка-то мой больно хорош был... Когда его старуха, значит, померла, он не растерялся, да и возьми женись на другой, на молодой... Ему 75 было, а ей 25 лет. Это и есть моя бабка Аксинья Парменовна. У них родились три сына: Николай, Казма, Иван. Мой отец Казма Онисимович был средним из братьев, родился он в 1879-м году... Я самая младшая в семье. А было у моих родителей девять человек детей. Я родилась в 1919-м году в деревне «Бе- жин луг...»

Честное слово, завтра я припомню и слово в слово запишу рассказ Лидии Казминишны... Теперь же должна остаться наедине с собой с тем, чтобы не спеша и очень серьезно осмыслить все происходящее...

На восьмом десятке лет неугомонный Анисим Варфоломеевич Чадаев обзавелся новой молодой семьей и уступил сельцо Ветрово сыну от первого брака Михаилу, отдав ему во владение часть мельниц на Снежеди, в том числе и Ветровскую. Сам же с семьей поселился в деревне «Бежин луг» на Снежеди, где также стояла его мельница. Здесь он выстроил просторный крепкий дом на берегу реки. Здесь роди-





Мария Тимофеевна Чадаева  
Maria Timofeevna Chadaeva



Лидия Казминишна Чадаева  
Lidiya Kazminishna Chadaeva

лись у него сыновья Николай, Казма и Иван. Здесь Анисим Варфоломеевич налаживал и обживал новое семейное гнездо. Здесь выросли, обзавелись семьями дети...

К тому времени, когда сыновья стали взрослыми, Анисима Варфоломеевича уже не было в живых. Но еще при жизни он поделил между ними свои владения. Для среднего сына Казмы был куплен в селе Тургенево громадный каменный двухэтажный дом, который продал ему разорившийся хозяин стекольного завода. Мельница Чадаевых стояла там прямо против западных окон завода, а бучало зияло своею синью всего в нескольких метрах от него. Купленное здание стекольного завода было перестроено под жилье.

У Казмы Анисимовича и его жены Марии Тимофеевны родились в разное время девять человек детей. Одной из них была Лидия Казминишна...

Теперь от этого дома уцелела лишь небольшая часть, но просторная, на две чистые половины.

— Лет пятнадцать тому назад, — жалуется Чадаева, — еще при жизни мамы, хату я почти всю переделала. Дом наш было совсем завалился. Стали разбирать угол, чтобы поправить, потом потолок, да еле сладили, измучились совсем: бревна толстые, не в подъем... Дом мой старинный, кладка прочная... Мельницу помню, она наравне с домом стояла. Плотина на уровне мельницы была... Здесь мельницы почти что через два километра по реке: в Граховой, Липицах, Тургенево, Лутовиновой... Вона, гляди, бучало-то, — прям под окошком, — отдергивает она тюлевую штору вбок, — вот оно, место-то...

Действительно, из окна дома Лидии Казминишны Чадаевой виден мельничный омут, забитый раkitником. Теперь это местечко похоже на заглохшее навек болотце, и с трудом прорастает сквозь него узенький ручеек Снежеди...

До самого вечера мы разглядывали фотографии потомков Анисима Варфоломеевича Чадаева. Это очень старые снимки, пожелтевшие от времени, с вензелями различных российских фотографий и все как одна на толстых, замечательно оформленных картонных подложках. Лидия Казминишна людей, изображенных на них, почти не знает, и я предлагаю ей сдать все снимки в музей, так как все они — из дома Чаадаевых и, несомненно, представляют определенный интерес для музея И. С. Тургенева.

— Отдам, — говорит она, — пускай приезжают... А тебе дедушкин самовар подарю, — уж больно ты мово дедушку-то, вижу, любишь... Чай будешь у себя в деревне пить и нас вспоминать...

— Нет, — отказываюсь я. — Мне дарить самовар не надо, а лучше продайте его в музей, раз он вашего дедушки... Ведь он немалых денег стоит, — как-никак, а исторический...

— Тебе подарю, а в музей — не продам! — решительно отказывает Чаадаева.

— Но поймите меня, — объясняю я ей. — Ведь я сама — музейный работник, должна искать и собирать предметы народного быта из ваших мест для своего музея. Как же я могу вместо того, чтобы передавать вещи в музей, принимать их в подарок?..

— Не хошь, как хошь, — а в музей не продам... Пускай на потолке валяется... Бери, жалеть после будешь!

Так и не взяла я тогда у Чаадаевой самовар...

А в следующий раз попала в село Тургенево только через полгода и, конечно же, зашла к Лидии Казминишне... Если впервые она встретила меня как старую знакомую, то что уж говорить об этой, второй, встрече!..

— Ну что, самовар-то возьмешь? — провожая меня на автобус, снова предлагает она. — Все равно ведь пропадет. Бери... А в музей я другой отдам, пузатый, он у дочери в Черни в сарае валяется... Тоже наш, чаадаевский...

Это меняло дело... Но принять такой дорогой подарок, как самовар из тургеньских мест, из которого пил чай, возможно, сам Анисим Варфоломеевич Чадаев, — от его щедрой внучки, крестьянки, труженицы, — вот так, просто, ни за что — я не могла. Только глядя на руки ее, не посмела бы этого сделать... Сама она небольшого роста, очень худенькая... А руки — громадные, натруженные, жилистые, с черными кругами въевшейся вокруг ногтей земли... Они, казалось, были отделены от ее туловища и жили сами по себе...

Вспоминались ее слова: и дояркой работала, и на разных работах, и садоводом, и полеводом, а, бывало, занемому, свалюся, — так временно ставили где полегше... Всего пятьдесят пять лет отработала...

Это значит — с ранней юности... Нет, не возьму бесплатно!

— Бери, — последний раз говорю, — не то чужим отдам! — навязывает она мне злополучный самовар...

Пишу эти строки, а сама вдыхаю смолистый запах самоварного дымка, излучающийся из его остова неизвестно с каких времен. Как только подойду к нему, так и вдохну в себя этот неповторимый волнующий запах...

Чаадаевский самовар, как самая дорогая скульптура, выполненная талантливым мастером, стоит на моем письменном столе в Голоплеках: почерневший, весь израненный, он напоминает мне добрые старые времена живой русской деревни, когда, состязаясь по красоте, высоте и блеску со своими собратьями. жившими в каждой избе по соседству, он поил всю семью...

На его крышке отштампованы десять кружков медалей и выгравирована красивая надпись: «Фабрика Ивана Ивановича Медведева в г. Туле...»

Вам, дорогой читатель, наверное, интересно все же будет узнать, как поладили мы в конце концов с Чаадаевой?..

— Ну ладно, — говорю я ей, — вот, возьмите десятку... Не возмущайтесь, не возмущайтесь,—это

чисто символически!.. Что в наше время десятка? Пустое место... А я таким образом не останусь у вас в долгу, уеду спокойно...

— Не хошь, значит... Ну, дело твое...

— Лидия Казминишна, да примета такая есть: ничего нельзя брать у человека, не отдав ему чего-нибудь взамен, — говорю я... — Вот раз у нас в семье случай был... Предложили мне собаку. Простая дворняжка, маленькая, аккуратная, мордочка остренькая, на стрелочку похожа, на северную собаку лайку... Мы так Стрелкой ее и называли...

Вот хозяин отдает ее мне и говорит:

— Надо бы хоть двадцать копеек за нее дать, а то жить не будет...

Поискала я по карманам, мелочи не нашла и говорю ему:

— Вот, возьмите бумажку, три рубля, мелочи не нашла...

Он покачал головой в ответ, попрощался и ушел, денег не взял...

Прожила у нас Стрелка недели две... Дети души в ней не чаяли. Сынишка убежал утром в школу, а она ложилась у двери и не поднималась до тех пор, пока он не возвращался.

А однажды на работе подзывают меня к телефону, беру я трубку и слышу в ней рыдающий голос сына: «Мама, наша Стрелка под машину попала!..»

Мой рассказ убедил Чаадаеву.

— Ну ладно, давай руп... — согласилась она...

Я незаметно сунула в карман ее кофты десятирублевую бумажку, взяла за горловину мешок с самоваром и заторопилась на автобус...

Январь — июнь 1989 г., с. Тургенево

### Тетя Шура

Всем великим людям я откусил бы голову. И для меня выше Наполеона наша горничная Надя, такая кроткая, милая и изредка улыбающаяся...

В. Розанов. Уединенное

Село Тургенево давным-давно перешагнуло на правый берег речки Снежеди, раскинувшись в беспорядке по холмам. Есть здесь улицы давние, деревенские, заселенные в основном местными уроженцами. Одна из них тянется по краю оврага, другая повернула налево и уперлась в новую прямую и широкую улицу, застроенную удобными, на две семьи, кирпичными особняками для молодых колхозных семей и присланных на село специалистов.

Это и есть центральная усадьба Чернского колхоза имени Тургенева, занявшего бывшие родовые тургеньевские земли...

Пытаться расспрашивать тургеньевских старожил о местной старине почти бесполезно: уклоняются от ответа, стесняются глухоты и других недугов, говорят, что ничего не помнят за давностью лет. И почти каждый из тех, с кем заговариваешь, обязательно скажет:

— Да я что... Я вам ничего дельного не припомню... Вы сходите за речку, в старое Тургенево, спросите Александру Александровну Емельяновскую и тут же узнаете все, чем интересуетесь... Она сама местная, и родители с дедами ее испокон веку тургеньевские, Тургеньевым еще служили... Вот она все и расскажет... Лучше-то ее никто, наверно, про давнее не знает. Она хоть и не больно старая, а стало быть так надо... Грамотная она... А живет — второй дом от речки по деревне.

Последовать этому совету, полученному сразу от нескольких тургеневских старожилов, показалось разумным, и я отправилась в старое Тургенево разыскивать Александру Александровну Емельянов-скую...

По краю широкого заливного луга, тянущегося вдоль берега реки, змеится узенькая, едва протоптанная редкими путниками тропинка. У самой речки она резво взбегает на деревянный крутой мостик, во многих местах залатанный, обледенелый и опасно скользкий. Он скреплен стальным тросом, и идти по нему надо осторожно, держась за тонкие березовые слезы-перильца.

Был сильный мороз, снег тяжелыми шапками лежал на крышах, под его тяжестью сгибались почти до самой земли тоненькие деревца, как будто сама земля стремилась защитить их от холода, прижав к своей груди все живое.

Только резвой «Снежинке» и лютой мороз ни почем: бежит она — спешит вниз, накрывшись тонким слоем прозрачного льда... Видно, как перекатываются, сбиваются под ним кругами живые струйки... А приблизившись к мостику, она вдруг скидывает с себя надоевший наст, освобождается от оков, хорошеет и успокаивается... Словно в новенькое зеркало, заглядывают в нее пробегающие облака. Скупой солнечный луч вдруг выглянет из них и осветит сплошь усеянное мелкими камушками-голышами изумрудное дно.

Одолев мостик, тропинка круто соскальзывает на землю и чуть заметной темной ниточкой, потонувшей в сугробе, взбирается по берегу на крутой холм, увенчанный одинокой, сложенной из красного кирпича избой, занесенной снегом. Издали она кажется добротной и просторной. За невысоким дощатым забором выстроились сарай. На толстом пне покоится деревянная столешница, возле нее прилепилась самодельная скамья. Сиротливо глядит врытый в землю тонкий осиновый кол с вбитым в него чуть пониже человеческого глаза большим гвоздем для умывальника. К дому жметя прямоугольный металлический ящик для газовых баллонов, и от него в стену уходит металлическая трубка.

А все четыре окна по фасаду избы крест-накрест заколочены широкими досками, и давно, видно, не топтана дорожка к окованной с улицы железом двери.

Сиротой стоит над рекой покинутая хозяевами добротная крестьянская усадьба, первой встречающая путника с того берега...

Тропинка, проложенная вдоль забора, одолев бугор, выводит прямо к центру старого села и нигде не отвлекается, резко обрываясь у ступеньки некрашеного крылечка, боком прильнувшего к голубой деревянной стенке небольшой избы.

По всему чувствуется, что усадьба эта обитаема... Ограды вокруг нее нет, но воротца скотного сарая распахнуты, и возле него дымится на морозе кучка свежего коровьего навоза. За углом, доставая мордой до самой земли и деликатно вытягивая клочки сена из стожка, стояла грязно-белая заиндевшая стреноженная лошадь.

Почувствовав приближение человека, она прекратила хрустко жевать и, кидая столбы белого пара из ноздрей, сделала несколько коротких скачков навстречу, высоко вскидывая связанные веревкой передние ноги. Добравшись таким образом почти до угла дома, она вдруг круто взбрыкнула и торопливо повернула назад, запрыгав по направлению к огороду.

Напугал ее малыш лет трех. Он неожиданно выскочил из дома, стремительно слетел с крыльца и погнался за лошадью, угрожающе размахивая палкой. Длинные полы настежь распахнутого пальто хлестали его по ногам, обутым в большие не по росту резиновые сапоги. Короткая рубашонка вылезла





*Александра Александровна Емельяновская — тетя Шура» Aleksandra Aleksandrovna Emelianovskaia — «Aunt Shura»*

из штанишек и вздулась колоколом на груди. А он, грозно размахивая своим самодельным оружием, бежал за скачущей лошастью и выкрикивал вслед ей такие словечки, каких при всем желании не найдешь ни в одном даже самом обширном словаре:

— Но-о... стельва косяя!.. Кульва... бестолковая, куда плесь, тваль!.. Я тебе, сылюха!..

Между тем на крыльце появилась средних лет женщина, одетая в серую юбку, трикотажный джемпер с короткими рукавами и резиновые садовые калоши. Она, по-видимому, только что поднялась из-за обеденного стола, так как еще продолжала что-то жевать... А я уже гадала, кем могла бы быть она этому мужичку с ноготок...

— Вы не к нам? — спросила она, приглядываясь ко мне.

— Нет, я к Александре Александровне Емельяновской... Покажете мне ее дом?

— А вон она... — Женщина спустилась с крыльца и вышла на тропинку, проложенную вдоль деревни от видневшейся невдалеке башенки водоразборной колонки. — Вон ее терраска, отсюда видно... Пряма на нее и держите...

Поблагодарив ее, я направилась вдоль деревни к показанному мне дому.

Миновав три-четыре усадьбы, стоявшие в один ряд, остановилась перед деревянной избой, сложенной из кирпича и слегка оштукатуренной. Со стороны улицы она вместе с небольшой верандой была обнесена забором из штакетника.

Поглядев на замок, навешенный на дверь, я разочарованно вздохнула: хозяйки, конечно, не было дома...

Сам домик был небольшой. За палисадником стояла летняя дачка с белыми занавесками на окнах. Между сенцами и сараем был виден протоптанный проход к саду, обнесенному тыном. На свободе гуляли

белые куры-несушки... От дома к сараю, саду и деревне вели свежие следы. Вероятно, хозяйка находилась где-то поблизости... Но как узнать, где она теперь? И сколько придется ждать ее прихода?.. Да и придет ли вообще? Не лучше ли повернуть назад?..

— Заходите, миленькая, заходите, у меня не заперто, замок так только накинут, — почти одновременно с характерным скрипом валенок по сухому сыпучему снегу услышала я сзади себя ласковый женский голос.

Это, видимо, приметив меня на деревне, следом поспешила хозяйка.

— Вы ко мне?

— Вы Александра Александровна?

— Да, я...

— Тогда я к вам.

— Вот и хорошо... Счас я отворю калитку... — неторопливо отодвигая задвижку, говорит она. — Вот и замок счас тоже снимем... Заходите, заходите, — пропускает она меня впереди себя. — Счас я дверь отворю... Вот в сени... В избу...

Застекленная верандочка, деревянные сенцы и все внутреннее убранство домика Александры Александровны Емельяновской поражали полнейшим порядком, совсем не типичным для деревенской глубинки. На веранде стоял обеденный, накрытый пестрой клеенкой столик для летнего времени в окружении крашеных скамеек. В углу ютился отмытый до белизны эмалированный тазик, а над ним на пере-кладке висел и сверкал медным боком старый умывальник. В сенцах стояла газовая плита на четыре конфорки, а на столе выстроились в ряд нарядные опрятные маленькие и большие кастрюльки...

Отворив клеенчатую дверь в дом, хозяйка вошла в комнату первой, и пока я перешагивала порог и с любопытством оглядывалась, она уже успела снять с грубки и протянула мне черные теплые валенки, говоря: «Натё-ка, миленькая, надевайте скорей, а то, я вижу, вы не наша, издалека идёте...»

Издалека ли, — а хоть бы даже и не издалека... Где теперь, в какой стороне посчастливилось бы мне, горожанке, разув нахолодавшие на морозе сапоги, сунуть остывшие ноги прямо в мягкие, просторные деревенские валенки, давно гревшиеся на печи и ожидавшие на сей раз именно меня?..

А хозяйка уже определила на место мой кожаный задубевший на морозе дипломат и держала протянутыми в мою сторону руки, готовясь принять шубу. А сама приговаривала:

— Вот и хорошо... Счас обедать станем, чай пить из самовара... А то одной-то ни есть, ни пить не хочется... Вот и хорошо-то... миленькая...

Последнее слово, уже несколько раз обращенное ею ко мне вместо имени, которого она и не спрашивала, просто покорило меня... На душе становилось все теплей и покойней и уже мелькала мысль, а не поселиться ли мне на время пребывания в селе Тургеневе в этом чистом, уютном домике...

Пока хозяйка хлопотала с обедом, я незаметно осматривала ее жилище. Его составляла одна не очень просторная комната, занимавшая собою весь дом. Небольшой передний угол слева был отгорожен встроенной в ее середину печкой-грубкой, с одной стороны, а справа был заставлен высоким шифоньером с зеркальной дверцей. Широкая и высокая стенка печи и шифоньер составляли естественную перегородку и отгораживали ту часть дома, которая служила хозяйке спальней.

А от грубки к русской печи, занявшей угол и стену, примыкающую к сенцам, протянуто было настоящее соединение... Я в первый раз увидела эту достопримечательность старых деревенских домов, о которой много слышала. С любопытством я разглядывала ее, вспоминая колоритное описание печного соединения, сообщенного мне крестьянкой из деревни Губарево:

— Для печек соединения делали. От печки проходили к грубке горшки без донышков. Раньше плиток не было. Формы, как узкое ведро. От печки дожили до грубки доску, на эту доску эти горшки плотно так друг к другу. Они становились теплые, как труба, и тепло давали в доме...

Заметив, что я внимательно разглядываю это сооружение для утепления дома, хозяйка говорит:

— Это у меня еще давнишнее, я ничего не меняла. По ним из грубки дым теплый к печи идет и в доме тепло даст, зимой очень даже хорошо...

Она взяла за ручки блестящий никелированный самовар и унесла его в сенцы. А я принялась разглядывать и остальную обстановку в тайной надежде приметить еще что-нибудь из местной старины...

И заметила. Справа от двери на полу возле кухонного стола стояла украшенная резьбой деревянная прялка с надетым на штырек пучком волны, а на лавке рядом лежал и готовый клубок серых шерстяных ниток...

В остальном убранство жилища было вполне современным: к углу перегородки, составленной из стены грубки<sup>3</sup> и шифоньера, примыкал круглый стол, накрытый вязаной скатертью. Вокруг него выстроились стулья с высокими спинками, закрытые полотняными чехлами. По двум стенам расположились просторные удобные диваны, а между ними на тумбочке светился и экран телевизора, заставленного сверху множеством фотографических карточек, с которых глядели на меня взрослые и детские, мужские и женские лица, чем-то напоминавшие хозяйку дома.

А между тем она управлялась с делами, сходила в сенцы, принесла оттуда kloпочущий самовар, и дом наполнился его живой разудалой песней. Сразу потеплело. Стекла в окнах подернулись налетом белого пара. У нас завязался разговор.

— А что, Александра Александровна, печку русскую вы часто топите? — интересуюсь я.

— Да нет... Совсем почти не топлю, вон все грубку больше... Много ли мне одной надо... Вот раньше семья большая была, тогда каждый день топили, и на печке дети спали, а теперь... Только на выходной кто приедет из Тулы или из Черни, и то не всякий раз...

— Александра Александровна, а прялка-то у вас... старинная... наверное, еще от бабушки осталась?

— Да нет... Дочка в Черни на базаре купила, привезла, уж давно это было...

Помолчав, пояснила:

— Война ведь здесь была... немец... Ничего почти не сохранилось, так кой-что...

— Александра Александровна...

Но тут она оборвала мой следующий вопрос словами:

— Да вы, миленькая, язык-то будет ломать... Больно имя-то у меня длинное. Зовите меня просто: тетя Шура.

— Да неловко как-то... Ведь мы с вами едва знакомы...

— Ну что ж... познакомимся... Да вы не стесняйтесь, меня почти все так зовут.

Мы проговорили с тетей Шурой до самого вечера. А когда совсем стемнело и настала пора прощаться, она вдруг стала оставлять меня...

— Не все вам равно, миленькая, где ночевать-то?... Все одно не дома... Где вы остановились-то?... Ну, так она ведь знает, к кому вы пошли, догадается, что у меня заночевали...

Рассуждая так, тетя Шура слила в глиняную миску-маkitру остывшую воду из самовара, сняла с горячей грубки давно гневно фыркающий чайник и кипятком из него вылила в самовар.

— С самоваром-то зимой трудно управляться, — проговорила она, как бы извиняясь перед ним. — Вот летом — другое дело: на улицу вынесешь, уголька насыплешь, сверху коры березовой сухенькой, а то шишечек еловых... Трубу приладишь, запалишь, миг один — и чай готов! Да редко все-то собираемся вместе, он, самовар-то, большей частью и не нужен бывает, чайником обходимся... Да и самоваров-то теперь... На деревне у меня у одной угольный остался, с трубой...

## *Тетя Шура*

А бывало-то, миленькая, красота-то какая... Уж я-то этих самоваров нагладелася вдоволь. Папа- то мой, Александр-то Семеныч, да его батюшка, мой то есть дедушка Семен Алексеич Орловы — одни на всю округу лудильщики были, и мы, дети, все им в этом деле помогали. Жили бедно... Ни минуточки без работы не сидели...

Вот принесут худые самовары к нам: из нашей деревни все носили, из Бежин луга, Никулина, Васильевского-Бессонова, Лутовиновой, — так, миленькая, звалась еще Стекольная Слободка, — из Хозиковой, Левашинной... Даже из Колотовки, бывало, носили, за три версты...

А какие самовары-то были!.. Большие, угольные, все как один красной меди... Красоты расчудесной... С формой обыкновенной, как простое ведро... Потом рюмкой... И пузатые — выпуклые, низенькие... Только три формы было в этих краях...

Бывало, отец крикнет: «Шурка, ну-ка иди, пряха!» И стою кручу прялку. А от нее труба идет к горну, от крутящейся прялки горно раздувается, а там лежат его паяльники и греются...

Потом, когда отец залудит самовары, начиналась уж просто наша, детей, работа... Кирпичу натрем, сперва гущей от кваса залепим густо весь самовар, — она хорошо зелень и грязь отъедает. Вот протрем от гущи и начинаем уж начищать по-настоящему... Трешь — трешь, трешь — трешь самовар-то, прям до ломоты в руках. Бывало, что и горячий станет, не дотронуться. Зато какая же красота потом глядеть на них!

Вот составим все самовары в один ряд, они на солнце блестят, смотрятся, словно в зеркало, по очереди в каждый... Потом что еще надумаешь... Палец макаешь в кирпич и ставишь метки, — он становится яблоками...

А бывало бабушка скажет: «Девки, завтра в церкву, самовар давайте чистьте!..»

Придем из церкви, самовар на столе жаром горит, пыхтит, на столе лепешки аржаные напеченные, громадная миска творогу со сметаной и яйцами намешанная... Творог-то в печке зарумянится... Напьемся чаю — и отдыхать... Ох, хорошо!..

В вопросах да воспоминаниях тихий зимний вечер в Тургеневе растянулся до глубокой ночи. И я порадовалась своему верному решению заночевать в этом гостеприимном доме. А в душе его приветливой хозяйки всколыхнулись воспоминания о прошлом, которым, казалось, теперь не будет и конца...

— Маму-то мою звали Ольга Пятровна Нянина, она взядена была в Тургенево из Литвиновой, к Троицкому туда... Похоронена, где Стрелица... А папа-то родом отсюдова, тургеньевский...

Семья была большая. У меня было пять сестер и один брат. Не то, что сейчас... У меня у самой выросли пять сыновей и одна дочь, а у детей моих у двух совсем нет детей, а у четырех: у одного сына — мальчик, а у второго девочка и мальчик, у третьего две девочки и у дочки два сына — всего семь у меня внуков... Это от шести-то детей... — сетует на судьбу тетя Шура.

Ну вот... Жили мы, к крестьянству как-то не относились, не знакомились с этими речами... Быва- лоча мы на терраску выйдем и на них смотрим: они карагод водят, пляшут... Мы с ними не занимались, мы (тетя Шура доверительно пригибает голову поближе ко мне и понижает голос) были дворовые... Вроде как маленькие дворянчики были... Мой дед, отец, бабушка, мама — все на господ ходили работать.

Жили мы чисто. Домик был деревяненькай. Земли у нас совсем мало было, только что садик, да под картошку... Да так немного еще... Атак вся жизнь возле господ и шла... А скокоТургеневым-то служили?.. Знаете, скоко... По-моему, как только появился Тургенев, что ли...

Я еще маленькая была, помню, вот здесь, где сейчас школа-десятилетка, стоял баринов дом. И мы гулять ходили. Какие были богатые очень клумбы, знаете, какие были цветы... Маргаридочки — красненькие и голубенькие, и беленькие низкорослые были. Клумбы и круглые, и сердечком, и треугольничком... Выход из барского дома был вот как сейчас...

Дом был двухэтажный, на холме, в полтора этажа, размер, как этот. Школу-то построили на



господском доме, на старом фундаменте... На выходе как всходишь — приступочки, и на этой стороне, и на другой такие возвышения, и на них лежали два льва. Оттенка серого, такие ощеренные были пасти- то, клыки даже видны были. Лапы прям вот так растопыренные, — показывает тетя Шура, разводя в стороны руки. — Лапы толстые, когти тоже вот так растопыренные. Зады так приподняты...

Разгромили его, этот дом, я не видела, но слышала: барский дом, гыт, порушили. Он сгорел... Рядом домик сохранился. Да здесь много было помещений... Афиши-то повесили... Но я этого дома не помню. Говорили, была бумажная фабрика... (Дом Тургеневых в селе Тургенево разграбили и сожгли местные крестьяне в 1919-м году. Под понятием «афиша» А. А. Емельяновская имеет в виду мемориальную доску, укрепленную на бывшем здании бумажной фабрики Тургеневых в селе Тургенево. Полный текст ее приведен на страницах предыдущего очерка. — *Прим. авт.*).

— Ну вот... Как жили-то мы... Что в господском доме, какие вещи были, я не помню, я тогда маленькая была, а только помню, что очень красиво было и богато, и цветы, и зелени много...

Вот к празднику мама всем нам платица настирает, развесит на дворе, вот они высохнут, она утюг угольный разожжет, нагладит, расчешет нас, косички, бантики завяжет и наказывает: счас пойдем барыню поздравлять... Чтоб все было, как надо, без баловства...

И вот ведет она нас в усадьбу, а мы-то тоже идем, не шелохнемся, переступаем ботиночками осторожно, чтоб не упасть с горки да не замараться невзначай...

Ну вот... По мостику, по плотине-то перейдем речку на ту сторону, да по кусточкам, по дорожке, да дорожка-то вся песочком желтеньким чистеньким присыпана, да мимо клумбочек, цветочков, да взойдем на приступочки и боком, боком мимо тех зверей ощеренных... Мы маленькие глупые были, все чего- то боялися их... А там в дом взойдем — красота... Я, бывало, как увижу барыню, так испугаюсь... Вся дрожу, ничего не помню, что было... Все всё смеялися надо мной... Теперь ни лиц, ничего не помню... А побольше стала, сама к маме в баринов дом одна бегать начала... ничего...

Крестьяне-то нас не больно так что любили... У них-то жизнь похуже нашей была. Говорили, больно трудная... А у нас испокон веку полегше...

Последнюю фразу тетя Шура произнесла, вновь приглушив голос до шепота... Будто что-то недозволенное поверяла она мне о своих трудолюбивых и старательных предках, бывших крепостными слугами Тургеневых и их наследников... А ведь о них так много хорошего и с таким глубоким уважением рассказывают местные старожилы...

И я вдруг поняла: Александра Александровна Емельяновская, внучка тургеньевских крепостных слуг, не имела ни малейшего представления о многотрудной, бесправной во многих поколениях участи своих предков. Мало знала она и о молодых годах своих родителей, по сложившейся традиции продолжавших служить наследникам Тургеневых. И лишь в ее детском сознании отложились на всю жизнь тепло отцовского приветливого дома да ласковые руки и голос любимой матери...

И я решила рассказать ей о подлинном положении на Руси в прошлом крестьян, оторванных от земледелия.

Слушательницей тетя Шура оказалась отменной. Слушая, она оставляла начатую работу, присаживалась на краешек одного и того же нарядного стула, как примерная школьница, складывала на столе руки и внимательно, глядя мне прямо в глаза, не шелохнувшись, ловила каждое слово...

А принимаясь сама рассказывать, непременно поднималась с места и бралась за какое-нибудь дело: неторопливо передвигалась по дому, что-нибудь перекладывая, переливая, подогревая, подкладывая дров в печку... Делала все медленно, останавливаясь и задумываясь, словно каждый раз вспоминая то далекое время и тех, уже ушедших... А я не могла оторвать взгляд от ее лица и стала любоваться плавными движениями ее больших рук и поминутно менявшимся выражением глаз...

Волосы у тети Шуры белоснежные, аккуратно зачесанные. Она круглолица, миловидна, смугла,

на вид строга, а временами, когда внимательно слушает, даже сурова. У нее небольшой, такой откровенно русский курносый нос. Губы плотно сжаты. А светло-серые глаза то искрятся нежностью, лучатся любопытством, а то улыбаются...

Сегодня от меня она впервые слышит о горькой участи своих предков, русских дворовых...

На Руси целый слой коренных земледельцев был издавна оторван от земли. Помещики забирали крестьян с юности к себе в лакеи, денщики, кучера, повара, камердинеры, а женщин и девушек — в кормилицы, няньки, горничные, кухарки, прачки... Они всю жизнь посвящали заботам о своих хозяевах, и об их тяжелой доле было сложено много горестных песен, которые не могут не волновать нас и сейчас:

Во лесу, лесу дремучем Тут поет,  
поет соловушка,  
Тут кукует горька кукушечка,  
Да никто ее голоса не слушает, —  
Одна слушает сиротинушка,  
Сиротинушка, сenna девушка:  
«Государыня родная матушка!  
Выкупи из неволюшки,  
Из неволюшки — дому барского,  
Пристоялися резвы ноженьки,  
Примахалися белы рученьки,  
Качаючи дитя барского...»  
«Уж ты, милое мое дитятко!  
Золотой казны у нас нет с тобой,  
Ты терпи, горя не сказывай,  
Тебе стерпится, тебе слюбится.  
Носи платья — не складывай,  
Износя платьице, сложить можно, —  
Стерпя горе, сказать можно...»

Прочитав тете Шура песню, вижу, что она сидит на табурете возле кухонного стола, сложив руки на коленях...

Изменила на этот раз своему заведенному порядку тетя Шура... На столе сиротливо стоит большая эмалированная кастрюля для теста. И баночка с закваской, на теплом молоке и сахаре выдержанной, для замеса готовой, позабыта ею... К кастрюле прислонился кулек с пшеничной мукой, из которого только раз она успела взять пригоршню и высыпать в кастрюлю.

— Что же, миленькая... Как же это?.. А ведь думалось-то, — в господском доме, да в чистоте, да в уюте...

Конечно же... Что еще могло остаться живым в памяти крестьянки, как не расцвеченное ярким ослепительным светом да заботой любящей матери золотое детство?.. Разве посетовали дед с бабушкой да отец с матерью — эти молчаливые, строгие, работающие люди, — пожаловались при детях на свою злую долю хоть раз, — на жизнь, прошедшую в чужих людях?.. Вот поэтому-то, видимо, и запомнилось их любимой внучке и дочери лишь светлое, радостное...

— Тетя Шура, еще слушать будете?.. Вот здесь есть еще песня — о дворовых и крестьянах...

— Как же, миленькая, как же... Конечно, буду... Интересно же...

Она всем телом подается вперед, заглядывает мне в глаза, и вся — внимание...

— Ох, хорошо житье лакеям На  
боярском на дворе!  
Они пашенки не пашут

И оброка не дают...  
И оброка не дают,  
Косы в руки не берут.  
— Ах вы, глупые крестьяне, Посудите-  
ка вы сами!  
Куда пошлют — беги скоро. Чтобы  
дело было споро. Засмотрелся,  
застоялся,  
С сударушкой повидался, Оглянулся  
назад —  
Сзади палочкой грозят. Воротился  
домой — Кафтанишка с плеч долой. На  
конюшню ведут,  
Сзади палочку несут...

— Вот ведь... Завидовали, значит, нам крестьяне-то... А и нечему!.. Не лучше жили-то... Вот, говорили, — у Тургенева мать-то больно строга была, боялися ее очень, — вспоминает тетя Шура рассказы старых сельчан. — У нас-то в Тургеневе другие песни пели, про господ не пели... Есть еще что в вашей-то книжечке?..

Я опять полистала странички и нашла песню крепостных дворовых крестьян, переключавшуюся с ее воспоминаниями о жестокой барыне:

Злодей ты — наша барыня,  
Сжила всю свою вотчину.  
Она молодых-то ребят Во солдаты  
отдает,  
А середовых мужиков Все в  
винокурнички,  
Удалых молодцов На фабрики,  
Красных девушек Все в батрачушки.  
Оставляет она сиротинками Дробных  
детушек, малолетушек,  
Старым-то она не дает отдохнуть,  
Старикам не дает за двором приглянуть,  
Она гонит их на работушку,  
На работушку ну все тяжелую,  
На тяжелую, подневольную,  
Подневольную да пригонную...

Мы долго, долго молчали...

— Еще, говорили, мать-то его больно обижала тургеневских мужиков и баб... А он-то, говорили, тоже обижался на нее, ругал ее за это... Правду говорят, будто она и своих детей била?..

Тетя Шура не знает, что великий русский писатель Иван Сергеевич Тургенев уже давно рассказал правду о крестьянской горькой доле в своих рассказах и романах.

Детские годы в Спасском-Лутовинове... Милый, просторный, неуклюжий родительский дом... Он стоит на вершине пологого холма почти в центре молодого сада, раскинувшегося по всему его длинному склону, и опоясывает полукругом роскошный пестрый цветник. И глядит не наглядится на взметнувшуюся в высь к самому небу белоснежную стройную красавицу-церковь...

Слепит глаза и щедро пригревает ласковое утреннее солнышко. Яркие пышные головки цветов

уже облепили пчелы. Они медленно ползают по лепесткам, перелетают с цветка на цветок и жужжат неумолчно. Птичий гомон разносится по саду. Молодые зеленеющие липы, розовея в лучах утреннего солнца, выстроились в ряды и шепчутся вослед...

Этот весенний радостный свет словно обещает вечный праздник... Молодая глянцевая зелень деревьев и строго прочерченная меж ними тропинка-аллея, бегущая от дома вниз до самого берега большого спасского пруда с его прозрачной безмятежной гладью, — как знакомо и близко все это, как радует душу и сердце!

Но что за глухой и надрывный крик вплетается в музыку сада, нарушая птичий гомон и вкрадчивый шелест листвы?.. Он доносится сюда из той части усадьбы, где расположились хозяйственный двор с конюшнями, каретным сараем, службами... Неужели маменька уже успела распорядиться о наказании, и для кого-то из неугодивших ей с утра дворовых слуг это доброе утро, обещавшее такой прелестный день, уже успело стать утром мук и унижений?!

На дворе вмиг становится мрачно... Сад кажется темным и угрюмым, а лица людей — глубоко несчастными...

Бегут годы... Но даже вдали от родины нет-нет да и всплывут в памяти нерадостные впечатления детства, когда возьмешь в руки долгожданное письмо с родины, и вслед за клятвенными заверениями о материнской любви и нежности вдруг остановится взор на строчках, от которых выступит холодный пот на лбу...

«Ту почту, когда вы оба пропустите, я непременно Николашку (подчеркнуто в тексте — *прим, авт.*) высеку. — Жаль мне этого, а он прехорошенький и премиленький мальчик; и я им занимаюсь, он здоров и хорошо учится. Что делать, бедный мальчик будет терпеть <...>. Смотрите же, не доводите меня до такой несправедливости. Теперь я, кажется, на этот счет могу быть покойна...»<sup>2</sup>.

Писать нужно было матушке аккуратно, иначе страдали дворовые... Бесправные маленькие крепостные Николашки, Сеньки, Ваньки, оторванные от родителей и родного дома, со временем привыкали к подневольному положению и по первому требованию господ позднее и семьи свои покидали...

«Так как все мои люди у тебя перебивались в камердинерах. 1-й Андрюшка, 2-й Михаила, 3-й Сенька, 4-й Алексашка Серебряков, 5-й Алексашка Кириллин, 6-й Порфирий, 7-й Митька (...). Итак, извини, что Егора не могу тебе дать, час от часу он мне нужен становится — он и лакей, и садовник, и фортепьян настройщик, и все. Теперь учится быть и полотером, и поваром... Теперь Гаврила отпущен к жене, но! — когда он возвратится, я его пошлю в Петербург на место Кулика»<sup>3</sup>, — писала Варвара Петровна Ивану Сергеевичу 29-го мая 1844-го года.

Жестокая действительность, окружавшая юного Тургенева в Спасском, отразилась, как известно, во многих его рассказах и романах: безжалостную Варвару Петровну напоминает своими поступками главная героиня одной из случайно уцелевших глав уничтоженного писателем в рукописи романа «Два поколения» Глафиры Петровна Гагина:

«Достань заметки барыни, — приказывает она своему секретарю Левону. — Прочти мне, что я тебе вчера продиктовала...

Левон читает:

В-шестых: Сказать матерям отпущенных по оброку актрис, чтобы они к ним написали и советовали бы им вскорости откупиться; а то-де вас вернут и здесь в работу определят. Мы-де вас предворяем от себя». — Отметка: «Актрисиним матерям сообщено...»

Напоминает своими чертами мать писателя и надменная тетушка Лаврецкого (роман «Дворянское гнездо»), и бабушка в повести «Пунин и Бабурин», и многие другие образы помещиц-крепостниц, талантливо воссозданные И. С. Тургеневым.

А вышеприведенный отрывок из письма Варвары Петровны о незаменимости в господском доме и усадьбе крепостного дворового, способного к любой работе человека Егора, явно повлиял на выбор



персонажей в рассказе «Льгов» («Записки охотника»). Речь в нем идет о дворовом по имени Кузьма, которого барыне было угодно переименовать в Антона, а потом и вовсе лишить имени. Его звали «рыболовом» по прозвищу «Сучок», был он и кучером, и поваром, и в «кофишенки пожалован был», то есть «при буфете состоял» и заведовал в барском доме кофе и чаем. Выступал он и «актером (...) на кяatre играл». А затем в наказание за побег брата снова был разжалован в повара...

У отца своей первой барыни «тоже в разных должностях состоял: сперва в казачках находился, фалетором был, садовником, а то и доезжачим...»

Неугодного слугу разрешалось продать, — и купить более покладистого... Двадцатилетнему Ивану Сергеевичу Варвара Петровна сообщала однажды о том, что покупает опытного егеря для охоты и отдает ему для обучения охотничьему делу дворового мальчика Алексашку...<sup>4</sup>

В другом письме она пускается в рассуждения о том, насколько выгодно, подготовив капеллу из крепостных, потом отдать их опять по оброку. «А там выкупятся, убытку не будет. (Любовники выкупят)».<sup>5</sup>

И все купли-продажи дворовых крестьян отрывали их от семей, иногда пожизненно. Отправить главу семьи по оброку на длительный срок, приказать сопровождать себя за границу дворовой служанке, матери, оставив в деревне на чужих руках малолетних детей — было тогда обычным делом для помещика-крепостника... «Милости» господ градом сыпались на головы их бесправных холопов... И не было на них управы.

И вот однажды в пестрой веренице тургеневских героев появляется новое лицо — «г-н Зверков» — и подробно рассказывает о тех самых «милостях», которыми жалованы были зачастую помещиками-крепостниками их верные слуги:

«Позвольте мне вам рассказать, например, один маленький анекдотец, — предлагает он автору, — вас это может заинтересовать <...>. Вы ведь знаете, что у меня за жена; кажется, женщину добрее ее найти трудно, согласитесь сами. Горничным ее девушкам не житье, — просто рай воочию совершается... Но моя жена положила себе за правило: замужних горничных не держать. Оно и точно не годится: пойдут дети, то, се, — ну, где тут горничной присмотреть за барыней как следует, наблюдать за ее привычками: ей уж не до того, у ней уж не то на уме. Надо по человечеству судить. Вот-с проезжаем мы раз через нашу деревню, лет тому будет — как бы вам сказать, не солгать, — лет пятнадцать. Смотрим, у старосты девочка, дочь, прехорошенькая; такое даже, знаете, подобострастное что-то в манерах. Жена моя и говорит мне: «Коко, (...) возьмем эту девочку в Петербург; она мне нравится, Коко...» Я говорю: «Возьмем, с удовольствием». Староста, разумеется, нам в ноги; он такого счастья, вы понимаете, и ожидать не мог... Ну, девочка, конечно, поплакала сдуру. Оно действительно жутко сначала: родительский дом... вообще... удивительного тут ничего нет. Однако она скоро к нам привыкла; сперва ее отдали в девичью; учили ее, конечно. Что же вы думаете?.., девочка оказывает удивительные успехи; жена моя просто к ней пристращивается, жалует ее, наконец, помимо других, в горничные к своей особе... замечайте!.. И надо было отдать ей справедливость: не было еще такой горничной у моей жены, решительно не было; услужлива, скромна, послушна — просто все что требуется. Зато уж и жена ее даже, признаться, слишком баловала; одевала отлично, кормила с господского стола, чаем поила... ну, что только можно себе представить! Вот этак она лет десять у моей жены служила...»

А окончился этот «анекдотец» г-на Зверкова весьма печально. Арина дерзнула просить у господ позволения выйти замуж, чем вызвала искреннее изумление Зверкова и неумолимый гнев его супруги: «Да ты знаешь, дура, что у барыни другой горничной нету?»

«Я прогнал Арину (...) приказал ее остричь, одеть в затрапез и сослать в деревню», — заключает Зверков свой «анекдотец»...

Но иногда владельцы крепостных душ могли быть и милостивы. В 1838-м году Варвара Петровна Тургенева письмом из Спасского-Лутовинова сообщала Ивану Сергеевичу в Берлин:

«Нынче я позволила жениться трем женихам, которые мне принесли гусей: 1-й Костюшка, 2-й (не-разборчиво—Л. И.), 3-й старик Андрюшка, портной...»<sup>6</sup>.

Еще в конце прошлого века в селе Спасское-Лутовиново «От колодца (Варнавицкий) к югу стояла маленькая усадьба, принадлежавшая Порфирию Тимофеевичу Кудряшову, слуге Ивана Сергеевича, бывшему с Тургеневым в Берлине».<sup>7</sup> В то время как юный Иван Тургенев слушал лекции по философии в Берлинском университете, дворовый человек его матери Порфирий Кудряшов, не теряя впустую времени, там же слушал лекции по медицине. И стал врачом в имении Тургеневых. Он считался всегда человеком вполне надежным, честным, трезвым, добросовестным и исполнительным.

Иван Сергеевич обеспечил семью Кудряшовых, подарив Порфирию землю, а «избу», или денег на избу» еще ранее подарила матери Порфирия Варвара Петровна Тургенева. А умирая, она думала не только о сыновьях, но и о верных своих слугах, посвятивших жизнь семье Тургеневых. Своей воспитаннице Вареньке она продиктовала следующие строки, обращенные к сыновьям:

«Милые мои дети, Николай и Иван! Приказываю вам по смерти моей выдать вольную Полякову и всему его семейству и выдать 1000 рублей награждения; а также доктору моему Порфирию Тимофееву вольную и 500 рублей награждения.

Любящая вас мать Варвара Тургенева».

Жил в имении Тургеневых и талантливый художник, и дворовый человек Федор Бизюкин, запечатлевший в своих «Воспоминаниях» Спасское-Лутовиново и его обитателей во времена Варвары Петровны, и многие другие крепостные дворовые люди, сроднившиеся с семьей Тургеневых и пользовавшиеся особым расположением.

Иван Сергеевич позаботился обо всех бывших слугах семьи, подарив им и продав по сходной цене земли:

«Прошу Вас распорядиться о выдаче на законном основании купчих крепостей на уступленные и проданные участки земли из имений моих в количестве Вам известном: Орловской губернии, Мценского уезда, при селе Спасском, Лутовиново тож, — зубному врачу Порфирию Тимофееву Кудряшову; отставному унтер-офицеру Василию Афанасьеву Афанасьеву; кронштадскому мещанину Захару Федорову Балашову, а бывшим дворовым людям:

Егору Антонову Гусакову, Калистрату (он же Петр) Михайлову Перегримову;

Василию Николаеву Серебрякову (он же Калмык);

Михайлу Дмитриеву Хрусталеву (...) — писал он в доверенности на имя управляющего Кишин-ского 23 апреля 1875 года.<sup>8</sup>

Проснулась я, когда за окном было еще совсем темно. Над кухонным столом тускло светила электрическая лампочка, заботливо прикрытая колпачком, скрученным из газеты. Небольшой кружок света падал на тетю Шуру. Засучив по самый локоть рукава вязаной кофты, она стояла у кухонного стола и катала по присыпанной мукой клеенке большой белый рыхлый ком, затем начинала перекачивать его от руки к руке, перебрасывала с руки на руку и пошлепывала по нему ладошкой...

— Спите, спите, миленькая, сейчас только пять часов... Я-то поднялась — тесто подошло... Оно ждать не станет, — говорила она, поглядывая на меня и, оторвавшись от дела, осторожно поправила колпачок на лампочке, примерившись так, чтобы свет мне не мешал. — Спите... Спекутся пирожки, я разбужу вас...

На стене тикали круглые настенные часы. От стола доносился осторожный шорох... Под эти мирные, мерные звуки я незаметно опять уснула...

Тепловой волной далекого света, чем-то давно позабытым, из далекого-далекого прошлого пахнуло на меня, когда сон окончательно улетучился...







Тусклый свет уже струился через окно с улицы. Было слышно, как в печке потрескивают березовые поленья. На полу перед поддувалом прыгали зайчиками комочки света от огня... Чайник на плите снова пел свою протяжную песню... В доме было тепло и вкусно пахло горячими пирогами... Совсем как в детстве, в родной отцовской деревне...

Бывало, проснешься, вылезать из теплой перины ой как не хочется!.. Долго еще лежишь, нежишься... И почти наяву осязаешь, как тебя греют сразу два солнца: луч со двора, пробившийся сквозь окно, да неповторимый деревенский печной дух...

У русской печи возится с чугунами, ловко поддевая их ухватом, моя милая незабвенная бабушка Матрена Никифоровна... Шаркает ногами в мягких валенках по полу, скребет потихоньку заслонкой... Еще не старая, статная, степенная. Глаза большие, синие, глубокие, словно бездонные карельские озера...

И фамилия ее девичья была — Карелякова...

— Ну-у... проснулась? Вставай-ка, я тебе сахару наварила, угощать буду... Сла-адкий... — зовет она меня, вытаскивая ухватом из печи и неся к столу большой чугунок. Ставит его на стол, тряпкой крышку поддевает, и всю избу вмиг застилает валяющий из него горячий сладкий пар... А я уже тут... Заглядываю в чугунок и... разочарованно снижаю: он полон лишь малиновой крупной, на вид такой аппетитной, распаренной свеклой...

— Что, миленькая, проснулись? Теперь вставайте, пироги на столе. — Придерживая ногой распахнутую дверь и впуская в дом немного холода из сеней, в комнату входит тетя Шура, бережно неся на разведенных в стороны руках противень с пирогами. — Последний вот... С капусткой эти, горяченькие... Как раз к чаю поспели... Счас опять чай станем пить, и я вам еще чего про Тургеневу расскажу...

Род Тургеневых корнями уходит в Золотую орду. Основатель дворянского поместья в селе Тургенево родной дед Ивана Сергеевича «из дворян лейб-гвардии отставной Прапорщик Николай Алексеев сын Тургенев», подавая прошение в Тульское депутатское дворянское собрание о выдаче ему грамоты на дворянство предков, писал:

«<...> предок мой мурза — Лев Тургенев во время княжения великого князя Василия Ивановича Темного, выехал в московское государство с Золотой орды, и крестился в царствующем граде Москве, и во святом крещении наречено ему имя «Иоанн».

А надпись на гербе рода Тургеневых гласит:

«Потомки сего Льва Российскому престолу служили воеводами, стольниками и в иных чинах жалованы были от государей поместьями».

Приводя же поколенную роспись своего рода, Николай Алексеевич Тургенев сообщает и свой послужной список, перечисляя принадлежавшие ему имения, среди которых значится и село Тургенево:

«— 9-е. — Я Николай в военную службу вступил в 1766-м в артиллерию, в 1773-м переведен в лейб- гвардии Семеновский полк в фурыеры, а 1777-го января с 1-го сержантом, в 1780-м годах генваря 1-го числ. от военной службы отставлен вовсе на свое пропитание, и всемилоостивейше блаженной и вечно достойной от Государыни Императрицы Екатерины Вторья пожалован гвардии прапорщиком, и того же года октября 31-го дня за собственным Ея Величества подписанием и с приложением государственной печати дан мне абшид, который у сего прилагается.

— 10-е. — Что из вышеписанного дедовского имения родитель мой в 1775-м село Сергиевское Юшково тож отдели прошением, и допросом в вотчинной коллегии утвердил сестре моей девице, которая потом была вдовствующая бригадирша и умре, Екатерине Стремоуховой, а остальным предоставлен по смерти своей владеть мне, и я владею вышеписанным селом Белями и деревнею Озерною, продал их без остатку. — И имею ныне в владении своем Чернской округи сельце Вязовне, а ныне селе Тургенево

Старинное дворянское гнездо с центром в селе Тургенево основал дед Ивана Сергеевича Тургенева Николай Алексеевич Тургенев в самом начале прошлого века. Крестьян из своей родовой вотчины деревни Вязовны он переселил туда, где стоит теперь каменный домик тети Шуры, а усадьбу свою обустроил на другом берегу речки Снежеди, на холме за заливным лугом. Дом по его желанию был выстроен деревянный, в полтора этажа, и на реку смотрели окна в два порядка, друг над другом...

Невдалеке от дома были сложены конюшни из белого известняка, устроен просторный каретный сарай с широкими воротами.

Но самым великолепным памятником ему еще при жизни стала новенькая, торжественно освященная красавица-церковь Введения во Храм Пресвятой Богородицы...

Метрические книги тургеньской Введенской церкви, частью дошедшие до нас и хранящиеся в Тульском облгосархиве, свидетельствуют о том, что в те годы все крестьянские дети, рождавшиеся в селе Тургенево, были крестниками самого Николая Алексеевича...

Он слыл в округе довольно богатым человеком. Ему принадлежали лежавшие по соседству с селом Тургеневым земли и деревни, в которых проживало без малого две тысячи крепостных крестьян. В самом селе Тургенево крестьянских усадеб насчитывалось более ста.

Но шли годы, у Тургеневых рождались дети, и, поделив свое имение и крестьян между ними, Николай Алексеевич Тургенев, получив свою долю при выделе из хозяйства всех восьмерых детей, остался почти бедняком...

Его сын Сергей Николаевич Тургенев, отец будущего писателя Ивана Сергеевича Тургенева, получил в наследство село Тургенево с немногим более двухсот крепостных крестьян.

Состояние самого имения к тому времени было уже плачевным, почти не приносило дохода, а Тургеневы, издавна привыкшие к иной жизни, мало думали о завтрашнем дне...

И вот умный, образованный, ослепительно красивый, участник и герой войны 1812-го года, бывший желанным гостем в каждой столичной гостиной двадцатитрехлетний дворянин, кавалергардский полковник Сергей Николаевич Тургенев в январе 1816-го года в церкви Спаса-Преображения в селе Спасском-Лутовинове, родовом имении невесты, венчается с почти тридцатилетней, сказочно богатой соседкой по имени Варварой Петровной Лутовиновой...

В декабре того же года в семье родился сын Николай. А вторым ребенком был будущий великий русский писатель Иван Сергеевич Тургенев...

В 1834-м году в возрасте сорока двух лет Сергей Николаевич уходит из жизни, и владелицей его родового имения с центром в селе Тургенево по праву становится его вдова Варвара Петровна Тургенева. А после ее кончины в 1850-м году согласно разделному акту между братьями Николаем Сергеевичем и Иваном Сергеевичем Тургеневыми имение достается по наследству старшему брату писателя Николаю Сергеевичу Тургеневу.

Новый хозяин поместья сделал его образцовым, а умирая в 1879-м году все свое грандиозное состояние завещал родственникам жены Маляревским. Тогда и потеряли Тургеневы свое родовое поместье...

А последним его законным владельцем стал муж дочери основной наследницы состояния Надежды Андреевны Маляревской — Антон Антонович Лауриц...

Тургеньская усадьба сохранялась до самой революции. Но потом была разорена и уничтожена, как и множество других русских усадеб. Сгорела она в 1919-м году...

В тридцатых годах была варварски разрушена великолепная Тургеньская Введенская церковь и репрессирован ее священник Абрамов...

Тетя Шура, сама верующая, без глубокой скорби не может говорить об этом:

— Бывалоча, пойдешь: завтра свадьба. В колкол как вдарят, как подымают тебя ноги!.. Бежишь к церкви: едут!.. Лошади красивые, наряженные в ленты, в цветах, на дугах полотенца. Сперва едет жених, за ним невеста... Вся в белом, с веночком на голове, цветочки... А до чего хороши!.. Она идет, бедняжка, а они трясутся, трясутся... Как все это вспомнишь... Одна прелесть была...



Когда увозят невесту, ставят ее на телегу и обсыпают пшеницей или ячменем, чтобы в доме всегда хлеб водился. Благословляли... Ставили обоих, и жениха, и невесту, на колени, на шубу, — чтобы жили богато...

Останавливали свадьбу раза четыре по всей деревне. Надо или выпить дать мужикам, а женщинам или полотенец, или платок...

А какие батюшки были!.. Вот — я уж подросток была... Приехал в Тургенево новый батюшка, отец Сергей Абрамов. Жили они сперва в деревянненькой сторожке, а мы в церковь мимо нее ходили. От колокола была протянута к ихней терраске веревка и он, батюшка, весь день каждый час выходит, дергает за нее и отбивает часы... Один раз отпоеет колокол, значит, час времени, два — два часа... И мы, вся деревня, знали время.

Хороший, обходительный, культурный человек был этот батюшка... Во всем церковном одеянии. Бывало, ни за что не пропустит мимо, в церкви ли, на улице ли встренет... Так вот руку на голову тебе положит (тетя Шура показывает как, бережно поднимая и держа руку ладонькой вниз), обо всем-то тебя расспросит, утешит, мол, не горюй, детка, молись богу, и он тебе обязательно поможет... И как рукой все сымет: бежишь домой, радость прям на крыльях несет тебя!..

Одеянье свое он менял... Счас вот на Рождество, на Новый год — на них были белые, блестящие. В другие праздники бордовые, в пост надевали черное все. А в Великую субботу уже пост кончался, все розовое... Тюль, цветов скоко!..

Росту он был высокого, волосы носил длинные, русые. Дьячок жил около церкви, была такая небольшая будочка, вот он в ней и находился...

Хор был... Пели тогда не то что кой-кто, а подбирали, у кого голоса подходящие, из своих односельчан. И иконы были: все старинные, богатые, все сияли... И стены в церкви были все расписаны. Роспись была и в нишах — святые. Икон было очень много, на иконы столько жертвовали: и деньгами, и матерьялом, и полотенцами...

А в Рождество назывались женщины, которые по деревням, по домам ходили две недели подряд, и с ними батюшка...

Глядь, заходят... Иконы ставят на лавки вдоль стен, воду ставят ему, он читает молитвы, кадит... Мы свечечки зажигали возле каждой иконочки... Батюшка кропит иконы ладаном, от свечечек запах, так в доме приятно становится... И вот эти оброшницы несут иконы из дома в дом и поют: «Христос воскрес!.. Христос воскрес!..»

Ждали: вот в соседнем доме уже, приготовились... Вот уж к нам пришли...

Взойдут ребята, пропоют:

Рождество твое,  
Христе Боже наш, Возсияния Святого,  
Здравствуйте, с праздничком,  
С Рождеством Христовым!

Чтоб у вас курочки водились,  
Коровка не болела,  
Молочка давала,  
Чтобы все было в вашем доме хорошо,  
С праздничком вас!..

Кому чего дадут... Кто пирожка, сала кусок... Кто полситника отрежет, яичка...

Отца Сергея жену помню... Иконочку-то вы у меня, миленькая, не видали?... Вон, в уголку моем

за грубкой, над кроватью... Когда ложусь, одной молитвой пользуюсь: «Николай Угодничек, и Мать — царица небесная... Вы всегда со мною, а я с вами... Сохрани, Господи, и помилуй вдову грешную, труженицу...»

Тетя Шура — вдова... Овдовела уже спустя год после войны. Муж, уходя на фронт в сорок первом, оставил ее в селе Тургеневе с пятью малолетними детьми на руках, а вернулся в конце войны израненный и тяжело контуженный. Верная работающая жена всех детей в годы войны сохранила. А после войны родился и последний...

Но война настигла воина и в родной деревне: он умер от открывшихся ран почти сразу после рождения сына...

И осталась молодая вдова в обнищавшей за годы войны разоренной деревне сама седьмая:

— Вот снесли мужа на погост... Иду обратно, земли под ногами, ничего не вижу с горя... А в голове стучит: «Все, все... Уж это все... Теперь ни за что не выжить, перемрут дети...»

Сами понимаете: то победы ждали, надеялись, что мужья попридут, полегше станет. И вдруг полный провал: ребенок грудной, эти дети маленькие тоже, и впереди — только тьма кромешная да жизнь покалеченная и никакой ни на что хорошее надежды...

Вот пришли домой с кладбища... Я так-то вот за этот стол села, сложила руки вот так-то (тетя Шура во всю длину вытянула и уронила на стол свои не по росту крупные руки), — и забылася будто... Как провалилася куда... Закрылися мои глазыньки, как каменная стала какая-то сразу...

Растерялася я тогда совсем... Первый раз в жизни случилось со мной такое горе... Вот уже беда так беда, что делать-то?... В колхозе-то только на работу гоняли с утра до ночи да палочки за трудодни ставили... Так они на бумаге и оставались... И живи — как знаешь...

Ну вот... Сидела-сидела я так-то, а тут ребенок, грудничок мой, — как закатится криком!.. Я тут-то и проснулась будто... Глаза открыла — а все пятеро моих птенцов сидят напротив меня и потерянно, горестно так глядят, ничего не говорят... Аменьшенький-то вроде как сперва зашелся, а когда я глаза-то открыла, он сразу же и замолк...

Вот гляжу я на них — и думаю: растопырься я сейчас, как вот эта клуша, и сама погибну, а вместе со мной и все мои детушки... И будто кто силу в меня влил тут-то: решительность, смелость появилась такая, что будто я это уж и не я, а другая ктой-то...

Вот подымаю я глаза на них, на детей-то своих, и гляжу так смело... Они даже испугались: «Мамка, чего, мол, это ты?..» А я им и говорю: «Ну вот что, ребята... Сироты мы все теперь уж настоящие... Обороняться от гибели будем сами, хором... Бог нам поможет... Мне он силы дал, а теперь я вам ее передаю: с этого часа я старшая, и ни-ни, не перечь!.. Всякому от меня будет дадена теперь своя работа... Корова, куры, воды, дров, огород... В доме чтоб порядок...»

Они мне кивают согласно головками, вот эдак вот, а я гляжу на них: маленькие, тощие... И взмолилася я тогда: «Господи, помилуй моих детушек!..»

Вот и выжили... Все в люди вышли, все живут хорошо... Только, бывало, чуть что — сразу: «По ком это плетка лыковая сегодня голосит?!» — и тяну руку к ремешку, он у меня всю дорогу на крюку висел им для острастки...

И учились хорошо все, жалоб от учителей никогда не было, стыдиться мне за них не приходилось никогда... Теперь разъехались кто куда...

Опечалилась тетя Шура, вспомнив свою тяжелую участь... А я, живо представив себе ее мытарства, решила как-то отвлечь ее от тяжелых воспоминаний.

— Тетя Шура, сприте-ка мне что-нибудь... Ведь деревня-то ваша, говорят, очень песенная была...

— Что вы, миленькая... Конечно, деревня-то у нас ведь ой какая большая была... Шестьдесят домов... Орловы, мои то есть родные, Прохоровы, Васильевы, Афоничевы, Мартыновы, Яковлевы... А

**Почтовое отделение «Бежин луг»** жили-то как... По пятнадцать человек в доме. И снохи были, и внуки, — и все подчинялись свекрови, а распоряжался хозяйством свекор. Квасу наделают, хрену, хлеб пекли, все, все сами делали — и все довольны...

После обедов всегда отдыхали, спали... И на все время хватало... Пшеницу, овес, просо пололи... В бидоны воды нальешь, накладешь сухарей черных — и сыт, и пьешь — не напьешься...

Деревня песенная была, очень даже... Вот как идем с поля на обед, — какие же песни пели!.. И можете представить: расходимся по домам — и все поем...

Особенно голосистые у нас в Тургеневе две певуны были, сестры Полина и Наташа Абрамычевы, из крестьян еще тургеневских давних... Веселые, радостные, красивые... Карагод так за собой всегда и водили, всю деревню... Их так и звали: «Сестры Федоровы». Они и сейчас еще живы, не трогались из Тургенева никуда...

Февраль, 1989 г., село Тургенево

### «Сестры Федоровы»

— Вы, миленькая, никак к Абрамычевым наладились? — с видимым сожалением говорит тетя Шура, по мгновенно исчезнувшим со стола бумагам и записной книжке уловив мое настроение и намерение немедленно отправиться к «сестрам Федоровым». — Да я вам не советую... вам у них не понравится... Но вот мы с ней по не топтанной еще с утра тропке, с трудом вытягивая ноги, обутые в валенки, из

«Сестры Федоровы»  
Sisters Fedorovs



навалившего за ночь глубокого снега, уже пробираемся вдоль деревни на другой ее край, туда, где живут две старенькие сестры, про которых говорят, что они — настоящие потомки крепостных крестьян Тургеневых.

Вокруг — ни души, будто деревня, занесенная снегом, вымерла. Но так кажется только на первый взгляд. На самом же деле за каждым расписанным морозом окошком течет своя размеренная устоявшаяся жизнь, и деревня находится под неусыпным наблюдением тургеневцев.

Вот хлопает дверь и вслед нам раздается призывный крик:

— Теть Шур!.. Водку дають, будешь брать?..

— На что она мне, я не пью, — чуть склонив голову на голос, отвечает тетя Шура.

— Ох, твою мать, она не пьет!.. — с презрением выплескивает вслед нам свое возмущение ответом тети Шуры женщина, при этом прибавляя к своим восклицаниям еще и неприличные слова.

— Вот так, — говорит тетя Шура. — Всячки матом крыть... Как глянешь на эту поторочию, хоть и не выходи совсем из избы. Прямо срам, да и только... Это семья потерянной жизни...

Она помолчала...

— Да что с них и взять-то? Кабы деревня-то как раньше была, а то истребили народ. До войны шестьдесят домов было... Счас шестнадцать, — и то дачники... А то приезжие... А вам кто мою-то избу показал? Вот из того, деревянного? Это доярки Инны домик, а мальчик-то сестре ее, наверно, — с Бежин луга...

Между тем мы миновали колонку, оставили слева огромных размеров разоренный по самую крышу чей-то старый амбар и, пройдя почти всю деревню, остановились возле кирпичной избы в сплошь облупленной штукатурке. Следов возле крыльца не было.

— Спят они еще, что ли?.. Заперто, кажется, — толкнула дверь тетя Шура.

Но дверь легко поддалась и со ступеньки, выше пола занесенной снегом, мы шагнули в холодные грязные сени. Тетя Шура толкнула другую дверь и, перешагнув следующий порог, мы оказались в деревянной части избы. Она составляла большую половину жилища, пустую, запущенную и, как видно было по всему, заброшенную, с маленьким подслеповатым оконцем, глядящим во двор, полуразвалившейся русской печью и следами пожара на стене и потолке.

— Наташа, спите вы, что ли?!.. — застучала в следующую дверь тетя Шура. Мы прислушались... За дверью никто не подавал признаков жизни.

— Полина, Наташа, отпирайтесь, вставайте, к вам гости пришли! — потянула она за ручку дверь, ведущую в кирпичную часть избы.

И дверь неожиданно растворилась... Мы отпрянули назад: с возмущенным мяуканьем под ноги нам кинулась мгновенно перескочившая через порог вырвавшаяся на свободу дымчатая кошка.

— Заходите, миленькая... их, видать, не докликаться... Наташа, живые вы тут?!..

В комнате кто-то зашевелился. Скрипнула кровать, послышался звук шарящей по полу ноги. Я пригляделась к жилищу старушек внимательней: сквозь маленькие грязные окошечки с улицы поступало очень мало света, да еще комнату на две трети перегородивала печь непонятной формы, высившаяся почти до самого потолка и заслонявшая и без того скудный дневной свет, попадающий в дом через противоположное двери окно. Следы побелки на ней еле-еле проступали, а широкая стенка треснула сверху донизу, и причудливо изогнувшаяся разветвленная трещина, похожая на голый древесный сук, была щедро залеплена серой глиной. В жилище явственно ощущался прочно устоявшийся запах печного дыма.

Из-за печи был немного виден бок старого дивана, и с него медленно и неохотно спускал ноги, обутые в валенки, разбуженный нашим приходом молодой мужчина со всклокоченными волосами и измятым небритым лицом.

— Шурик, что это вы спите-то? Ведь уж день на дворе... А Поля-то жива ли? — появляясь из-за печи, куда она уже успела сходить, и возвращаясь назад к двери с намерением заглянуть за деревянную

переборку, будит хозяев домика тетя Шура. — Полина, давай-ка подымайся, — заглядывает она в угол, где спит хозяйка. — Вон к вам человек пришел. Садитесь, миленькая... — поискала она, куда бы можно было посадить меня, потрогала, покачала по очереди каждый из трех шатавшихся стульев, сиденья и спинки которых от многолетнего безжалостного употребления давно потеряли свой облик и, выбрав один покрепче, приставила его к столу. Я села, не снимая верхней одежды: в доме было очень холодно...

— Наташа, печку-то топите ли? — трогая рукой треснутую стенку печи, спрашивает моя спутница. — Когда топили-то, ведь ледяная совсем, — так и замерзнуть недолго...

Из-за печи показалась старушка. Она прошаркала валенками мимо засаленного, обильно сдобренного вевшейся в него печной сажей дивана. Мужчина сидел, не шелохнувшись.

— Наташа, садися вот сюда, — придвинула тетя Шура табуретку к печи. — Ты одета-то в одной кофте? На телогреечку, а то замерзнешь, — снимает она с гвоздя, прибитого рядом с дверью вместо вешалки, и подает старушке старую засаленную ватную телогрейку.

Та долго не попадает руками в рукава, тетя Шура ей помогает:

— Вот та-ак вот... не торопись... спешить некуда. — Вот садися здесь... Поля, а ты чего... она подходит к дощатой переборке, заглядывает за нее:

— Ты встала? Ну давай-ка к нам выходи, с тобой поговорить хотят... Счас, собирается, — обещающе кивает она мне головой.

— Ты чего это? — снова заглядывает она за переборку. — Это как же ты на голой-то сетке спишь?.. А это что у тебя... веревка?.. Это заместо пуговиц, что ли?.. Ох, горе!.. Давай я тебе ножиком разрежу.

Наконец, вдвоем справившись с одеванием старушки, обе они выходят к столу...

Непомерным страданием наполнилось мое сердце, когда я впервые увидела ее, — маленькую, сгорбленную, ветхую и неухоженную, поддерживаемую под локоть тетей Шурой. Ее потемневшее от времени лицо, не оставив на нем живого места, густо избороздили глубокие морщины. Одетая она была просто экзотически. Измятый черно-серый в клетку платок был завязан под подбородком узлом и криво покрывал ее небольшую усохшую головку, выпустив на лоб клоч седых, по-ребячьи коротко стриженных волос. На плечи надет старый потерявший форму мужской пиджак с оборванными пуговицами. Под ним виднелась линиялая вязаная кофта грязно-желтого цвета. На тощем теле свободно болтался жеваный подол черного платья или юбки, и из-под него выглядывали огромные растоптанные и изношенные валенки на одну ногу, один серый, другой черный...

— Полина, к тебе... видишь?!.. Поговори вот с человеком... Расскажи, что помнишь, — громко говорит, наклонившись почти к самому ее уху тетя Шура. Старушка согласно кивает головой и, с ее помощью усаживаясь на стул по другую от меня сторону стола, вглядывается в мое лицо, шуря давно потерявшие остроту глаза, силится улыбнуться. Но лицо не поддается улыбке: на нем остается выражение застывшей гримасы, напоминающей мертвую маску...

Я заметно растерялась...

— Ну вот... я ведь вас остерегала, а вы не послушались, — упрекает меня тетя Шура. — Ну теперь уж пришли, так терпите... Не вы одна так-то стыдитесь...

Все чувства, владевшие мною в этот момент, слились в одно определение, метко высказанное моей смекалистой спутницей. Имя ему было — *стыд*... Стыд за свое относительное благополучие в жизни, которого я, часто чем-то недовольствуя, не понимала, не чувствовала, не ощущала... Глядя на нищенскую одежду старушек, я ощутила жгучий стыд за свою нелепую в этой обстановке новенькую шубу, по недомыслию надетую в дальнюю деревенскую поездку «для тепла»... Стыдно было и за этот нетопленый дом, за негодные к употреблению вещи, среди которых жили «певуны», за этого вечно полупьяного



озлобленного человека, оказавшегося сыном бабушки Полины... за то, что пришли в этот дом с пустыми руками. За все... за все... за все. Нелепым был мой приход и нелепым оказался бы любой вопрос к обнищавшим старушкам...

Но дело сделано: они смиренно сидят на своих расшатанных стульях и в напряженном ожидании глядят на нас с тетей Шурой...

Чтобы хоть как-то сгладить нависшую над нами напряженную обстановку, я нерешительно спрашиваю у Полины Михайловны первое, что приходит в голову:

— Бабушка, а вы господ своих... не помните?..

В ответ ее тусклые глаза подслеповато прищуриваются... Затем из их глубины медленно выкатывается точка проявляющейся мысли, и через кажущуюся непробиваемой застывшую на лице маску вдруг проступает подобие настоящей радостной улыбки...

— Как же... Лауриц... барин... грит... девки, девки... давайте, милые, пойтя, пойтя... играйтя... Я счас... одарю вас всех... ленты, бусы... и пошел...

И видится ей зеленый луг за рекой, доносится откуда-то издалека до боли знакомая песня:

Рибина, рибинушка,  
Што ты долго ни тветешь?  
Твети, твети ты паскаре,  
Пара табе срывать...

С ослепительно-голубого неба льется поток алого света... Теплый озорной ветерок торопливо нагоняет девичью песню, оглаживает пышные рукава расшитой красками ее белой рубахи, назойливо цепляет подол праздничного сарафана с белой каймой понизу, ласково треплет волосы, заплетенные в одну длинную пышную косу, перевязанную новой голубой лентой...

Подъизжали к табе На конех вороных,  
А и все кони те нападали,  
Да и хозяева с коней попадали,  
Табе, рибинушку, рвать полезли...

Заливисто, задушевно поет «троицыну песню» тургеневская певунья Полина, Михайлова дочь, увлекая за собой к лесу стайку деревенских подружек. Сама невысокая, не из красавиц писанных, а нежная, ласковая, веселая.

Возле Стрелицы девушек поджидает ватага своих, деревенских парней, ухажеров, будущих суженых. Они все как на подбор одеты в нарядные, расшитые пестрыми узорами тканые косоворотки, схваченные ниже пояса тонким ремешком... красуются перед подругами... Смазные сапоги гармошкой лоснятся, потеют на жарком солнце. На душе радостно. Со смешками да прибаутками окружают парни девушек и веселой, шумной гурьбой все вместе идут к лесу.

...Когда тихий ангел слетает с небес, внезапно умолкают даже вольные лесные птицы... Среди глубокой первозданной тишины вступают парни и девушки в вечное царство лесного покоя. Разбираются парами, расходятся в стороны, незаметно растворяясь в густой толпе деревьев...

Вот вдалеке, оттеняя ярким цветом белоснежный ствол березы, мелькает последний девичий сарафан. Плотная лесная глушь надолго укрывает от любопытных глаз притихших влюбленных...

И лишь задушевный голос молодой певуньи еще долго будоражит лесную тишину, славя великую пятидесятицу:

Да ты, рибинушка, ны паспела...  
Паспей, рибинушка, к Троицыну дню...

Вот и его звонкие переливы постепенно растворяются вдали... Не кукует озорная кукушка, не пугает своими короткими сказками... Не протекает по старому дереву седой дятел, неизменный лесной

хранитель... До самого вечернего заката ничто не посмеет нарушить покой этого тихого, сонного царства...

День на исходе... Раскаленное за день круглое светило, описав дугу над лесом, медленно уходит за горизонт, скупо освещая землю... На зеленую лесную опушку из сумрачного леса выходит певунья со своим суженым. Она садится на толстый корявый ствол свалившейся старой березы. У ног ее прямо на траве устраивается влюбленный юноша. Он протягивает ей пышный букетик скромных лесных цветов. Девушка бережно касается их, выбирает из букета самый красивый цветок и вплетает его в новый венок. Ее аккуратную темную головку обрамляет другой, девичий. А тот, который плетет она теперь, назначен суженому...

Окончит работу, наденет пышный убор на крупную русую голову своего Степана, посидят так молодые минуту — и обменяются своими венками... А ночью поплывет венок суженого по реке, благо- славляя на бесконечное счастье зарождающуюся в родном селе новую молодую семью...

И с опушки березовой рощицы радостной птицей вновь летит к небу задорная «Троицына песня»:

Девки по лугу гуляли,  
Цветы алы срывали,  
Вяночки завивали,  
На головку надявали,  
Домой иттить апаздали,  
Под кустиком начивали.  
Злы собаки набяжали,  
Мине, младу, испужали...

На призывные звуки голоса певуньи из леса неторопливо сходится молодежь. Подходят парами, девушки усаживаются рядом с певуньей на стволе упавшего дерева, а парни устраиваются прямо на земле. И все дружно подхватывают с детства знакомую песню:

На ту пору, на тот час Сам  
охотник наезжал,  
Са добра коня слезал,  
Хорошо девке сказал:  
— Иди ко мне, девка, смело,  
Смотри мое тело бело,  
Мое тело распотело,  
Разгуляться захотело.  
Пойду я ва горенку,  
Сяду я на лавочку,  
Возьму балалаечку,  
Стану я играть,  
Бровими моргать...

Песни сменяют одна другую, с песней дружно возвращаются в село, и долго-долго никто не расходится по домам...

На речном лугу за барским домом гулянье в разгаре... В самом центре пестрого девичьего круга стоит сам старый барин, Антон Антонович Лауриц... Невысокий, ладный, глаза светлые с искринкой, умные, большие... Красивое породистое лицо его обрамляет роскошная окладистая белая борода. Рукой опирается на точеную головку костяной трости...

— Девки, ну, кто первая?.. Запевайте, милые... сейчас скажу... конфет, пряников, орехов... всех одарю... только пойте, пляшите веселей! Глядеть любо на вас, красавицы!.. А вы, мужики, чего сидите, а ну бегом в дом, скажите, барин, мол, велит ведро водки дать! Девки, давайте хоровод... величальную!

Тургеневские девушки — народ не гордый. Берут в просторный круг доброго барина, ходят неторопливо и поют тургеневскую величальную, какую водили еще их предки:

— Уж ты, Дунюшка, Дуня белая,  
бела-румяна,  
Ты за што же, Дуня,  
любишь Ивана?

— А за то ж люблю Ивана,  
Ево личика бела, румяна,  
Што головушка руса, кудрява,  
На головушке шляпа пухава,  
Ой, на шляпушке лента алая,  
Да и кто же Ваню лентой подарил?  
Подарила лентой, лентой Дуняша.  
Протарила Ваня стежку-дорожку,  
Чизир ричушку Ваня на горку...

А в это время бородатые тургеневские мужики и еще безусые молодые парни плотным кольцом окружили дареное ведро с вином. Старший черпает алюминиевой кружкой, не спеша передает ее очередному нечаянному счастливцу. Подражая взрослым, парни пьют свою порцию горького зелья тоже разом, не отрываясь от заветной кружки... Морщатся... Но так же, как и взрослые, нарочито смачно крикают, выпив, «от удовольствия» и так же степенно, не спеша, утирают свои безусые рты просторными рукавами расшитых рубах. Затем неторопливо отходят в сторонку, присаживаются на пестреющую луговыми цветами рослую сочную траву и, бравирюя друг перед другом, пересыпая тут же пришедшие на ум привычные соленые словечки случайными неловкими шутками, тайком неотрывно следят за живописным девичьим хороводом, молодым острым глазом безошибочно угадывая в этом дивном юном разноцветьи свою «певунью». И ноги сами несут в круг...

Когда июньская теплая ночь выведет небо, на его простор медленно выкатится и поплывет по безбрежному матовому полю круглоликая добрая луна. У деревеньки, причудливо разбросанной на крутом откосе берега реки, она помедлит в раздумье, затем темно-голубой призрачной шалью плотно укроет стройные ряды изб в окружении сумрачно-загадочных старых раскидистых раkit, щедро вызолотит беспокойный водный поток...

А речка все бежит и бежит меж своих сонных берегов, опущенных свежим, молодым раkitником, унося в неведомые дали девичьи венки... Вот и первая тургеневская певунья, едва дыша от волненья, неверной маленькой рукой опускает на воду свой веночек... Речная волна поспешно подхватывает его и, не сбаivля бега, стремительно увлекает вниз. Вслед торопливо бежит девушка, то и дело теряя его из вида: все чаще и чаще путь ей заступают плотно сидящие в воде сонные раkitы.

Плыви — катись, речная волна!.. Донеси немудреный девичий сувенир до самого Бежина луга... А там, у излучины Прощеного колодца, — встань... и замри... прибай к сонному берегу!.. Спаси и сохрани коротенькое девичье счастье!..

Скоро... скоро войдет она в дом своего суженого полноправной хозяйкой...

А в родительском доме долго за полночь не унимается застолье. За большим семейным дубовым столом, выскобленным к празднику до желтизны, тесным кругом, плечо к плечу, сидят заметно подвыпившие родственники — односельчане и понаехавшие на праздник из соседних деревень соседи — друзья и подруги молодости хозяев, многочисленные домочадцы.

В избе густо пахнет травами, собранными накануне в лесу и в поле. Дурманит, зовет на волю нежная душистая мята. Терпкий запах чебреца, белые пышные шапочки полевого тысячелистника,

### *Почтовое отделение «Бежин луг»*

пучки неизменного деревенского лекаря рыжего зверобоя до боли знакомы и любимы всеми деревенскими уроженцами...

На каждом гвозде по стенам висят пучки свежей травы. Из всякой щелки свисают вниз тонкими шейками с пушистыми гребешками на концах нежно-золотистые и зеленые ниточки пряных стебельков. К стенам прилажены березовые ветки, заплетенные в пышные косы ловкими молодыми руками...

На сверкающих чистотой окнах за вывязанными специально к празднику ажурными белоснежными занавесками стоят и пьют свежую родниковую воду из высоких глиняных кубанов пышные нарядные букеты полевых ромашек и васильков. Стоит теплему ночному ветерку с улицы невзначай отогнуть белый кружевной уголок, и они тут же стыдливой любопытной стайкой из-за занавески дружно заглядывают в избу...

А тут есть на что поглядеть... В доме уютно, празднично, радостно. На самую середину избы горделиво выпятилась из угла и не моргнет хозяйским глазом кормилица семьи — красавица русская печь... Пышная, как рождественский сугроб, гора пуховых подушек высится на широкой кровати. В красном углу блестят серебристым окладом два самых древних и самых почитаемых в семье предмета — старинные иконы с изображениями святых мучеников — Господа Бога-отца и Святой девы Марии с младенцем Иисусом на руках. Крошечный огонек лампадки тихо мерцает, тускло освещая снизу их грустные лики. А под резным киотом мастерской плотницкой работы в окружении белых, расшитых красками и отделанных ярким кумачом полотенец, свисающих с образов, на крюке, намертво вбитом в стенку избы, висит окропленный сегодня Тургеневским батюшкой во время праздничной обедни чуть сникший, но все еще очень нарядный традиционный троицын венок — на помин души усопших и на счастье и благополучие всей семье. Скоро ему предстоит увянуть и засохнуть. Но на этом самом месте он ровно через год встретит новую Великую Троицу...

Застолье медленно затихает... Гости все еще пьют и едят, а угощений не убывает. На столе разлеглись в ряд и ждут своей очереди толстые пироги с начинкой, дразнят сытого гостя румяной блестящей корочкой... Вот рука его снова тянется к середине стола, осторожно, дабы не растерять щедрую начинку, снимает с блюда лакомый кусок и бережно несет его ко рту... В глиняные облитые тарелки и блюда хозяйка все подкладывает и подкладывает припасенные к празднику немудреные деревенские закуски. А вдобавок ко всему, освещая собой полутемную избу, жаром горит не сходящий со стола почти с самого утра медный двухведерный семейный самовар...

— А что, Михаила... Полинка-то у тебя ведь уж невеста... — отвалившись наконец от питья и еды и лукаво глядя на смущенную девушку, заигрывает с хозяевами пьяный гость, — не пора ли уж замуж отдавать?

— Да жених еще в пеленках лежит, — отшучивается польщенный отец...

Но жених давно вырос из детских пеленок... Стоит в темном саду под окном, тайком заглядывает в заветную избу, выискивая глазами среди гостей ту, краше которой нет на всем белом свете...

С трудом размежает старушка отяжелевшие веки. Бессмысленно водит сонными глазами по стенам, нашим выжидающим лицам... Будучи не в силах сразу избавиться от назойливой дремоты и привидевшейся волшебной сказки, вернуться в реальную действительность и прогнать это сладкое ангельское наваждение, она тихо произносит:

— У нас до-ом... са-ад был... Барин... с тростью, собакою: «Что делаете?» — Он с глушинкой был... Мы коров стерегли у яво. Не очень богатый был, молоко сам возил, продавал... Займали хлебушка у яво пудика по три... Добрый был... Иди в Стрелицу, балки бери сколь хошь... Бывало, ходили к яму турнепс обрезать... в саду яблоки обирали... Я маленькая была, меня поставит матушка к себе на коленки, чтоб побольше казаться... Десять копеек платили — день отработать... И счас как гляжу на яво...

Народ он любил... бывало, приглашал на работу: приходите, приходите... Мост казенный был... Как увидим яво, подходим к яму с песнями... Дом-то погорел... Дом-то хороший был, с балконом, собаки агромадные ляжали... У церкви сухой дуб-то стоять, — это еще, говорить, его память... и никто не пилит. После пожара уехал ли он куда, кто ево знает... Акулина была прислуга... Аксинья Прохорова ходила, Настька... Столовая-то еще баринова... Спрашивать не у кого... Все подобралися...

Воспоминания о событиях почти вековой давности очень утомили старушку, и она, опустив голову на грудь, смежила усталые веки и снова погрузилась в забытье... Тетя Шура пояснила значение ее отрывочных фраз:

— Собаки-то, — это она про львов тех страшных на выходе, как всходишь на приступочки в бари- нов дом... Акулина, Аксинья Прохорова, Настька — это исконные тургеневские уроженки, подруги Полины... Счас кто о них вспомнит-то... разве только дед Тишин, самый старый остался, в Черни у дочери живет. Летом приедет... Борода здоровая, седая... Но ему лет сто уже... Про столовую-то — это уж она все попутала. Где афишу-то повесили, был баринов дом, который помене, тама была после школьная столовая... Как жгли-то усадьбу... Она уж взрослая девка была, она во всей подробности знает, да ведь вы сами видите...

Напоминание о пожаре вызвало в моем сознании ассоциацию с тем моментом, когда мы с тетей Шурой впервые входили в холодные грязные сени домика «сестер Федоровых», и, мельком оглядевшись, я обратила внимание на обгоревшие стену и потолок, отметив тогда же, что совсем недавно здесь, вероятно, произошел пожар.

Теперь я снова внимательно оглядела — теперь уже стены и потолок жилого помещения. Кроме горького сожаления, эти отмокшие, давно не беленные каменные стены жилища иных, лучших чувств не вызывали... Но вот я поднимаю глаза вверх — и вижу, что потолок в доме составлен из плотно пригнанных, почти новых, добротных досок. Это вселило в сознание смутную надежду на то, что положение семьи все же не столь ужасающе и безнадежно, нежели представлялось первоначально.

— Потолок-то у вас... хороший... — чтобы хоть как-то заполнить образовавшуюся паузу, говорю я в пространство.

— Военкомат досок дал... в прошлом годе... — Это сквозь некрепкую дрему, расслышав мои слова и отнеся вопрос в свой адрес, не размежая сомкнутых век и не поднимая головы, отвечает старшая старушка, Пелагея.

— У ней муж-то на фронте погиб, а детей семеро осталось... Под соломой все жили, дождь прям в избу лил, сгнило все... Теперь вот крышу починили, жить бы да жить, а некому жить-то, — поясняет снова тетя Шура.

Меня обуял страх за все происходящее. Живо представив себе, как сквозь худую крышу льется дождевая вода, а зимой засыпает в дыры снег и по избе круглый год гуляет вольный ветер, а дети и сами женщины, будучи не в силах выбиться из навалившейся беспросветной нужды, в холоде и голоде так и коротали всю свою сиротскую жизнь, я в очередной раз сегодня прихожу в уныние...

Снова и снова пристально и с глубокой жалостью вглядываюсь в испитое морщинистое лицо дремлющей старушки. Но тут же с удовольствием отмечаю, что временное забытье принесло ей очередное приятное видение и она вызывает подобие затаенной далекой радости...

В осень после той троицы и посватался к Полине Степан. Сваты заслали гонцов заранее, и в избе Михайлы Абрамычева начался настоящий переполох: дочери бегали, натываясь друг на друга и роняя на пол вещи... Жена захлопоталась в сенях с закусками, а сам Михайла, притворно побряхывая, сетуя на то, что вот, мол, обеспокоили в неурочный час, уже торопливо влезал по лестнице на потолок, чтобы извлечь оттуда давно припасенную к этому торжественному дню прозрачную, как слеза, заветную гусыню...

Девушка хоть и ждала дорогих гостей, но, увидев их издали, застыдилась вдруг и убежала далеко в поле. Сватались долго, смачно... Сваты сыпали прибаутками да присказками, пили горькую пахнущую травами настойку, расхваливали жениха.

Чтобы скоротать время в ожидании появления невесты, хозяин решил устроить испытания своему будущему зятю. Ну-ка, мол, каков будет из тебя работник... Но Степан не растерялся: зная усадьбу невесты как свои пять пальцев



— не счесть вечеров, проведенных вокруг дорожной избы, мигом влез на повесть, отыскал там наточенную старую косу, вышел в сад, скинул с плеч новенький двубортный пиджак, расстегнул верхнюю пуговицу расшитой нарядной косоворотки, обеими руками ужал книзу, собрав в гармошку, черные щеголеватые сапоги и, широко махая косой, пошел гвоздить направо и налево...

Михайла тайком довольно улыбался в усы: жених сроду был в ладах с тяжелой крестьянской работой. В заботливые, добрые руки отдавал он свою певунью.

А старушку все не отпускает дремота... Она изредка приподнимает голову и водит мутным, отсутствующим взором вокруг. А мы в ожидании того момента, когда она окончательно очнется от забытья, тихо переговариваемся между собой:

— Шурик, а ты получил сахар за Наташу?.. Нам сегодня по списку дают, — оборачивается тетя Шура к мужчине, все безмолвно сидящему на засаленном диване. Тот не подает никаких признаков, упорно и тупо глядит в пол.

— Мыла по полкусочку дают, вот такоичка вот, — не получив ответа от «Шурика», отворачивается от него и, сближая большой и указательный пальцы правой руки, показывает нам примерный размер кусочка мыла тетя Шура. — И што я с ним исделаю?.. Не верите?.. Пойдемте со мной, сами убедите-ся, — настойчиво убеждает она меня в ответ на мое сомнительное покачивание головой относительно этого нового, прочно входящего в жизнь явления, которому просто невозможно подобрать названия, но которое с недавних пор методично захлестнуло наше существование и постоянно лихорадит сознание. — Соседка принесла мне, показала, полтора кусочка туалетного мыла на троих дают. Ножиком, говорит, продавщица отрезает, и все тут... А у ней муж тракторист, ему зараз кусок нужен... Я как глянула... Я и получать не буду... Это что это?! В дальнейшем что нас ожидает?!.. — возмущается она, — Наташа, Шурик-то вас не обижает?..

В ответ бабушка Наталья, закрыв лицо обеими руками, начинает тихо, горько плакать, всеми силами пытаюсь сдерживать непослушные вздрагивающие плечи...

— Бьет мене... пенсьию отымае... — Это вместо сестры неожиданно подает голос бабушка Пелагея. Становится ясным, что ее забытье не есть сон, а она все слышит, но слишком истощена и слаба для того, чтобы вместе с нами активно поддерживать разговор.

Я поискала глазами по избе... и не нашла никаких признаков пищи. На непротертом, накрытом старой липкой клеенкой столе, возле которого мы со старушкой сидели друг против друга, не было ничего... Я задержалась взглядом на другом «столе», импровизированном, составленном из обычных складских ящиков из-под продуктов, ютящихся в правом от входа ближнем углу комнаты, — и они были пусты...

— Бабушка, вы сегодня хоть ели что-нибудь? — спрашиваю Полину.

— Не жалкуй, дочка... ели мы, — переставая плакать и утирая концом головного платка глаза, говорит Наталья. — Я сегодня лапшу варила... я и огород весной сажаю, картошка вот выросла ноне... и курочек несколько есть...

— Наташа молодец, — говорит тетя Шура. — Уж немолодая, а трудится... Лапшу-то ты на воде варила?.. Ну, конечно, на воде, чего спрашиваю-то, — сама себе отвечает она.

И тут неожиданно заговорил не проронивший до сих пор ни единого звука Полинин сын «Шурик»:

— Чем пытаться-то, лучше б похлопотали... вон стенка наружу вываливается, на подпорках держится... А то только глядят все да выспрашивают, а толку-то никакого!..

— Шурик, да как же вам помочь-то, — укоряет сердитого мужчину тетя Шура. — Ведь уж до того доведены, тут и прорвы на вас теперь неостанет... Ведь если бы не ты, они так-то не жили бы... Ведь они трудящиеся были, пенсий обе себе заработали... Поля, сколько тебе дают-то? Ведь ты в колхозе-то лет сорок пять отработала?

— Она пятьдесят рублей получает за погибшего мужа... и я сорок пять, — тихо вставляет Наталья... Но я-то в школе работала у Анатолий Федорыча. Школу строили... Глину ведрами носили на второй этаж... Балки из лесу на себе таскали, стены клали... Все сами делали...

Тетя Шура же по-крестьянски степенно и расчетливо анализирует возможности старушек:

— Дак ведь и у меня пенсия-то чуть больше вашей... а у меня тоже — и огород, и курочки... Да меня-то, чего зря бога гневить, дети не оставляют, заботятся... Ты ведь, Шурик, моим-то ребятам приятель был... вон у меня все ихними руками спроворено... Я ведь горела тоже... думала, все... А они поприехали, навалились все разом, выскребли черноту-то, потолок заменили, поштукатурили — опять дом как дом... А ты своих разорил вконец, ничего не осталось в избе, — стыдит она угрюмого хозяина. — Ты на работе-то был ли сегодня?

— Был, был, — отвечает за него Наталья, — пьяный с ночи снова пришел.

— Он в клубе кочегаром, — поясняет мне тетя Шура.

Разговор надолго обрывается...

— Ты бы меня обрядила... — внезапно осознав обстановку, говорит старшая сестра младшей. — Гости... а у меня юбка-то... ста-арая...

— Скоро обряжу совсем... и в домовину, — безучастно обещает Наталья.

Мне становится по-настоящему страшно от ее безразличия к жизни и смерти. Тетя Шура тоже грустно качает головой:

— Наташа, Полина-то не с девятьсотого года будет? Сколько же ей?

— С девятьсотого... Считай, все твои девяносты...

— А ты?

— А я с шестого...

— Наташа... она умрет, куда же ты пойдешь-то?.. Ведь Шурик-то тебя из избы-то выгонит...

Младшая Абрамычева снова принимается горько, безутешно плакать.

— У Полины-то еще сын есть. Но он больной, инвалид... За ним жена ходит... Тута живут... Еще дочь есть, да-а...

И тетя Шура безнадежно махнула в воздухе рукой...

— Шурик, ты бы пожалел мать-то... и тетку... Ведь скоро один останешься, голову преклонить будет некуда... Дом-то он продаст сразу же — и проплет, — с уверенностью говорит мне она.

Мужчина снова выказывает полное безразличие ко всему... А по лицу и всей его безучастной согбенной фигуре явственно ощущается и беспредельное желание поскорее избавиться от назойливых гостей...

Не находя смысла тревожить этих людей долее, мы собираемся уходить... Я в последний раз, уже открыто, не стесняясь хозяев, с грустью оглядываю их бедное задымленное жилище: маленькие подслеповатые оконца, растрескавшуюся закоптелую холодную печь, пришедшие в полную негодность вещи, служащие этим беднякам. . . И в памяти всплывают такие грустные, полные боли за завидную долю русского крестьянина бессмертные тургеневские строки:

«Изба лесника состояла из одной комнаты, закоптелой, низкой и пустой, без полатей и перегородок. Изорванный тулуп висел на стене. На лавке лежало одноствольное ружье, в углу валялась груда тряпок; два больших горшка стояли возле печи. На самой середине избы висела люлька, привязанная к концу длинного шеста. Девочка погасила фонарь, присела на крошечную скамейку и начала правой

рукой качать люльку, левой поправлять лучину. Я посмотрел кругом — сердце во мне заныло: невесело войти ночью в мужицкую избу...»

Ни за что не верилось, что когда-то в этой избе жила большая работающая крестьянская семья и все здесь светилось радостью... Что в углу под образами день и ночь теплился неугасимый огонек лампадки. Что на пышной, как пирог, только что вынутый из горячей русской печи, широкой родительской кровати, украшенной понизу кружевным подзором, вздымалась воздушным белоснежным сугробом почти до самого потолка гора взбитых заботливыми женскими руками пуховых подушек... Что когда-то в этой избе густо пахло полевыми травами и по праздникам к его хозяевам съезжались многочисленные гости...

В нем сватали Михайловых дочерей, в угол под образа сажали жениха с невестой, горевали всей семьей, сидя тут же вокруг дорогого покойника. В этой избе задушевные девичьи голоса звучали чаще, чем во всех других... На радостях пели звонкие, задорные припевки, а в горе — грустили... Теперь все это казалось далекой, неправдоподобной сказкой...

Хорошо понимая, что ни я, ни тетя Шура не имеем каких-либо реальных средств хотя бы немного облегчить нечеловечески убогое существование семьи, мы уходим из этого дома с тяжелым сердцем... Но обещаем старушкам «похлопотать» перед властями об облегчении их участи. И сразу же от них отправляемся в правление колхоза имени Тургенева...

Председатель колхоза оказался в этот момент в отъезде, и по всем вопросам его замещал парторг, которым оказалась молодая красивая женщина. Это могло быть даже к лучшему...

Она очень мило и дружелюбно поздоровалась с нами, пригласила сесть, и между нами завязался разговор примерно следующего содержания:

— Я, наверное, не удивлю вас, если сообщу о том, что за рекой в старом Тургеневе бедствуют две старушки: Полина Михайловна и Наталья Михайловна Абрамычевы?

— А-а... Васильева... Да знаем, — равнодушно отмахивается она.

— И как вы на это смотрите?

— Конечно, — убеждает она, — вы здесь человек новый и вам все это дико, а мы всю жизнь на них глядим, и все попривыкли... Они всегда так жили...

— Вы сейчас у власти... вам не приходило в голову, что все же надо было бы хоть как-то помочь им материально?..

— А чего помогать... они лодыри... не хотят работать.

— Да. но вы, вероятно, забыли, что одной старушке около девяноста лет, а другая чуть помоложе, и обе они давно нетрудоспособны?

— Мы предлагали им в дом инвалидов, они не хотят.

...Психология собеседницы была налицо, ждать от визита было нечего...

— Но все же. — не отступаю я. — Вы ведь знаете, что старушки голодают... и что у них даже белья постельного нет. Надо было бы им все-таки помочь... деньгами или продуктами....

— Денег свободных в колхозе нет, а белья постельного мы им можем дать...

Потом я встретила эту женщину-парторга на улице, и она сообщила мне, что у старушек были, предлагали им бесплатно постельное белье, но те отказались, не взяли...

Но это было потом... А пока мы с тетей Шурой находимся еще в их избе, прощаемся виновато — за то, что наш приход не принес семье ничего полезного... Тетя Шура первой выходит в сени, прикрыв за собой дверь. Я иду следом за ней... Но, подходя к порогу, почему-то. возможно интуитивно, оглядываюсь назад и... остаюсь стоять неподвижной: из холодной мутной полутьмы маленькой комнаты вслед мне не отрываясь и не мигая тоскливо глядят три пары бесконечно одиноких, усталых, потухших глаз...

Помилуй, Боже, стариков...

1990 г. Село Тургенево

## Старший брат

Мы стоим над самой кручей прибрежного холма. За нами лежит старое Тургенево, внизу поблескивает на солнце река, а за ней в ложине почти правильной круглой чашей белеется заснеженный заливной луг. Сразу за ним видна школьная котельная с высокой трубой, а чуть правее двухэтажной беленой стеной под железной крышей выступает спустившееся с холма почти к самой кромке луга здание тургеневской средней школы. Чуть левее проглядывают еще два школьных строения. А рядом с ними за деревьями угадывается усадьба Лидии Казминышны Чаадаевой.

Моя неизменная спутница и рассказчица Александра Александровна Емельяновская — тетя Шура — за неполные сутки нашего знакомства уже успела проникнуться моими интересами и, видимо, глубоко чувствует мое настроение и состояние. Стоит подольше задержать взгляд на каком-либо предмете, как она, словно на лету подхватив мою мысль, тут же начинает говорить о нем...

Я внимательно разглядываю противоположный берег реки.

— Наша деревня, — взмахивает она рукой в варежке, — находится на левом берегу. Наша речка Снежед, она попадает даже в Зушу... Миленькая... Когда была у нас речка полная, — какая была красота! Мельница деревянная, плотина... Счас-то ручеек... Прекрасная мельница была, водяная, какие колеса... Она прям напротив моей избы и находилась... Вот спустят воду, колеса завертятся и пошла-а... Двое мужчин должны сделать турбину.

Школа была раньше деревянная, где счас правление, и школа та сгорела. Одному мальчику не хотелось учиться, он взял и сжег ее. А перед нами-то стоит не та, а другая, строил ее уже Поляков... Каретный сарай цел возле школы...

— На нашей-то стороне, за старым Тургеневым, вон тот, мелкий лесок, — показывает она назад, — это называется Кобылий... Не очень большой. Но там подсаживали, я даже ходила туда сажать дубы. Около Кобылья шестое поле, там очень много земляники.

Следующий — Рог. А Рог очень огромная, в общем-то площадь я вам не могу обрисовать, а он вон виден отсюда. Потом Бараний лес — и Заказ. Они как-то недалёко друг от друга, но туда как войдешь

— огромный такой ров, там очень темно и страшно...

В Рогу называется Прудиче — ров так называется. Там когда-то был небольшой пруд, туда Тургенев навещал, там был мост, и он с того моста ловил рыбу...

При упоминании о Иване Сергеевиче Тургеневе я вдруг живо представила его сидящим на берегу заглохшего сельского пруда: вот он дернул удочкой, и в воздухе затрепетал небольшой серебристый карась, — ведь тетя Шура так уверенно говорит о нем, словно она его не раз в этих местах встречала... Улыбаюсь: «А какой он, Тургенев-то?»

Но иронизирую я напрасно...

— Какой Тургенев-то?.. А этого я вам не могу сказать, — вполне серьезно отвечает она...

— По речке-то вниз — и Никулина, и Васильевское-Бессоново. Разделяются они ровом. За Никулиной — Латавинова, ну и туда уже дальше другой колхоз, это все по нашей стороне. А там, — показывает она за реку, — Стрелица лес, сплошной, большой... На той-то стороне к приходу к нашему относи- лися: Тургенево. Петровское, Велевашево...

— А у церкви-то у нашей вы, миленькая, еще не были?.. Пойдемте подойдем поближе...

*Краткая справка о Тургеневской Введенской церкви  
Черногого уезда Тульской губернии, 1895 год.<sup>1</sup>*

«Во второй половине восемнадцатого столетия в селе Тургенево была деревянная церковь во имя Введения во Храм Пресвятой Богородицы, что подтверждается сохранившимся доселе антиминсом 1784-го года.»



*Здание тургеневской средней школы, возведенное в 30-х годах на фундаменте сгоревшего усадебного дома Тургеневых Building of Turgenev secondary school erected in the 30-s on the foundation of the burnt down Turgenevs' country house*

Каменный храм в селе, существующий в настоящее время в то же наименование, заложен был, как видно из надписи на хранящейся в церкви Библии, в 1795-м году и окончен в 1806-м на средства прихожанина, помещика Николая Алексеевича Тургенева, по фамилии которого и село получило свое название.

В храме два придела: правый — во имя Свят, и Чудотворца Николая, левый — во имя преп. Параскевы; оба придела освящены в 1807-м году. Но настоящий храм внутреннею своей отделкою закончен прихожанином генералом Н. Н. Сухотиным на свои средства, при пособии церковных средств и пожертвований со стороны прихожан только в 1861-м году, когда третьего сентября и был освящен.

Разновременно в храме производились разного рода поновления, из коих наиболее крупными были поновление иконостаса в правом приделе и замена новым в 1844-м году.

Из икон храма заслуживает внимания храмовая икона Введения во храм Божией Матери. Икона эта родовая г. Тургенева и пожертвована в церковь храмостроителем.

Причт состоит из священника и псаломщика. В пользу причта поступают % с 700 р. Церковной земли 37 дес. 900 саж. Почва суглинистая. С 1861-го года в селе существует народное училище, преобразовавшееся с 1886-го года в церковно-приходскую школу.

Всех прихожан в приходе числится м. п. (душ мужского пола — прим, авт.) 661 и ж. п. (женского пола — прим, авт.) 658.»

Пока по знакомому мостику мы переходим речку, тропинкой, проложенной в снегу, пересекаем луг, разглядываем школьный двор и здания, уцелевшие от давно разоренной усадьбы Тургеневых, моя спутница все молчит. Но вот через школьную калитку выходим на улицу... И обе в нерешительности останавливаемся, стараясь не смотреть вперед...



— На нее глянуть-то страшно... Господи, прости... Грех на душу беру из-за вас снова, — с грустью укоряет меня тетя Шура. — Как подходишь к ней... к бедняжке...

...Через дорогу в тридцати метрах от нас в окружении бесконечной низенькой сетчатой ограды, по двум сторонам углом опоясавшей парк с множеством очень высоких старых деревьев, ветвистыми голыми лапами беспорядочно разметавшихся во все стороны, стояла полуразрушенная церковь.

В ограде виднелась широкая брешь, и через нее в глубину парка тянулась по снегу свежая широкая колея со следами автомобильных шин. Она пропадала вдаль среди разбросанных в беспорядке небольших сараев и будочек.

Здание церкви составляли какие-то бесформенные строения. Передняя ее часть оказалась совершенно разоренной. Паперть отсутствовала. На месте колокольни над изувеченным притвором устроено было подобие низенькой двускатной крыши. Проемы окон справа заложены деревянными щитами, на месте главного входа устроены ворота из досок, над ними укреплен фанерка с надписью, сообщавшей о том, что здесь находится пчелиное хозяйство какого-то Воронежского треста.

Вокруг было пустынно и неуютно. Из-под снега торчали голые кусты, кругом груды мусора и щебенки, куски гранитных плит, осколки мрамора и металла.

Мы остановились у ворот...

— Где мы с вами сейчас стоим, была раньше паперть, — ее еще в тридцать пятом году разобрал тогдашний председатель сельсовета Смирнов и из этого кирпича поставил себе дом, — вспоминает тетя Шура. — Как он его разбирал, кто ему помогал, я не знаю, — а только дом-то несчастный оказался, и сейчас стоит запертый...

И вот как его наказал бог: сам погиб на войне. Дочка убогая, она прижила сына, и сын ее утоп. Другой сын обопился вином. А еще один сын в прошлом году ходил на охоту, пришел, затопил печку, баран закрыл — и все. Остались две сестры: одна в Туле, другая в деревне... Это бог наказал, так-то они не плохие, — повторяется она. — Вот что сделал... А то, может, она и сейчас была бы цела, церковь-то... Как он ее разломал, никому не понятно: ведь она затворена-то была на известке с яйцами... крепость... Яйца, — старики рассказывали, — собирали со всего прихода...

Мы стали медленно обходить изуродованное здание.

— Храм-то наш... и видный был... и на таком месте... Колкол-то ночью сбрасывали... словно воры... Утром проснулись, — а его уж и след простыл. Что крику тогда было!...

— Тетя Шура, если вера у нас возродится, будете снова в церковь ходить?

— А как же?!.. Я и сейчас хожу... Редко, правда... В Чернь, там теперь другой священник... Как всходишь — волос на голове дыбором почему-то становится...

Прихожу в церковь — поклон делаю. Свечку всем святым — это наши родители. На канун... Николаю Угоднику, Распятию, Царице небесной... Подаю на свечи, когда ходят с тарелкой, и на церковь. Два хора поют, один с регентом, настоящий церковный хор. Любители тоже поют все церковные молитвы...

В Тургеневе-то у нас церковные праздники: Пасхоя и Веденье, двадцать седьмого ноября и четвертого декабря...

— Да нет, — уверена тетя Шура, — не вернуть прежнее-то... У нас ведь тут все повымерло... Тридцать пять учеников только в школе осталось...

Алтарная часть Тургеневской церкви еще носит на себе следы бывшего великолепия и пышности. Портик, составленный из нескольких круглых колонн, снизу и сверху местами украшенных причудливой разбитой резьбой по камню, и лепного карниза с ажурным треугольным козырьком, по-прежнему стойко поддерживает громадный круглый свод храма, на все четыре стороны глядящий пустыми проемами окон. За колоннами зияют ведущие внутрь громадные бесформенные отверстия, отдаленно напо-

*Церковь, выстроенная дедом писателя Н. А. Тургеневым в 1801 году*  
*Church built in 1801 by N. A. Turgenev, grandfather of the writer*



Последний священник Тургеневской Введенской церкви о.  
Сергий (Абрамов) из семейного архива его дочерей  
Sergiy (Abramov), the last priest of Turgenev Vvedenskaia  
Church – from his daughters' family archives



минающие два оконных и между ними очень широкий дверной проемы. Сквозь них видны разметававшиеся в нежной воздушной голубизне черные кружевные ветви деревьев парка. Понимаю: оба придела до основания разрушены и светятся насквозь...

С трудом передвигая отяжелевшие внезапно ноги, медленно обхожу круглую стену алтаря и в изнеможении сажусь на первый попавшийся камень, белый от снега.

Словно сквозь туман доносится сюда огорченный голос тети Шуры:

— Что с вами делать, — прям ума не приложу... Так-то... вам и не надо бы в такие места ездить, — мягко укоряет она меня. — Но вы не волнуйтесь... И надейтесь... В святом писании сказано так: что придет, мол, от господа святой человек и на всех на нас внимание обратит, а храмы все снова будут построены... Ну... поглядели и будет... пойдемте отсюда, — торопит она меня. — Я вам дома доскажу. Мне венчаться хоть и не пришлось, но я все очень хорошо помню... Вон тут, перед колоннами, ворота круглые железные были, через них отпевать заносили и крестный ход ходил. А когдаходишь к церкви, то заходишь в маленькие ворота, вот примерно где мы с вами сейчас взошли... В ней было два алтаря: и в той части, — она показала на склад, — и в этой. Летом служили во всем храме, а зимой, в холод, дальний алтарь запирали, и открывали его уже на Паску...

Видя, что я не поднимаюсь с места, она оставляет меня и неторопливо ходит вокруг, временами останавливаясь и осторожно трогая носком валенка в калоше выступающие из-под снега предметы.

— Подвал против алтаря был, — обращает она мое внимание на глубокую, уходящую в землю под углом заснеженную яму в двух метрах от меня, похожую на нору очень крупного зверя...

— Но ведь хулиганы-то что делают... Залезли туда, открыли гроб — он был запаянный, — и они как только открыли, и прямо, говорит, все это паутиной поднялось, и все вдруг исчезло... Сапоги только были, как новые. Один стал их надевать — они развалились... Правда, давно это было, до войны еще...

— Вот здесь где-то, — озабоченно ищет она глазами по земле, — была могилка Анисима Варфоломеевича, Лиды Чаадаевой дедушки... А еще Жикины здесь лежали... Преображенский, священник, батюшка тургеневский... Его дом на горке стоял, где сейчас правление. Брат его, знаменитый врач-глазник Преображенский, приезжал сюда...

Вот пошел он на погост... Мы с Лидой Чаадаевой его провожали. Он у нее останавливался, потому что Чаадаевы и Преображенские, когда живы были, дружили семьями... Вот как сейчас помню: подходит он к алтарю... Шаги так замедля-а-ет, замедля-а-ет... Шляпу снял, в руке держит и все гляди-ит, гляди-и-т: памятники все повалены, могилки разорены, кусты какие прям с корнями выворочены...

Вот стоял, стоял он возле этого срама да вдруг как заголосит вслух!.. Нас даже никого не постеснялся... Могил своих он тогда так и не нашел... С тех пор его больше в Тургене не видали.

Она отрывает, наконец, глаза от земли... взгляд ее медленно и отрешенно блуждает по развалинам алтарной стены, скользит по еле живому ее куполу...

— Надо ж такую красоту истребить!..

В колкол, бывало, как вдарят!.. На восемнадцать верст, по всему приходу, в Черни даже было слышно наш колкол!.. Думалось, что навечно все это заведено было... Стены-то стоят до сих пор... А какое богатое кладбище!..

Разоренное кладбище, видимо, более всего печалит тетю Шуру:

— Вот тут, справа, где мы сейчас с вами, — какие стояли богатые памятники!.. Белые, мраморные... Рукой потрогаешь, а они гладкие...

— Где же они теперь? — оглядываюсь я по сторонам.

— А вы, миленькая, сидите-то на чем?..

Я трогаю рукой камень под собой, живо сметаю с него перчаткой снег и... Тогда обнажается белая глянцевитая поверхность.

Мгновенно поднимаюсь с места, и мы с тетей Шурой начинаем торопливо обметать его...



*В. Н. Преображенский V. N. Preobrazhenskiy*

И вот перед нами в длину среднего человеческого роста лежит упавший на землю надмогильный памятник, выточенный из белого мрамора и по очертаниям отдаленно напоминающий стройную женскую фигурку... Вверху на нем ясно проступает простой православный крест. Под ним угадываются полустертые даты рождения и кончины покойного...

А по центру надгробья выбито инкрустированное золотом, теперь не очень четкое, но все еще ясно различимое, имя

#### НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА МАЛЯРЕВСКАЯ

Четырнадцатого ноября 1877-го года, предчувствуя неумолимое приближение кончины, владелец села Тургенево брат писателя Николай Сергеевич Тургенев, пригласив в свой усадебный дом чернского нотариуса Белобородова и свидетелей, жителей села Тургенево «лесного кондуктора Николая Васильевича Башлыченко; бывшего дворового человека, причисленного Липецкой волости Чернского уезда Владимира Филиппова Жучкова и бывшего дворового человека, причисленного к Вилье-Никольской волости Чернского уезда Павла Иванова Кускова», составил духовное завещание, согласно которому почти все свое состояние оставлял родственникам покойной жены Анны Яковлевны Шварц Малярев-ским.

*Из нотариального духовного завещания Надворного Советника Николая Сергеевича Тургенева, засвидетельствованного четвертым отделением Московского окружного суда 28-го февраля 1879 года.*

Из «всего принадлежащего мне (...) наличного и долгового капитала на сумму 502 тысячи рублей (...) получить в полную собственность:

а) Коллежскому секретарю Ивану Сергеевичу Тургеневу наличного капитала 22 200 рублей, еще по контракту на рубку леса в селе Сомове, заключенному с купцом Чедаевым, 22 800 рублей, и вексель Бородаевского на 10 000 рублей, всего 55 000 рублей.

б) вдове Титулярного Советника Юлии Яковлевне Федоровой (сестра жены Николая Сергеевича Тургенева Анны Яковлевны Шварц — *прим, авт.*) из наличного капитала 19 500 рублей.

в) жене Надворного Советника Надежде Андреевне Маляревской (племянница жены Н. С. Тургенева — *прим, авт.*) дом с местом в Москве, Пречистенской части третьего квартала номер двести девяносто два дробь двадцать и по закладной Маляревской, на село Тургенево, сельцо Слободку (Стекольную — *прим, авт.*) и хутор Велевашев 150 000 рублей.

г) Надворному Советнику ПОрфирию Константиновичу Маляревскому (муж Надежды Андреевны Маляревской — *прим, авт.*), выданной купцом Чедаевым на мельницу при сельце Стекольной Слободке 20 000 рублей, равно заемное письмо, данное мне, Тургеневу, Карцевым в 6 500 рублей; вексель, выданный мне Эдуардом Ивановичем Крюгером в 1 000 рублей на недвижимое имение Орловской губернии, Мценского уезда, село Сычи, Никольское тож, всего же предоставляю ему на сумму 177 500 рублей.

д) Егору Яковлевичу Шварц и детям его: сыну Григорию, дочерям Симониде и Надежде по закладной купца Абрашина 20 000 рублей, по закладной Муравьева 14 000 рублей, по векселю Николая Петровича Тургенева 3 000 рублей и капитала 13 000 рублей, всего 50 000 рублей, каждому по равной части.

е) Елене Ивановне Шварц и дочерям ее Анне, Софье и Пелагее по закладной Олсуфьева 50 000 рублей, каждой по равной части...

В случае смерти Ивана Сергеевича Тургенева завещанный ему капитал 55 000 рублей разделить пропорционально всем наследникам по сему завещанию, исключая Маляревского и жены его.

Душеприказчиком и исполнителем сей моей последней воли прошу быть и назначаю вышеозначенного Надворного Советника Порфирия Константиновича Маляревского.<sup>3</sup>

Трагической оказалась судьба родового гнезда Тургеневых...

О состоянии этого поместья в момент кончины Сергея Николаевича Тургенева и о дальнейшей участи осиротевшей семьи позднее скажет сам писатель:

«Отец мой скончался тридцатого октября 1834-го года. Мне всего было тогда шестнадцать лет <...>. К тому же отец мой был человек бедный — он оставил всего сто тридцать душ расстроенных и не дававших дохода — а 'нас было трое братьев. Имение моего отца слилось с имением моей матери, женщины своевольной и властолюбивой, которая одна давала нам — а иногда и отнимала у нас — средства к жизни. Ни ей, ни нам в голову не приходило, что это ничтожное имение (я говорю про отцовское) не ее. Я прожил три года за границей, не получая от нее ни копейки — и все-таки не подумал потребовать свое наследство — за выделом того, что следовало моей матери, как вдове, и того, что приходилось на долю братьям — немногим бы превысило нуль».<sup>4</sup>

В письмах к сыновьям Варвара Петровна неоднократно рисует плачевное положение своего хозяйства и делает попытки как-то приобщить сыновей к делу управления поместьями.

«Я и сама не добьюсь, что мне дадут на прожиток! Дяде все некогда: то в Тулу едет, то губернатор в Чернь. Он же и посредник <...>. Что-нибудь одно, дети. Ваше имение разоряется и вы останетесь ни с чем. Хотя, мне кажется, Николаю из губернских секретарей далеко до чиновного, — как хочет. Я предлагала ему самому принять управление имением. Он здоров, молод, силен, — не то, что я. Не может, не хочет <...>».<sup>5</sup>

Окончательно отчаявшись заинтересовать сыновей хозяйственными делами семьи, она решает управлять своими многочисленными имениями сама:

«Что касается до моей части, вдовьей — я хочу ею заняться собственно сама. Дурно ли, хорошо ли, — так и быть. Желаю, чтобы брат мне помог; оставя службу, занялся нашим состоянием. Однако, — воли с него не снимаю. Хочет, — хорошо; не хочет — как хочет», — пишет она Ивану Сергеевичу 24-го апреля 1843-го года.

В сороковые годы отношения Варвары Петровны с сыновьями заметно осложняются. Особенно ухудшились они в последние годы ее жизни в связи с отъездом за границу Ивана Сергеевича и дерзким



ослушанием старшего сына. В ее письмах тогда же появляется, а потом уже неоднократно упоминается имя бывшей ее камеристки, будущей жены Николая Сергеевича Анны Яковлевны Шварц.

В 1841-м году Анна Яковлевна оставляет Варвару Петровну и неожиданно уезжает в Петербург, где окончательно сближается с ее старшим сыном Николаем. Столбовая дворянка, наделенная от природы деспотическим характером, ожесточившимся и от безрадостного детства, и тяжелой семейной жизнью, Варвара Петровна в разговорах с сыновьями и письмах старается обходить эту болезненную для нее тему. Иван Сергеевич также молчит о подробностях жизни брата. Но связь Николая Сергеевича с Анной Яковлевной в конце концов становится достоянием чиновного и светского Петербурга. Слухи, несомненно доходящие до матери, растут и обрастают все новыми и новыми деталями.

Наконец выясняется, что Николай Сергеевич нанимает ее бывшей служанке особую квартиру и даже содержит «матрису» на присылаемые регулярно материнские деньги, открыто выезжая вместе с ней в свет, а младший сын, зная об этом, скрывает от матери эту связь и еще и помогает брату деньгами...

Начинается откровенный разлад. Варвара Петровна расстроена и подавлена... Не находя иного выхода из создавшегося положения, она в отчаянии обращается к Ивану Сергеевичу, вызывая к памяти их покойного отца:

«Но! Вот тебе моя комиссия, довольно затруднительная... Как брат приедет, то я желаю, чтобы всякая связь, мне неприятная, до сих пор существующая, была им уничтожена в день рождения его. Я пошлю ему к тебе отцовы часы. Но! — чтобы ты на него, тогда только на него одел их, когда он скажет тебе: — брат, надень на меня папашины часы. 30-го числа не забудьте, отцева память. Он скончался тому девять лет. Коле исполнится 27 лет, а тебе 25. — Это вам последнее мое приказанье: поезжайте на могилу отца, какое бы то время ни было. И там, ежели нужно, бросаю в грязь головою перед братом и до того умоляю его, не вставая, оставить для меня противную связь, пока его уговоришь на сие.

До тех пор оба ко мне писать не смейте, — пока ты не скажешь мне: шашап, я надел на брата папашины часы, благослови нас. Ежели он сочтет это жертвою — я требую жертвы — ежели он, как мне говорил, может умереть от этого, — с радостью увижу его в гробу мертвого, но! — чистого. — Я стою жертвы <...>, тогда только получите благословение матери».<sup>6</sup>

Но вопреки ожиданиям события разворачиваются слишком стремительно. Упорно не признавая права старшего сына на самостоятельную жизнь, Варвара Петровна наотрез отказывает ему в деньгах. И тогда почти единственным средством к существованию молодой семьи остается поддержка Ивана Сергеевича. Узнав об этом, она пишет ему возмущенное письмо:

«Я не даю брату денег, которые прежде назначала, потому что он с презрением от них отказался, — пишет она ему в Петербург в 1844-году. — Я знаю, что ты, сколько можешь, ему даешь, не взирая на мои просьбы, и даешь ему способ жить, жить публично на большой дороге с мерзавкой и сам составляешь их общество. — Бог с вами, живите как хотите, как знаете! Но! — я нахожу нужным тебе сказать...»<sup>7</sup>

А спустя неделю, в ответ на полученное от младшего сына известие о бедственном положении брата с просьбами о помощи ему продолжает взывать к их сыновним чувствам, обрушивая на непокорных сыновей ряд упреков и надеясь образумить Николая:

«Ты напрасно дал брату денег 1 000 рублей. Я тебе поручила в таком только случае дать ему денег, если ему нужно будет ехать на воды или платить докторам.

Я решительно решила довести брата твоего до того, чтобы он знал себе цену (>,.). Ты говоришь, что брату пришли такие обстоятельства (хоть в петлю). Он сам накинуд ее себе на шею. Пусть бы попробовал свои силы, может ли он из нее вылезть без помощи моей <...>. Опомнися, найдет во мне опять нужную мать, готовую исполнять свою материнскую обязанность. Денег более брату не давай из моих ни копейки. Иначе ты дашь свои, я вочту в твое положенье. — Пусть пишет дяде. Тому нечего послать.

— Пусть едет в Тургенево, пусть продает Тургенево <...>. Не будет ли это несколько странно, что вы, два брата, холостые, служите в одном департаменте и имеете отдельные квартиры В Спасском мне

Николай дал слово, что он скажет мамзели: я, де, тебя люблю много, но! — мать свою еще выше тебя, — и что более ее не увидит после того. — Помнит ли он это! Раздор в семье, сцены, скандал с матерью, совершенную разстройку, — и все это из девки, которая не постыдилась быть у него на содержаньи; и не скрыть своего бесчестия, не скрывая плод онаго. Правда, он мне сказал, что он зачахнет, умрет. Но!! — что такое умрет в сравнении с родительским негодованием <...>»<sup>8</sup>

«Преступная связь» Николая Сергеевича Тургенева с Анной Яковлевной Шварц вопреки ожиданиям его матери основывалась на большом и сильном чувстве. Варвара Петровна узнала, наконец, и о том, что у старшего сына уже есть дети... Но по-прежнему не дает ему своего материнского благословения. И повенчаться им удалось только в 1849-м году, незадолго до ее кончины...

Летом следующего 1850-го года Николай Сергеевич впервые знакомит жену с родовым имением Тургеневых. Обо всех подробностях их приезда в село Тургенево мы узнаем из письма писателя к Полине Виардо:

«В первое же воскресенье после нашего приезда все жители Тургенева собрались в праздничных одеждах у дома брата; мы торжественно предстали перед ними — (признаюсь вам, я был очень смущен — решительно, я не то, что называют обществ, деятель) — и мы обнялись — больше трехсот бород прошли по моим щекам. Мой брат произнес небольшую речь, приказал разнести им водки и пирогов и представил им свою жену, и гулянье началось. Пели и плясали под окнами до самого вечера».<sup>9</sup>

Принимая живейшее участие в судьбе брата, Иван Сергеевич до конца остается верным своим родственным привязанностям. После кончины матери во время раздела семейного наследства он уступает брату все, что тот пожелал:

«Необходимо было оставаться здесь, чтобы окончательно устроить дела моего брата, — сообщает он Полине Виардо из села Тургенево 26-го сентября. — Только вчера я закончил их. Слава богу, теперь

*В окрестностях села Тургенево. Панорама деревни Колотовки*  
*In the environs of the village Turgenevo Panorama of the village Kolotovka*



### Почтовое отделение «Бежин луг

он вполне независим и спокоен; я уступил ему свою половину Тургенева, и теперь он — владелец очень хорошенького маленького имения, которое в хороший год может приносить ему до двадцати тысяч франков».

Безгранично любимая мужем, Анна Яковлевна становится практически единоуправной хозяйкой в Тургеневе. Николай Сергеевич всегда соглашается со всеми ее решениями, полагаясь во всем на ее вкус и разум. Ее родственники — всегда желанные и частые гости в имении. Вот уже и на место управляющего приглашен Порфирий Маляревский, муж Наденьки, любимой племянницы Анны Яковлевны...

Но прямых наследников у семьи Николая Сергеевича Тургенева нет, его дети давно умерли, и осиротев со смертью горячо любимой жены, он всю свою многолетнюю любовь и привязанность к ней перенес на ее родных и близких, объявив им еще при жизни свое желание обеспечить их будущее...

Но Маляревские хорошо помнят, что у Николая Сергеевича есть родной брат, который вполне может оспорить и получить часть завещанного им наследства. И они самым жестоким образом препятствуют последнему свиданию братьев:

«Ваше письмо от 8-го января наполнило меня горестью и негодованием, — писал Иван Сергеевич управляющему Щепкину 14-го января 1879-го года. — Как? бедный мой брат уже с конца прошлого года был безнадежен, доктора даже предсказывали ему близкую кончину — а г. Маляревский не только не известил меня — но даже мне послал телеграмму — не раньше кануна смерти — и то из *Петербурга* — и то со словами: «доктор подает *мало* надежды» — а брат уже был в агонии!! Очевидно — все это было прилажено с той задней мыслью, как бы я не приехал и не повлиял на брата насчет завещания. Могу уверить г-на Маляревского, что я совершенно равнодушен к денежному вопросу — и охотно предоставляю ему пользоваться всем, что брат ему оставил; но что я никогда ему не прощу, это то, что он лишил меня возможности хотя письменно или по телеграфу выразить мое сочувствие брату, проститься с ним; я не прощу ему того, что по его милости брат на смертном одре мог подумать, что я его забываю — и что, может быть, он умер с этой мыслью!!»<sup>10</sup>

Незадолго до кончины старшего брата на просьбы дочери о материальной поддержке Иван Сергеевич вынужден будет ответить ей:

«Я прекрасно понимаю, что вам нужны деньги — но выслушай следующее: *я не могу* взять 10—15 тысяч франков из моего годового дохода, а значит, надо что-то продать или где-то занять. Я пытался продать часть своего имения в прошлом году <...>. Я хотел взять в долг у брата, богача-миллионера — он отказал».<sup>11</sup>

Несмотря на сложные отношения между братьями, писатель через всю жизнь пронес свои родственные чувства к Николаю Сергеевичу и, простив ему, подпавшему под влияние родственников жены, все обиды, мужественно напишет:

«Сообщаю Вам, любезнейший Павел Васильевич, постигшее меня горе: в прошлое воскресенье брат мой Николай Сергеевич скончался в тульской своей деревне. Мы с ним видались редко, интересов общих не имели... а все-таки брат! Тут есть кровная, бессознательная связь, которая сильнее многих других...»<sup>12</sup>





**КОГДА ВЫ БУДЕТЕ В СПАСКОМ...**

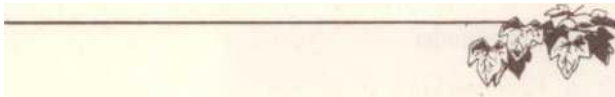
«When You are in Spasskoye...»











В четырех километрах от бывшего родового имения великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева села Спасское-Лутовиново, от Москвы по направлению к Черному морю пролегла железнодорожная магистраль.

Одна из ее близлежащих к Спасскому станций зовется Кукуевкой... В конце прошлого столетия на подъезде к Кукуевке со стороны Москвы произошло небывалое до тех пор в России крушение поезда: размытая многодневными июньскими ливнями насыпь под полотном дороги сползла, образовав глубокий проем, поглотивший шедший на юг железнодорожный состав. В катастрофе погибли десятки пассажиров.

Эта беда была столь велика, что повергла в глубокое уныние всю Россию. В письмах многих известных деятелей литературы и искусства к своим корреспондентам содержатся свидетельства о причинах катастрофы и гибели людей, сообщаются подробности...

Одним из наиболее щедрых ее бытописателей оказался московский газетный репортер Владимир Алексеевич Гиляровский, автор телеграмм и других корреспонденций с места происшествия, на протяжении двух с половиной недель подряд ежедневно публиковавшихся в газете «Московский листок».

В первой главе предлагаемой документальной повести автор и знакомит читателя с этими корреспонденциями.

Минуло более века с тех далеких трагических дней... Мы решили пройти по местам захоронений погибших в Кукуевской катастрофе, — по местам, указанным Гиляровским. Это окрестности Тургеневского Спасского: поля, леса, деревни, кладбища, описанные не только И. С. Тургеневым в его произведениях, но в дневниках и письмах Л. Н. Толстого и членов его семьи, с глубоким прискорбием следивших за теми печальными событиями.

Удивительной казалась эта земля и от того, что на ней встречались, дружили, ссорились сгоряча и вновь дружески сходились Тургенев и Толстой.

Но обойдя ее теперь, мы нашли здесь лишь редкие, безнадежно вымирающие деревни и села, брошенные покинувшими родину крестьянами; варварски разворованные насильниками древние погосты с ушедшими в землю тяжелыми надгробными камнями и покосившимися крестами над могилами их предков; утонувшие в диком, непролазном бурьяне пустыри на местах исконных, когда-то богатых и почитаемых народом местах Святых Храмов.

«Деревня, которой нет» — так правильное следовало бы назвать эту печальную документальную повесть о разоренной русской земле...

Л. Иванова

## Кукуевская катастрофа

Памяти В. А. Гиляровского

«Железнодорожные рельсы!..  
И насыпь!.. И стрелки сигнал!  
Как в глину размытую поезд  
Слетел, низвергаясь со шпал.  
Картина разбитых вагонов!..  
Картина несчастных людей!..<sup>1</sup>

— Россия пела свою надрывную, грустную песнь о Кукуевской катастрофе...

Бытописатель катастрофы Владимир Алексеевич Гиляровский вспоминал:

«Это была двести девяносто шестая верста от Москвы. В первой телеграмме, посланной мной в газету в день прибытия, я задумался над названием местности и спросил, как называется ближайшая деревня.

— Кукуевка, — ответили мне, и я телеграфировал о катастрофе под деревней Кукуевкой. Отсюда и пошло: «Кукуевская катастрофа», «Кукуевский овраг», и «кукуевцы», — последняя об инженерах.»<sup>2</sup>

Раздался пронзительный свисток паровоза, и специальный министерский поезд, резко рванувшись с места, на безумной для него скорости полетел вперед, громыкая на стрелках. Вагоны, словно игрушечные, мотались из стороны в сторону, в любой момент готовые сорваться с железной колеи и, разметавшись по сторонам, разлететься вдребезги.

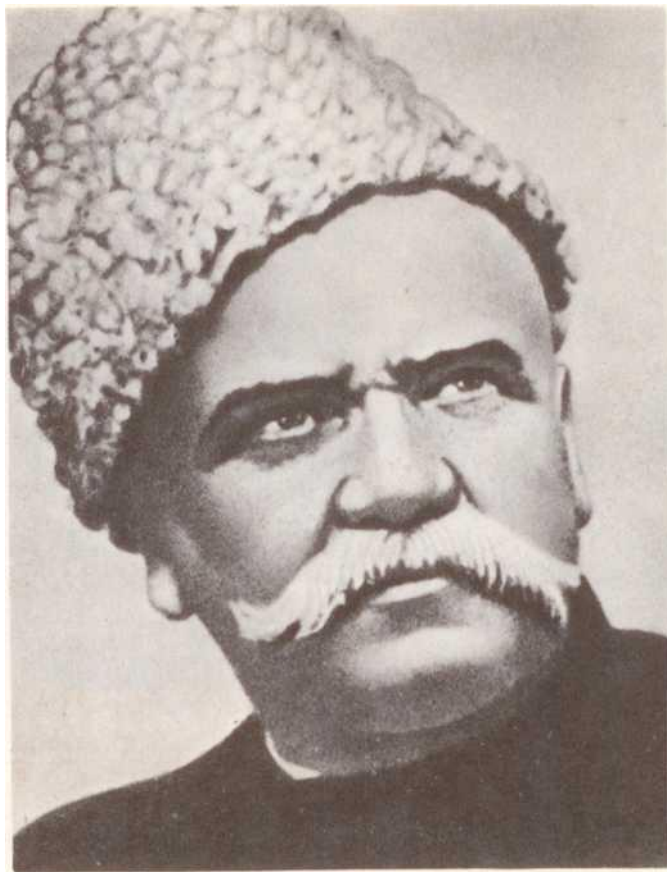
Но вот неожиданная остановка: наскоро наполняются водой баки, и поезд, подавая торопливый тревожный сигнал, вновь мчится вперед... Еще одна остановка для пополнения запасов воды... Слышны тревожные голоса: «За Чернью, около Бастыева...»

Наконец, после очередного бешеного перегона медленно, рывками и довольно долго тормозя, словно ощупью пробираясь по темному длинному тоннелю, поезд останавливается. Открываются двери вагонов, и железнодорожное начальство всевозможных рангов: управляющий дорогой, инженеры, служащие высаживаются из вагонов, осторожно ступая по размытому грунту и стараясь не оступиться с крутого полотна... Здесь их уже ожидают подошедшие встретить поезд местные путейцы...

А по другую сторону однопутной с подножки последнего вагона в это время спрыгнул на насыпь и заскользил по отвесному откосу вниз, лихорадочно хватаясь руками за жидкие кусты и вырывая с корнем попадавшую под руки траву, громадный мускулистый человек в фуражке и легком пальто с болтающейся на боку плоской сумкой, напоминавший небольшой гимназический ранец. Он благополучно достиг ровного места и стал неверными шагами пробираться вдоль насыпи вперед, вытягивая из жидкой, засасывающей грязи ноги, обутые в высокие черные сапоги с лакированными голенищами. Выбравшись на относительно твердый глинистый участок, он остановился и внимательно осмотрелся, пытаясь охватить взглядом творившийся повсюду хаос.

... Он увидел страшную картину, от которой на мгновение помутился взор: огромный глубокий овраг пересекала узкая, сажень до двадцати вышины насыпь полотна дороги, прорванная на большом пространстве, заваленная обломками вагонов. На том и другом краю образовавшейся пропасти висели готовые рухнуть разбитые вагоны. А вздыбившаяся земля... шевелилась и стонала глухими звуками, доносившимися откуда-то из-под нее...

Вокруг сутилось множество разного люда, но подойти к самому месту катастрофы было невозможно: земля и глина, сползшие с размытой длительным ливнем насыпи, превратились в топкое, гибельное болото. Сбежавшиеся из окрестных деревень крестьяне пытались спасти потерпевших, но тщетно:



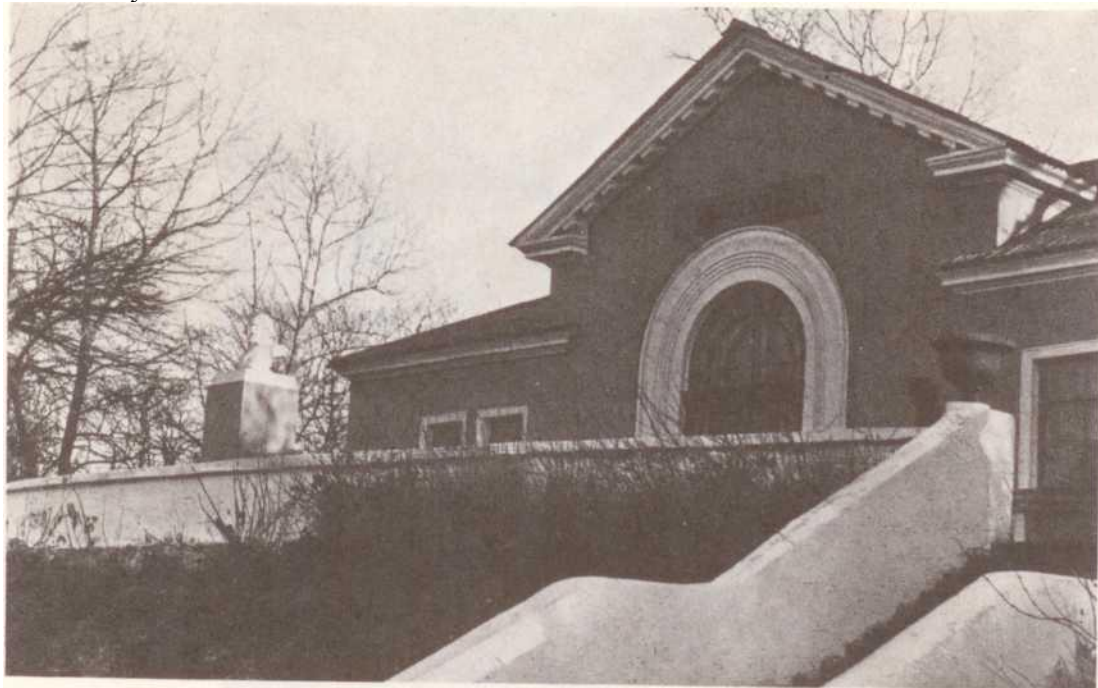
*Владимир Алексеевич Гиляровский Vladimir Alekseevich Giliarovskiy*

— Ванька, Ванька! Вона рука, рука, доску кидай! Лови веревку, обвяжися!.. — кричит старик молодому крестьянскому парню. Но уже через минуту оказывались ненужными ни доска, ни веревка: показавшаяся из глиняно-земляного месива чья-то рука вместе со своим безымянным владельцем навсегда исчезла под жирным слоем грунта...

В проеме провалившейся насыпи громоздились друг на друге массивные обломки множества вагонов. Поверх их мощной лавиной все еще бурлил нескончаемый водяной поток. Он собирал в глубокий овраг слева от насыпи окрестные, переполненные ливнем речушки и ручьи и был так силен, что вымывал из ушедших под землю вагонов вещи и человеческие тела. Крестьяне толпились у мест выхода потока на твердые участки, вылавливали тела.

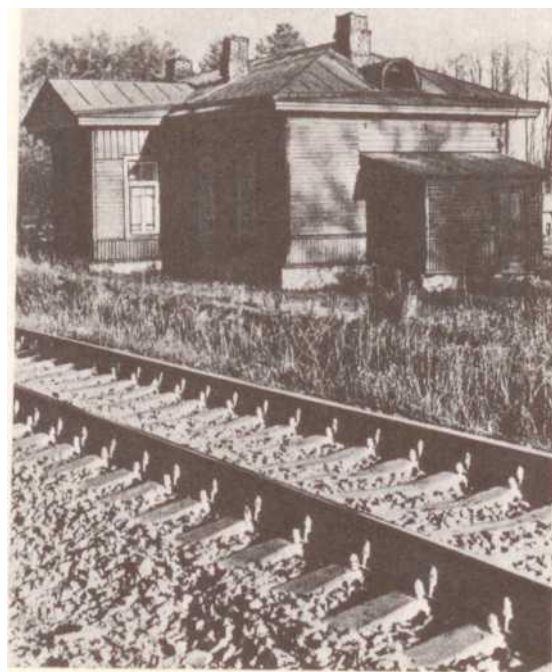
Задние вагоны, к счастью, оторвались и с трудом удерживались на насыпи. Некоторым пассажирам, выбросившимся на левую сторону насыпи, удалось спастись. Они пробирались по трясине, карабкались на твердые участки. Прошло всего несколько часов с момента крушения поезда, а на глазах оставшихся в живых и спасателей все еще происходили трагические сцены: вот к *л* кой-то пришедший в себя старик, оставшийся в уцелевшем и висящем над пропастью вагоне, пытается из него выбраться; ему удастся достичь земли, но он вязнет, молит о помощи. К нему пытаются подобраться, но тщетно: земля под тяжестью человеческого тела быстро прогибается и поглощает его на глазах у всех.

*«Когда Вы будете в Спасском...»*



*Станция Бастыево  
Station Bastyevo*

*Платформа «Ползиково»  
Platform Polzikovo*



## *Кукуевская катастрофа*

«Место катастрофы ужасно <...>. Из покривившейся и опустившейся насыпи вырван водой и крушением огромный кусок земли. Это образовало глубокое ущелье <...>. Далеко от насыпи по течению воды в беспорядке раскиданы части чугунной трубы. Они были замечены тотчас же после крушения и, следовательно, были выброшены напором воды еще до прохода поезда. У вершины откоса насыпи валяется, глубоко зарывшись в землю, опрокинутый локомотив, дальше несколько колес, немного ниже гряда больших и малых щеп, половина исковерканной крыши и другие остатки вагона. В самом низу обвала другая гряда таких же щеп, несколько мест багажа, там и сям куски красной обивки; вот свежая, изящная, совершенно сохранившаяся дамская шляпка; вот оторванная от туловища человеческая рука, — а кругом на большом пространстве глубоко изборожденная во всех направлениях земля, желтая грязь, кое-где сочится еще вода...»<sup>3</sup>

По краям обвала толпятся крестьяне ближних деревень. Некоторые из них спускаются в самый низ и пробуют разбирать лежащую там кучу, но топкая земля, очевидно, мешает их работе.

Так проходит несколько часов ледящего душу ужаса... Прибывший к месту катастрофы с министерским поездом неизвестный человек сидит на вырванной из размягченной земли коряге, бывшей еще несколько часов тому назад мощным корнем ветвистого дерева. Широко расставлены его ноги в залепленных грязью сапогах; бессильно свисают опершиеся локтями о колени мощные руки с широкими ободранными ладонями; ничего не видящий взгляд устремлен в одну точку... Он, обладающий бычьей силой и повидавший много бед на своем веку, раздавлен этим скорбным, одним из самых многострадальных в его жизни, днем, когда безмерная сила и беззаветная смелость оказались бессильными, ненужными в этом страшном человеческом бедствии.

От всего увиденного и пережитого в это утро теперь остались лишь слабость во всем теле, безразличие. Но человек упрямо встряхивает большой круглой головой, отгоняя хандру... Прочь апатию! Надо работать...

— Эй, малый, поди сюда! — подзывает он деревенского парнишку лет пятнадцати, рослого, худого, с босых ног до белобрысой вихрастой головы облепленного грязной глиной. Он давно приметил его. — Тебя как звать?

— Васькой, дяденька...

— А деревня твоя далеко отсюда?

— А вон, дяденька, из Кукуевки я, — показывает подросток за насыпь, где за деревьями, по-види-мому, и скрываются домики его деревни Кукуевки.

— А станция отсюда далеко?

— А какая, дяденька... Чернь, али Бастыева?

— Да та самая, откуда телеграмму можно отправить.

— А-а... так это лучше на Мченскую... дяденька.

— Снесешь телеграмму?

— Мигом слетаю...

— Ну, пойдй умойся, а то больно уж ты грязен-то... а я пока текст составлю...

Часа через два долговязый подвижный Васька из Кукуевки уже стоял перед начальником станции Мценск Московско-Курской железной дороги и, вытянув вперед руку, показывал ему лежащую на разжатой потной ладони сложенную в несколько раз грязную белую бумажку.

— Что это? — в глазах начальника станции, подозрительно оглядывающего парнишку, одетого в истрепанные короткие домотканые порты и цветастую старенькую косоворотку навыпуск, — откровенное недоумение.

— Телеграмму, дяденька... поскорей...

Уловив недоброжелательный и недоверчивый взгляд железнодорожника, мальчишка спохватыв-



### *Когда Вы будете в Спасском...»*

вается, сообразив что-то по-своему, и, разжав ладонь другой руки, в которой зажаты две серебряные монетки, протягивает ее со словами: «Вот... возьмите...»

А между тем начальник железнодорожной станции уже успел развернуть сложенный в несколько раз пропотевший в Васькиной руке листок бумаги и внимательно просматривал его. По мере чтения лицо его все более отчетливо принимало скорбное выражение... Не дочитав всего текста, он устремился вон из помещения, бросив на ходу мальчишке: «Иди за мной!»

Через несколько минут телеграфист уже отстукивал срочную телеграмму в Москву:

«Московский листок», Пастухову. Страшная катастрофа на Курской железной дороге. Сильный дождь, продолжавшийся в Москве во вторник, 29 июня, лил и в отдаленных от нее Тульской и Орловской губерниях и при этом сопровождался там страшной бурей. Поэтому ввечеру на многих местах полотно Московско-Курской дороги было размыто, и рельсы или разошлись, или совсем свалились. Оказалось это близ станции «Сергиево» и «Скуратово», но в третьем месте, именно, не доезжая 1,54 версты до станции Чернь, ночью повреждения не заметили. Между тем это место, окруженное болотистой трясинной (285—286 версты от Москвы), одно из опаснейших на всей дороге. Ночью, в третьем часу, на этом месте встречаются почтовые поезда, — идущий из Москвы № 3, и из Курска, № 4. В эту ночь с 29 на 30 июня почтовый поезд, шедший из Курска, благополучно прошел над этой трясинной в 2 часа 32 минуты ночи; спустя лишь четверть часа подошел встречный ему почтовый поезд, шедший из Москвы. Машинист и поездная прислуга ни о какой опасности на предыдущей станции Крестцах предупреждены не были, поэтому поезд шел очень быстрым ходом. Между тем за эту четверть часа насыпь дороги от сырости опустилась, рельсы разошлись одна от другой, и вот здесь-то почтовый поезд потерпел страшное крушение. Десять вагонов с пассажирами разбились вдребезги, четыре вагона, в том числе и почтовый, оторвались и уцелели.

«Страшное зрелище представляли собою эти обломки поезда и масса убитых и тяжело израненных! Поездная прислуга убита почти вся. По первому исчислению, более пятидесяти пассажиров убиты и до восьмидесяти человек искалечены так ужасно, что многие едва ли останутся в живых. К утру приехали врачи из Черни и из Тулы, а в 3,5 часа дня почтовым поездом отправлены врачи из Москвы. Это небывалое еще у нас в железнодорожной хронике несчастье случилось в два часа ночи, а депеша управлением дороги получена была только в десять часов утра: ее задержала гроза. Поезда, шедшие к Москве, были задержаны».<sup>4</sup>

Эта телеграмма была первой, посланной с места невиданной в России железнодорожной катастрофы собственным репортером газеты «Московский листок» Владимиром Алексеевичем Гиляровским, и опубликована на второй странице газеты в разделе «Телеграммы» на следующее же утро. Все другие газеты опоздали на двое суток, а «Московский листок», где в течение двух с половиной недель публиковались подробнейшие сообщения с места катастрофы о каждом шаге производимых работ, раскупался нарасхват, приобретая у читателя невиданную популярность.

Следующая телеграмма в «Московский листок», посланная Гиляровским уже со станции «Чернь», была более конкретной:

«Крушение на Курской железной дороге, — сообщал он, — произошло так: когда поезд шел по насыпи в шестнадцать саженей высоты, к станции за Чернью к Курску, пятый вагон от локомотива провалился и потянул туда за собою передние вагоны, вместе с локомотивом, которые с несчастными пассажирами пошли живыми в землю. Задние четыре вагона, в свою очередь, наступали на них и остановились

над пропастью, придавив собою опустившиеся в землю пять вагонов. Один из погибших вагонов был как бы разрезан надвое. Из него-то и спаслись несколько пассажиров. Видели, как один из них, какой-то генерал, зацепившись ногой за рельсы, взывал о помощи, но тут же был придавлен другим вагоном. Стоны, крики были ужасны. Четыре вагона первого и второго класса не открыты и до сих пор несчастье невообразимое, неслыханное».<sup>5</sup>

На третий день с деньгами от владельца газеты «Московский листок» Н. И. Пастухова к месту катастрофы приехал сотрудник этой газеты известный беллетрист, талантливый писатель А. Д. Дмитриев с поручением к В. А. Гиляровскому. Пастухов писал: «Телеграфируй о каждой мелочи, деньгами не стесняйся...»

И репортер честно выполнял его требование...

Т е л е г р а м м ы « М о с к о в с к о г о л и с т к а » .

*Мценск, 2 июля, 9 ч 10 мин:*

«Стало известно, что при крушении почтового поезда на Курской железной дороге спаслось 86 пассажиров, раненых 42, убитых пока найдено 7 человек. Раненые отправлены в Орел; из них некоторые умерли. Насыпь продолжают раскапывать; полагают, что под ней находится более сотни погибших».

*3 ч 15 мин дня.*

«Вопреки распространившимся слухам, что между убитыми находится генерал Черняев и Радец- кий, мы можем сообщить, что их на поезде, подвергнувшемся крушению, не было.

30 числа на место несчастья управлением дороги послан экстренный поезд с докторами и хирургическими инструментами.

На место катастрофы приехал по Высочайшему повелению из Министерства путей сообщения командированный генерал Пузанковский.

Река Зуша, после ливня 29 июня, поднялась на десять аршин, сорвала все мосты, разрушила несколько мельниц, перетопила лошадей и рогатый скот».

*Тула, 5 ч 40 мин веч.*

«Последние четыре вагона спасены благодаря находчивости кондукторов. Сообразив, что с передними вагонами случилось несчастье, они затормозили свои вагоны, остановившиеся как раз над пропастью. Один из этих кондукторов, Прохоров, упал в пропасть, но его вытащили спасенные пассажиры веревками; он ранен и отвезен в Москву <„>. С курьерским поездом на место катастрофы приехал сегодня прокурор судебной палаты.»

*Скуратове, 7 ч 30 мин веч.*

«Из Тулы едут триста солдат для откопки вагонов, затянутых илом, землей и песком. Вагонов не видно вовсе. (подч. в тексте — авт.)»<sup>6</sup>

Сообщение со станциями Московско-Курской железной дороги установилось: по обеим сторонам от провала насыпи, насколько можно было приблизиться к местам раскопок, стояли дежурные поезда, которые курсировали до места катастрофы и обратно. Это и позволило репортеру Владимиру Алексеевичу Гиляровскому отправлять ежедневно по телеграфу в Москву по несколько корреспонденций.

### ***Когда Вы будете в Спасском...***

Телеграммы «Московского листка»  
(от нашего корреспондента) с места катастрофы на Курской железной дороге:

#### ***3 июля.***

«Сегодня с раннего утра началась раскопка вагонов. Работают масса землекопов и четыреста солдат; работа идет очень медленно; пока откапали лишь несколько вещей из багажа; трупов ни одного. Из земли слышен могильный запах. В числе погибших называют генерала Розенкампа, семейство директора Таганрогской гимназии, петербургскую актрису Петрову. Раненые корнет Шабельский и Николаев в Орле. Пассажиры через место катастрофы переправляются пешком. Следствие идет».<sup>7</sup>

#### ***4 июля, 1 ч утра.***

«Вчера вечером прибыл командированный по Высочайшему повелению генерал Клевещкий. По приезде его работы землекопов и солдат пошли несравненно энергичнее. Работали и ночью, при свете бесчисленных костров. Картина была изумительная и печальная. К утру докопались до основания насыпи, и к удивлению нашли только мелкие обломки вагонов, из чего и следует заключить, что вагоны с погибшими ушли в материк. Утром отрыли крышу вагона и несколько мест багажа. Нашли также хорошо сохранившуюся дамскую шляпку, ботинок и несколько карамелек от Абрикосова.

Вчера же, днем еще, с прокурором Палаты г. Гончаровым и лицами, находившимися около него, едва не случилось большого несчастья: они стояли на высокой насыпи, и вдруг, рядом с ними образовалась широкая трещина более десяти саженей глубиной, на дне которой чернелся ил. После этого случая доступ публике на насыпь воспрещен.

#### ***2 ч дня.***

«Сегодня утром г. Миллером, поверенным родственников, погибших при крушении лиц, сделано заявление прокурору Палаты о том, что он, Миллер, вступает в дело гражданским истцом. Доверенности выданы ему от трех лиц. Г. прокурор дозволил г. Миллеру присутствовать при следствии. В числе погибших при крушении были, как утверждают, жена присяжного поверенного Немчинова, сын священника Сретенский, учитель радомской гимназии, ехавший в отпуск к отцу. Погибла также жена одного купца, молодая женщина; в слезах и отчаянии ждет розыска ее несчастный муж. Раскопки продолжатся недели три».

#### ***3 ч дня.***

«Курская дорога решила подвести под насыпь, на которой случилась катастрофа, каменную арку; пока до выстройки ее и восстановления насыпи будет сооружен обходной деревянный мост <...>. В четыре часа пополудни отрыли стенку вагона и, проломив ее, наткнулись на человеческие трупы; видна была только нижняя часть туловища; ноги были в лакированных сапогах и черных суконных брюках, но раскопки вынуждены были прекратить вследствие того, что локомотив грозил падением <...>.

Между станциями «Думчино» и «Отрада» подле моста через Лисицу (станции между Мценском и Орлом; Лисица — река — *прим. авт.*) произошел еще громадный обвал. Пассажиры приглашаются переходить через временный мост пешком, а затем пересаживаются в другой поезд».<sup>8</sup>

...Глубокий вечер трудового дня... Хотя разве справедливо назвать так эти бесконечные шесть дней и ночей, проведенные здесь, в самом центре людского горя!..

С каждым часом работать становится труднее... За время раскопок практически ни разу не удалось внимательно оглядеться вокруг, как следует выпасться. Отвращала от себя еда; лишь постоянно мучила жажда. Выручал добряк Васька, словно бездомный пес, обласканный случайным прохожим, привязавшийся к нему и готовый для него на любой подвиг.

Все эти трудные дни он не отходит ни на шаг, помогая в самых различных обстоятельствах: носит

и возит на телеграф многочисленные телеграммы по несколько раз в день, выполняет другие мелкие поручения и так же, как все здесь, участвует в раскопках, испытывая ту же жалость к потерпевшим и полную беспомощность.

Оба они, и Васька, и его покровитель, стали похожи на какие-то существа, лишь отдаленно напоминающие людей: волосы слиплись, глаза провалились, лицо и тело покрыто грязью, а одежда готова вот-вот превратиться в лохмотья... С укором поглядывает парнишка на своего так полюбившегося ему старшего друга и, жалея его, просит:

— Дяденька, пойдемте к нам в хату, мамка звала: щец, картох поедим, поспите...

— Нет, малыш... Есть я не могу, а вот испить бы холодненького...

Пока верный Васька бегает за питьем, репортер отходит подальше к ручью, присаживается на траву, внимательно осматривается.

Со стороны все здесь происходящее кажется полной неразберихой: сотни людей, перепачканных, как и он, словно бы попусту суетятся. Но он — живой свидетель того, что каждый из них свое дело знает, и цель у всех одна: по сантиметрам, словно кроты, роют они землю, вгрызаются в нее, осторожно вынимают теперь никому не нужные железки и деревянные обломки... Ведь под ними — люди — и потому бережно высвобождаются вещи погибших. А если обнаруживается человеческое тело, то люди сбегаются на это место со всего пространства работ и все вместе по крохам, по миллиметрам, уже не лопатами и кирками, а ставшими вдруг нежными и чувствительными пальцами грубых рук выбирают землю вокруг несчастного погибшего... Будто от того, в каком виде удастся высвободить из-под обломков раздавленного, будет зависеть его воскрешение...

Нередко приходится видеть при этом, как бравый солдат при виде очередной отрытой жертвы украдкой смахивает набежавшую на глаза горестную слезу, а другой товарищ его в стороне молится за упокой души несчастного...

После многодневных ливневых дождей, превративших землю вокруг в жидкое месиво, все время пребывания здесь нещадно палит солнце. От него некуда укрыться... Даже невооруженным глазом видно, как густо парит земля. Вместе с влажным воздушным потоком в атмосферу выбрасываются волны тошнотворного трупного запаха, дурмнящего порой до обморока. А работы по извлечению трупов погибших по-настоящему только лишь начались... Надо продержаться здесь до конца, ведь в противном случае весь труд, все пребывание здесь столько дней попросту потеряют свой смысл... Итак, еще раз собраться с силами, привести себя в порядок, переодеться, передохнуть, — и снова за работу!.. Не упустить ни единой мелочи...

При каждой показавшейся из земли новой жертве молнией сверлит мозг: неужели кто-либо из знакомых?!.. Но пока в этом смысле все благополучно. А ведь такое могло бы случиться наяву, не произойди накануне крушения казус...

### *Из воспоминаний В. А. Гиляровского*

«Небольшой компанией мы 29 июня собрались у М. В. Лентовского в его большом садовом кабинете.

На турецком диване спал трагик Анатолий Любский, напившийся с горя. Он должен был уехать в Курск с почтовым поездом на гастроли, взял билет, но засиделся в буфете, и поезд ушел без него. Прямо с вокзала он приехал к М. В. Лентовскому и с огорчения уснул на диване.

На рассвете сели ужинать, все свои — близкие; из чужих был только приятель М. В. Лентовского, управляющий Московско-Курской железной дорогой Константин Иванович Шестаков.

Ели почти молча, только изредка перебрасываясь словами. Вдруг вбежал официант — и прямо к К. И. Шестакову:

***Когда Вы будете в Спасском...»***

— Вас курьер с вокзала спрашивает, Константин Иванович, — несчастье на дороге!

— Что такое? Зови сюда! Нет, лучше я сам выйду.

Через минуту он вернулся.

— Извините, ухожу!

Схватил шапку, весь бледный.

— Что такое, Костя? — спросил его М. В. Лентовский.

— Несчастье, под Орлом страшное крушение, московский поезд провалился под землю. Прощайте!

Пока он жал всем руки, я сорвал с вешалки шапку и пальто и незамеченным исчез.

У подъезда на Божedomке в числе извозчиков увидел лихача-мальчугана Птичку, дремавшего на козлах.

— Птичка, на Курский вокзал, вали!

— Три рубля, — ответил он спросонья.

— Вали!

<...> У платформы стоял готовый поезд с двумя вагонами третьего класса и тремя зеркальными, министерскими, сзади <...>. Я вскочил прямо с полотна на подножку второго министерского вагона, где, на счастье, была не заперта дверь <...> поезд двинулся и помчался <...>. Суток через двое из Москвы и Петербурга приехали Львов-Кочетов из «Московских ведомостей», А. Д. Курепин из «Нового времени», Н. П. Кичеев из «Новостей» Нотовича и много разных газет и публики из ближайших городов и имений».<sup>9</sup>

От воспоминаний отвлек знакомый мальчишеский голос:

— Вот, дяденька, испейте... мамка прислала... кваску холодненького, — протягивает ему парнишка пузатый глиняный объемистый жбанчик...

Блаженству нет конца: жадно припадают иссохшие губы к краю глиняного кувшина. Ядреный ледяной деревенский квас освежает рот, горло, все нутро, струйками стекает мимо рта на голую грудь <...>. Последние глотки cedятся губами медленно, долго: продлить бы подольше удовольствие...

— Ну, Вася, вот напоил-то, вот уважил... будто силу богатырскую влил ты в меня, сынок, — говорит великан, отдавая назад посудину, а парнишка, будто зачарованный, все глядит и глядит в лицо своему старшему, умному другу, не в силах оторвать взгляда от этого широкого бородатого доброго лица.

— Ну, вот что... на-ко тебе денюжат да слетай-ка завтра во Мценск, и купи нам по штанам да по рубахе, не то нас с тобой скоро бродягами посчитают, арестуют и в кутузку, — горько шутит он, давая верному Ваське очередное поручение, — вымоемся завтра в ручье, переоденемся во все чистое, передохнем...

Но назавтра, 5 июля, «раскопки насыпи продолжаются энергически. Управление Курской дороги определяет убыток свой в 45—50 тыс. р. ежедневно. Главнейшая причина такого убытка — остановка товарного движения. Пассажирское движение также значительно уменьшилось. Ожидают присылки из Петербурга командированного по Высочайшему повелению или одного из генерал-адъютантов (кого именно, точно неизвестно), или же флигель-адъютанта князя Суворова. Следствие по делу до сих пор ведется самим прокурором Московской судебной палаты г. Гончаровым, и, судя по ходу его, причина крушения будет разъяснена обстоятельно <...>».<sup>10</sup>

Единственный раз в течение всего периода работ на раскопках репортер Гиляровский изменил себе: в этот день он не прислал в «Московский листок» ни единой строчки для сообщения в газете... Это было 6 июля. И на следующий день, 7 июля, «Московский листок» впервые удивил своих многочисленных читателей, не поместив сообщения с места катастрофы... Забеспокоился владелец газеты о судьбе своего самого оперативного репортера, сотрудники газеты удивленно и недоуменно смотрели друг на



друга и пожимали плечами, мальчишку-рассыльного в течение дня несколько раз гоняли на телеграф... Но репортер молчал.

А рано утром шестого июля после очередной бессонной трудовой ночи, привалившись спиной к обломкам вагона, он, обессиленный, дремал, слегка прикрыв веки. Но все его большое тело и чуткий мозг были до предела напряжены и тотчас отзывались на все, что происходило вокруг; стоило появиться какому-либо новому сообщению, — как он опять принимался за работу...

Сегодня должны поднимать паровоз, стянутый в пропасть передними вагонами. Это длительная, трудная, тяжелая операция, которая, вероятно, продлится весь день... Затем начнут отрывать погибших... Но ночью, при свете костра, все это делать трудно и опасно, поэтому работы, которых с нетерпением ждут все, находящиеся теперь на месте происшествия, придется отложить почти на целые сутки...

Солнце все так же нещадно палит, хотя пока — лишь утро. А днем жара станет и вовсе невыносимой... Все окрестные деревни полны съехавшимся народом. Среди них — и родственники погибших, и помещики соседних имений, и крестьяне окрестных деревень — все они с нетерпением и ужасом ждут предстоящего вскоре страшного зрелища, с волнением готовятся услышать и новые имена погибших...

Движение вокруг места катастрофы заметно. Подъезжают многочисленные экипажи: кареты, пролетки, линейки, телеги... Останавливаются вдали по обе стороны полотна, так как приблизиться к нему небезопасно: спасатели уже несколько дней дезинфицируют местность, и воздух пропитан запахом извести.

А толпа в окрестных полях все увеличивается. Тут и дамы в пестрых нарядах с разноцветными зонтиками, и крестьянки в платках, кофтах и сарафанах... Собираются группами, прохаживаются взад и вперед, подолгу сидят на пригорках...

Среди пестрой массы ожидающих мелькают знакомые лица. Но желания встретиться нет. Да и выглядит наш герой далеко не парадно <...>. Но так хочется подняться наверх из этого ада, выйти в поле, подышать свежим прохладным воздухом...

— Володя... Гиляровский, ты ли это, дорогой?! — слышится вдруг совсем рядом до боли знакомый голос...

Это давнишний добрый приятель, писатель-педагог Евгений Гаршин, родной брат писателя Всеволода Гаршина...

### *Из воспоминаний В. А. Гиляровского*

«Он увидел меня и ужаснулся. Действительно, обросший волосами, не чесанный и не мытый больше недели, с облупившимся от жары загоревшим дочерна лицом я был страшен.

— Ты ужасен!.. Поедем к нам, это рядом, поедем, вот мои лошади. Вымоемся, передохнем! — стал он меня уговаривать <...>. Я провел Е. М. Гаршина по работам, показал ему внизу, далеко под откосом, морг, вырытый в земле <...>. Запах был невыносимый <...>. Гаршин не выдержал ароматов морга, и мы быстро покинули ужасное место <...>.

Я захватил с собой новую розовую ситцевую рубашку и нанковые штаны, которые «купил» мне накануне в Мценске мой стременной Вася, малый из деревни Кукуевки, отвозивший на телеграф мои телеграммы и честно состоявший при мне все время для особых поручений.

На мой вопрос, к кому мы едем, Е. М. Гаршин ответил, что гостит у знакомых и что мы едем к нему в садовую беседку,купаемся в пруде, и никто нас беспокоить не будет.

Проехали верст пять полями. Я надышаться не мог после запахов морга и подземного пребывания в раскопках, поливаемых карболкой.

*Когда Вы будете в Спасском...»*

Мы подъехали к огромному парку, обнесенному не то рвом, не то изгородью. Остановились, отпустили лошадей и очутились в роскошном вековом парке у огромного пруда. Тишина и безлюдье.

— Ну-с, теперь купаться!

Душистое мыло и одеколон, присланные мне из Москвы, пошли в дело. Через полчаса я стоял перед Е. М. Гаршиным в розовой мужицкой рубашке, подпоясанной калмыцким ремнем с серебряными бляшками, в новых, лилового цвета — вкус моего Васьки — нанковых штанах и чисто вымытых сапогах с лакированными голенищами, в которых я так страдал от жары на Кукуевке при непрерывном солнцепеке.

Старое белье я засунул в дупло дерева.

— Ну, теперь пойдем, — позвал меня Е. М. Гаршин. Прошли десятка два шагов. На полянке, с которой был виден другой конец пруда, стоял мольберт, а за ним сидел в белом пиджаке высокий, стройный, величественный старик с седой бородой и писал картину. Я видел только часть его профиля.

— Яков Петрович!

— А-а, Евгений Михайлович! Я слышал, кто-то купается, а это вы, — не отрываясь от работы, говорил старик.

— Я, да и не один. Вот мой старый друг, поэт Гиляровский.

Старец обернулся и ласково-ласково улыбнулся:

— Очень, очень рад. Где-то я на днях видел вашу фамилию, ну вот недавно, недавно...

— А корреспонденции из Кукуевки, — вмешался Е. М. Гаршин, — как раз вчера мы с вами читали (...) я его оттуда и привез.

— Так это вы? Мы все зачитываемся вашими корреспонденциями. Какой ужас! В других газетах ничего нет. Нам ежедневно привозят «Листок» из Мценска. Очень, очень рад... Ну, идите к Жозефине Антоновне, и я сейчас приду к обеду. Очень рад, очень...

Мы быстро пошли.

— Кто этот славный старик? Уж очень знакомое лицо, — спрашиваю я.

— Да Яков Петрович Полонский, поэт Полонский, я гощу у него лето. Иван Сергеевич не приехал, хотя собирался (...). А вот Яков Петрович и его семья здесь.

— Какой Иван Сергеевич? — спрашиваю я.

— Да Тургенев, ведь это его имение Спасское-Лутовиново.

Я окончательно ошалел, да так ошалел, что, ничего не видя, ничего не понимая, просидел за обедом, за чаем в тургеневских покоях; ошалелым гулял по парку с детьми Полонского, гулял по селу, ничего не соображая, что видел, и теперь ничего не помню.

Помню только, что не мог есть мяса в первый раз в жизни, и помню, что после ужина меня уложили в кабинете Ивана Сергеевича на его знаменитом диване «самосоне». Такой широкий, что хоть поперек ложись.

В четыре часа утра, простившись накануне, я уехал на Кукуевку.<sup>11</sup>

Это был драгоценный подарок судьбы... За всю многотрудную, переполненную лишениями и страданиями жизнь... И особенно — за последнюю неделю его существования на этой земле, полную безысходного горя.

В Кукуевку он снова ехал по тому же, теперь обратному, пути. Ехал, перебирая в памяти все происшедшее. И по-прежнему чувствовал глубокое волнение от неожиданной встречи с прекрасной родиной великого писателя...

Вот слева промелькнула деревенька в густых зарослях деревьев и кустарников, немного ближе — другая, побольше, с подступающим прямо к проселку вековым парком... А вокруг, насколько хватало взора, во всю ширь простирался бескрайний зеленеющий простор.

Вот и Кукуевка показалась... По обе стороны этого многолюдного многострадального бивуака кипела жизнь: «вагоны всех классов, от товарных до министерских, населенных прокурорами, инженер-генералами и простыми железнодорожными рабочими и землекопами, — ну прямо город на колесах!...»

Вокруг кольцо военной охраны и толпы гуляющих зевак, съехавших сюда, как на зрелище, стояли сплошной стеной.

А репортеру снова предстоял тяжкий труд — от рассвета до полуночи не отходить от рабочих... С восьмого июля, когда московский оптик Пристлей поставит электрическое освещение, присутствовать на работах и ночью: дремать, сидя на обломках, и лихорадочно вскакивать, просыпаясь от оглушительных возгласов спасателей при каждом показавшемся из земли труп...

«Московский листок» ждал новых сообщений с места катастрофы, пополнения имен скорбного списка погибших...

Телеграммы с места катастрофы:

*7 июля.*

«Сегодня в И часов утра открыт первый труп, страшно изуродованный — это артельщик Лямин-ской артели — Андреев. В шестом часу пополудни откопана неизвестная женщина простого звания (...). Из земли и обломков показалась еще человеческая нога (...) положение трупа было ужасно <...>. Лица невозможно было узнать <...>. По словам крестьянок из соседних деревень, явившихся через несколько минут после крушения, — она кричала о помощи, но находилась над серединой пропасти. Труп уже начал разлагаться. В ее сумочке обнаружены деньги в количестве 91 р. 18,5 к., из которых 10 р. 18,5 к. в кошельке и 80 руб. зашиты в платье, серебряный крестик, бусы, гребенка, ножик и билет прямого сообщения от Тулы до Киева».

*8 июля, 7 ч утра.*

«Вчера поставлены были оптиком г. Пристлей две электрические батареи в 120 элементов для освещения места работы. Работы производились и ночью при освещении двумя солнцами. Утром работы продолжались. Сплыв насыпи, образовавшийся ниже трубы, перерыл весь, но в нем, кроме колен и обломков чугунной трубы, ничего не оказалось.

Выше насыпи, в сильно размывшемся после дождей пруде, делается плотина для задержания воды в предупреждение промыва насыпи и для обнажения отверстия трубы.

Работа при раскопке насыпи предстоит многотрудная, так как от мелких деревянных и железных остатков вагонов до крупных железных брусьев, в сотню пудов весом, изломанных и исковерканных, все переплелось между собой, скреплено тяжелой, как свинец, сырой глиной. В овраге слышен временами уже довольно сильный трупный запах, так что приходится употреблять дезинфекционные средства. Погода все время хорошая..

В 7 часов утра из-под груды железных остатков вагонов был вынут труп начальника отделения департамента государственного казначейства, коллежского асессора Александра Андреевича Голенковского».

*8 июля.*

«Сегодня в 10 часов утра с большими усилиями открыт труп 13-летнего крестьянского мальчика, в ситцевой рубашке. У несчастного разбита грудь, скулы свернуты; узнать трудно. Открыто несколько багажных мест, дорожные часы, чемоданчик, принадлежащий раненому Щабельскому. Раскопки продолжаются. Слух, будто найден живой, ложен. Приехал присланный графом Барановым инженер Петлин. Ждут товарища министра путей сообщения (...). Место катастрофы — это монумент, сооружение человеческой корысти <...>. Дорога работала в негодном виде, приносила миллионные дивиденды, основанные на безобразном положении ее. Она стоила дешево, но еще дешевле, чем это, ценилась жизнь пассажиров ее <...>. Слабость ведомства путей сообщения, непригодность организации лиц, доведшей дело до такой страшной, во многом непоправимой катастрофы <...>.

Припомним в самом деле минуты, предшествовавшие катастрофе на ст. Чернь. Машинист, начальник станции, обер-кондуктор опасаются, дорожный мастер предупреждает об опасности, пассажиры просят приостановить отправку поезда <...>, машинист только что прошедшего поезда заявляет начальству о полученном толчке <...> и вот результаты, вот горький конец целой системы <...>».

Вл. Гиляровский

*8 июля.*

«Сегодня же утром, в груди поломанного железа, откопан 13-летний крестьянский мальчик. Сначала показалась его нога, босая, одетая в синие пестрядинные брюки. Громадного труда стоило освободить от сжимающих отовсюду

### ***Когда Вы будете в Спасском...***

обломков и земли самое тело несчастного: голова, сильно изуродованная, была защемлена между железной трубой, доскою и колесом. На нем находилась розовая ситцевая рубашка и старая изорванная жилетка, в кармане которой найден коробок из-под папирос. Труп был отнесен в нарочно устроенный морг, находящийся внизу оврага и представлявший из себя вырытый в земле погреб, крытый тесом, разделенный на несколько отделений и с одной стороны открытый. Через несколько времени по убитым была отслужена панихида, после которой все трое: артельщик Андреев, неизвестная женщина, отысканная вчера, и этот мальчик отвезены за три версты в село Ползиково, где и были преданы земле.

На месте раскопки находились разные вещи; некоторые из них родственники погибших признали за свои. Так, контр-адмирал Савельев, из Севастополя, признал найденный чемодан, принадлежавший его жене, ехавшей из Москвы и погибшей при крушении. Найден кусок офицерского мундира лейб-гвардии драгунского полка, и в кармане его обрывок приказа по полку, подписанный штабс-капитаном Сви-щевским. Найдено несколько чемоданов и багажных тюков. К вечеру начали показываться еще трупы. Но они так плотно сжаты железом, что пришлось раскапывать обломки. Вся ночь прошла в этой работе. Работали при массе костров, фонарей и двух электрических солнц. В девять часов вечера была отслужена по усопшим панихида.

9 июля стало официально известно, что потерпевшим катастрофу поездом, сопровождая старушку-тетку, ехал молодой студент Н. Н. Тургенев, племянник известного писателя И. С. Тургенева. Рассказывали, что он, не решаясь отпустить старушку, спешившую в Полтаву на похороны умершего брата, вызвался сопроводить ее; что она, точно предчувствуя что-то, всячески старалась отговорить его, но тот все-таки поехал; выехали они из имения своего со станции Сергиево

8 июля увезли в Москву отца погибшего, Н. П. Тургенева, разбитого параличом при этом страшном известии <...>. Он не пережил гибели своего единственного сына <...>.

### **С о о б щ е н и е « М о с к о в с к о г о л и с т к а » .**

***10 июля, 2 ч дня.***

«Вчера вынута семь трупов; в ночь на сегодняшний день еще семь, которые найдены между стенками вагонов все вместе. Сегодня днем вынута еще два трупа. Большинство трупов изуродованы и сильно разложились. Узнаются они по документам и редко по платью. Ежедневно служатся панихиды...»

*10 июля, 4 и 40 мин веч.*

«Сегодня только сделалось известным, что машинист погибшего поезда — Шибаев, раненный сдавившими его тендером и локомотивом и затем сброшенный на насыпь, умер 7 числа в госпитале в Орле.

Работы по устройству временного обходного моста начались уже, но, как уверяют, они окончены будут в полторы недели и начнется снова правильное движение.

Пересадка на месте катастрофы проезжающих по Курской дороге от Москвы и в Москву происходит так: около стоящих на пути служебных вагонов, по обеим сторонам их, устроены в три доски подмости; подмости эти тянутся на полверсты, углубляясь на сажень по крайней мере в верхнюю часть насыпи, через провалы. Багаж пассажиров и почту переносят солдаты, причем вся эта процедура происходит не менее получаса. Нельзя не заметить печального настроения переходящих место катастрофы пассажиров: все снимают шляпы, плачут; ни шутики, ни улыбки не заметите вы. Многие спешат сбежать вниз — взглянуть, что делается там, в проклятом месте.

В последующие дни стал известен еще ряд имен людей, погибших в катастрофе, останки которых были извлечены на поверхность. Это были: мценская мещанка Ирина Михайловна Полунина, И. А. Пелевин, А. С. Блажкин, Марья Ягинина — монахиня, И. М. Лясунов — крестьянин, А. Г. Галкин, целая семья Резвяковых из четырех человек. Разыскиваемый родными ехавший этим поездом Г. П. Овечкин не найден <...>».

*Телеграммы: 12 июля.*

«Вчера днем вынута семь трупов. Между вещами найден чемодан Святогор-Щепкиной. Сегодня докопались до воды. Найден труп Софьи Васильевны Волковой, почти не разложившийся. Здоровье машиниста Лачугина поправляется».

*12 июля.*

«Вчера было отслужено несколько панихид по убитым, причем вечером участвовало до пятидесяти человек певчих из Мценска. Потрясающее впечатление... Редко обходится без того, чтобы кому-нибудь не делалось дурно... А плачут почти все... Публики все меньше и меньше».

*13 июля.*

«Сегодня вырыто четыре трупа, между ними находится труп студента Тургенева...»

*Из письма И. С. Тургенева — Я. П. Полонскому, из Буживаля  
в село Спасское-Лутовиново Мценского уезда Орловской губернии, от 9 июля 1882 года:*

«Получил я разом твое письмо и письмо Жозефины Антоновны и «Спасский вестник» — за все спасибо — но не могу отделаться от потрясающего впечатления бастыевской катастрофы... Ужасные слова: «Стоны слышались под землею до 10 часов утра» — так и засели гвоздем в голову. Неужели же не было сейчас приступлено к раскопке? Может быть, в числе заживо погребенных находятся знакомые, друзья?... Ведь это тот самый поезд, который обыкновенно я всегда брал. Ради бога, сообщи скорее все, что узнаешь».<sup>12</sup>

*И. С. Тургенев — Ж. А. Полонской, 10 июля.*

«Бастыевская катастрофа продолжает мучить меня и волновать. С нетерпением жду более подробных известий. В газетах сказано, что в числе погибших находится сын моего двоюродного брата Николая Петровича Тургенева. Если это правда — то мне очень жаль этого юношу. Я познакомился с ним в Москве — где он был студентом. Его имя Николай <...>. Сегодня у меня выдался порядочный день. Однако ночью я все-таки был принужден прибегнуть к впрыскиванию морфином».<sup>13</sup>



***Когда Вы будете в Спасском...»***

*И. С. Тургенев — Н. А. Щепкину, 10 июля.*

«Какое это ужасное несчастье случилось в Бастыеве!! Говорят, один мой племянник погиб там. Пожалуйста, попросите Полонских, чтобы они мне доставили подробные сведения. Не сомневаюсь в том, что, если бы пришлось приютить какого-либо раненого в Спасском доме, они бы это сделали». <sup>14</sup>

*И. С. Тургенев — М. Г. Савиной, 11 июля.*

«Все эти дни я нахожусь под удручающим влиянием страшного известия о катастрофе на Курской дороге. Этот ужас произошел в нескольких верстах от Спасского. Полонские, которые теперь все в Спасском, сообщают мне подробности, от которых сердце леденеет. Ничего подобного еще не бывало. По всем вероятностям, в этом крушении погиб один мой племянник, Н. Н. Тургенев, прекрасный малый, которого я еще в прошлом году видел студентом в Москве. И какой мученической смертью погибли все эти несчастные!» <sup>15</sup>

*И. С. Тургенев — Ж. А. Полонской, 12 июля.*

«Но как меня измучила бастыевская катастрофа, — Вы представить не можете. Мне постоянно мерещатся эти несчастные, задохнувшиеся в тине, и хотя отытие их теперь уже конечно ничему не поможет — но я весь горю негодованием при мысли, что в течение нескольких дней ничего не было сделано.

Этот Николай Петрович Тургенев — мой двоюродный брат, у него имение в 40 верстах от Черни — и я знал его сына — видел его студентом в Москве. Прекрасный был малый, умный и честный, великан — голову был выше меня. Очень жаль и его, и его отца...

Это хорошо, что Вы принимаете посетителей; не сомневаюсь также в том, что в случае нужды Вы не откажетесь принять в Спасском доме каких-нибудь несчастных родственников погибших путешественников. Полагаюсь на Вас, милая Жозефина Антоновна, что Вы сделаете все то, что я бы сделал, если б находился на месте». <sup>16</sup>

*И. С. Тургенев — Я. П. Полонскому, 17 июля.*

«Ты удивляешься твоей усталости после сделанного тобою путешествия к Захарову пруду Ты пишешь письма в четыре страницы и извиняешься в нечетком почерке. Я же после пятой строки начинаю чувствовать боль и коли в плече, которые все увеличиваются. Ты можешь спать, когда захочешь, и щеголяешь борьбой против сна; я же без морфия глаз закрыть не могу <...>.

О, сколь различны наши положения!...» <sup>17</sup>

Т е л е г р а м м а от 14 июля.

«При раскопке трупов рабочие дошли до грунта. Московские власти уезжают, работы продолжаются под наблюдением местной прокуратуры. Встречаются обломки вагонов. Всех убитых 42.»

*15 июля.*

«Судебный персонал уехал. Раскопка трупов совершенно окончена, оставшиеся деревянные вещи, куски клеенки, войлоки, сукна, платья, вырытые из насыпи, а также морг — сожжены. Место крушения все дезинфицировано и засыпано негашеной известью. Работы по насыпи для обходного пути идут быстро, сегодня начали класть трубы.

Все частные посылки почтовые, оцененные в 160 руб., промоченные и пропитанные трупным запахом, сожжены вчера в Орле».

Вл. Гиляровский

Заканчивается трехнедельная печальная командировка... А солнце по-прежнему нещадно палит, заставляя страдать от вьезшегося в тело и одежду, да, кажется, и в самый воздух и небо, зловония...

Насыпь почти восстановлена. На запасных путях то и дело останавливаются и замирают на

несколько минут поезда, принимая редких пассажиров. Покидает Кукуевку и бытописатель катастрофы, известный столичный газетный репортер Владимир Алексеевич Гиляровский.

... Перевернута еще одна страница жизни...

Широкая ладонь мнет выгоревшую на солнце фуражку. Горячий ветер порывисто поглаживает бритую голову...

Суждено ли ему когда-либо вновь ступить на эту многотрадальную землю, однажды разверзшуюся и поглотившую сразу десятки человеческих жизней?..

А между тем поезд трогается с места и набирает скорость. Лишь в самый последний момент удается нащупать ногой ступеньку вагона...

Мелькает последний домик Кукуевки. Через минуту справа по ходу поезда остается отчетливо видная из окна вагона церковь в селе Ползиково и зелень садов, укрывших крестьянские дворы...

Кондуктор приглашает войти в вагон. Здесь светло и, главное, чисто. Не вступая в беседу с безмятежными попутчиками, он удобно укладывается на диване. Дрема теплом укутывает тело, тяжелые веки, наконец, смыкаются, удаляются звуки голосов. Тишина и покой...

Так продолжается, вероятно, довольно долго... Но вот уже знакомый голос вступает в сознание, напоминая о времени:

— Господа, готовьтесь, Москва... Курский вокзал!..

Вагоны выплескивают на перрон пассажиров. Их принимает и поглощает пестрая, говорливая людская толпа. Теперь она шумит и колышется. А спустя минуту — схлынет, оставив на перроне в отдалении небольшую группу людей. Оттуда долетают плохо различимые из-за вокзального шума, но явно ритмические звуки человеческого голоса.

Кукуевский пассажир останавливается, невольно прислушиваясь...

Всех слов разобрать нельзя. Но знакомые ритм, мелодия и образы не оставляют сомнений: кто-то, кажется, читает строки лермонтовского «Воздушного корабля». С детства знакомые строки:

По синим волнам океана,  
Лишь звезды блеснут в небесах,  
Корабль одинокий несется,  
Несется на всех парусах...

Не слышно на нем капитана,  
Не видно матросов на нем,  
Но скалы, и тайные мели,  
И бури ему нипочем...

По мере приближения к неподвижной толпе им овладевает вдруг странное чувство: слова стихотворения, или поэмы, доносятся все явственней и... неожиданно уводят его назад, туда, где он только что был.

Напряженно пытается репортер вслушаться:

Но тени напрасно сзывают:  
Судьям не под силу найти,  
Кого б наказать из служащих На  
Курско-Московском пути...

И каждый день грозные тени,  
Без рук, без голов и без ног  
Уходят в могилу с словами,  
Что есть и над судьями Бог!..

Сомнений не остается: Лермонтов... Но не «Воздушный корабль», а Кукуевская катастрофа...

Но вот голос смолкает, толпа расходится... На перроне остается лишь один нищий старик. Он приподнимает с

*Когда Вы будете в Спасском...»*

колен измятый картуз, держит его одной рукой, а другой выбирает из него монетки.

— Что это ты сейчас говорил, старик? — склоняется к самому лицу нищего замешкавшийся пассажир.

— А подай, Христа ради!., про погибель говорил... стих... Не слышал?

— Нет, не слышал... Скажи-ка еще раз, с самого начала...

В пустой картуз падает трехрублевая бумажка. Старик порывисто накрывает ее рукой... И устремляет глаза, полные слез, на неожиданного благодетеля.

А голос уже начинает звучать снова. Сначала дрожа, а потом становясь торжественно-размеренным:

По Курско-Московской дороге,  
На насыпи грозной, крутой,  
Стремительно поезд несется,  
Несется он в Курск, как шальной.

Не видно на нем инженеров,  
Не видно путейцев на нем,  
Но старые шпалы гнилые,  
И насыпь ему нипочем...

Так вот почему он сразу узнал стихи Лермонтова!.. Старик увековечил в них обернувшуюся трагедией людскую небрежность, стяжательство и жестокость.

Он прикрыл веки, раскачивается всем телом и забывает о слушателе...

Он смело летит по дороге,  
Свистки подавая порой,  
А сонный кондуктор не знает,  
Что насыпь размыло водой.

Есть место на этой дороге,  
Название его не секрет,  
Там, — надо сознаться, — к несчастью,  
Моста надлежащего нет.

Однажды, то было в июне,  
Во время трехдневных дождей,  
Размыло ту насыпь водою На горе для  
многих людей.

И вот, когда поезд бесстрашный По насыпи  
этой летел,  
Вся насыпь та вмиг провалилась,  
И поезд в песок погребла.

Нельзя передать той картины,  
Картины увечья людей,  
Картины разбитых вагонов,  
Картины ужасных смертей.

Вся масса смешалась с грязью,  
Зарылась в размытый песок,  
И помощи путникам бедным Никто оказать  
уж не мог...

С тех пор каждый день в этом месте,  
Где много погибло людей,  
Являются мрачные тени И грозно  
сзывают судей.

Тем судьям они обещают Пред  
Богом молиться за них,  
Чтоб только они разыскали  
Виновников гибели их...\*

Старик замолчал и обнаружил вдруг, что остался в одиночестве...

Его слушатель медленно удаляется по перрону, — блестят лакированные сапоги, склонилась на грудь лобастая голова, — как будто под тяжестью горестных раздумий...

\* Стихотворение выписано из безымянного рукописного альбома конца XIX века, обнаруженного в одном из старых Орловских особняков писателем В. Д. Почечикиным и любезно предложенное им автору в данную повесть (*прим. авт.*).

### Алифановы

<...> Но как же люблю мне  
Осеннюю порой, в вечерней тишине,

В деревне посещать кладбище родовое,  
Где дремлют мертвые в торжественном покое.  
Там неукрашенным могилам есть простор;  
К ним ночью темною не лезет бледный вор;  
Близ камней вековых, покрытых желтым  
мохом,  
Проходит селянин с молитвой и со вздохом... А.  
С. Пушкин. Когда за городом, задумчив, я  
брожу

— Будьте добры объявить остановку «Станция Ползиково» — мы едем туда в первый раз...

Машинист ежедневной полуденной электрички Орел — Тула, уже успевший ухватиться за тонкие металлические поручни трехступенчатой лесенки электровоза, поворачивает голову на голос пассажира и раздраженно спрашивает:

— Это где такое?

— А сразу за Кукуевкой...

— Это еще что за чудо?!

Мигом сообразив, в чем дело, приходится уточнить:

— Это 317-й километр...

— Ну-у... так и говорите... Значит, ваш будет 313-й... Все остановки объявляем, следите...

До места назначения путь довольно долг, по времени он займет почти полтора часа, и мой спутник, предки которого имели отношение к железной дороге, поведал мне удивительную повесть из их жизни...

Сам рассказчик — коренной орловец. Он — не литератор, но зато хорошо знает орловщину, и потому я попросила его быть моим спутником. Из его рассказа я узнала, что он — правнук крепостного крестьянина бывшего орловского помещика. И что был тот невысокий, степенный и рассудительный его предок к любой работе столь способен и старателен, что заслужил особое расположение хозяина, и

*Когда Вы будете в Спасском...»*



*Мария Ивановна Алифанова Maria Ivanovna Alifanova*

последний, известный в округе гурман, решил «осчастливить» его, послав в Париж обучаться новой профессии — кулинарному искусству.

После окончания учения он вернулся в родную деревню. Новую должность исполнял старательно и с большим искусством. Вскоре женился, родились дети, и в знак особой благодарности за усердие хозяин решил еще раз облагодетельствовать преданного слугу, дав образование его детям. Наиболее способные из них были отправлены для обучения в столицу.

Увлечшись занимательным рассказом, мы едва не проглядели за Мценском станцию Бастыево. Вот справа по ходу поезда промелькнул белоснежный бюст великого писателя. Здесь рельсы пересекают неширокую асфальтовую ленточку дороги на тургеневское Спасское. Сразу за насыпью она круто падает в глубокий овраг, медленно пробирается по его широкому днищу и вдруг резко взбегает на взгорок. Дальше все четыре километра дорога ровная, спокойная...

С трудом оторвав взгляд от окна, оставшиеся несколько минут пути я с удовольствием дослушиваю прерванную повесть теперь уже о деде моего спутника, оказавшегося одним из самых способных сыновей столь удачливого орловского крестьянина.

— Еще в дореволюционное время, — продолжал он, — юный дед мой с отличием окончил Петербургский технологический институт по железнодорожному отделению и впоследствии дослужился даже до звания полковника. К началу первой мировой войны он был уже пожилым человеком и служил начальником участка тяги Либаво-Раменской железной дороги. В 1914-м году во время наступления Германии на Прибалтику в самый последний момент успел вывезти оттуда семью — жену, двоих сыновей и трех дочерей — на родину в Орел... Жизнь свою окончил трагически. В 1920-м году был начальником



красного агитпоезда. Однажды во время отправки с очередной станции с ним случилась беда: при посадке в вагон ударился коленом об острый край ступеньки — и спустя несколько недель скончался от гангрены...

У нас как семейная реликвия передаются из поколения в поколение его личные часы-луковица с выгравированной на них дарственной надписью: «Алексею Евдокимовичу Чернякову от сослуживцев...»

А «сослуживцы» его — это восставшие в тысяча девятьсот пятом году железнодорожники. Было так: в первый же день выступления рабочих на станцию пригнали состав с казаками для подавления беспорядков на дороге. Но прибыл он только поздно вечером. И тогда начальник участка А. Е. Черняков отправил его на запасные пути и одновременно отключил электричество. Казаки ночь эту провели в теплушках, в полном бездействии...

Между тем наш поезд всего лишь на полминуты притормаживает у деревянного, покрашенного темно-коричневой паровозной краской типично железнодорожного строения с надписью: «313-й». Оставив на узенькой бетонной дорожке-платформе всего несколько пассажиров, электровоз, пронзительно свистнув, умчал свои послушные дачные вагончики вдаль...

Пришло время внимательно оглядеться по сторонам... Место незнакомое, вокруг — ни души... Возле одиноко стоящего дома, именуемого здесь казармой триста тринадцатый километр, тоже жизни незаметно... Зато конечная цель нашего путешествия — ползиковское кладбище — совсем рядом. Оно подходит почти к самым путям по другую их сторону, и прямо с платформы хорошо видны многочисленные голубые и зеленые металлические ограды вокруг могил, покоящихся под сенью старых деревьев. Стоит перейти пути, пройти несколько метров, спуститься в ров, а затем подняться на земляной вал, опоясывающий кладбище, — как попадаешь совсем в иной мир. Впечатление такое, словно уже ничто и никогда не коснется тебя своим беспокойным крылом... Солнечные блики с трудом пробиваются сквозь плотный полумрак вытянувшихся к небу древесных ветвей и дикой поросли, утоая и укрываясь в дремучем бурьяне, окружающем большинство древних, заброшенных могил. Среди них выделяются белизной и матовым блеском изящно оформленные мраморные памятники на могилах тех, кто оставил этот мир в не столь отдаленные времена и по ком еще по сей день горюют родные... Попадаются и остроугольные, покрашенные серебрянкой металлические башенки с красной звездочкой — память о прошедших последнюю жестокую войну и навсегда упокоившихся на Родине. С них глядят то хмурые, серьезные, а то — и улыбающиеся типично русские светлоглазые лица местных аборигенов, будто и не прикоснулась к ним костлявая рука смерти, — так и кажется, что вот сейчас встанут усопшие и пойдут по домам — заниматься каждый своим привычным, освященным веками ремеслом.

Попадаются и старые, в человеческий рост, как это было заведено еще в прошлом веке, гранитные, лежащие прямо на земле надгробья, на которых теперь невозможно разглядеть не только надписей, но и крупных крестов, обязательных на старых плитах...

Отчаявшись пробиться сквозь дремучие заросли к левому краю кладбища, пытаемся разглядеть одно такое надгробие, ищем надпись. Но тщетно... Зато напротив в большой семейной ограде мелькает знакомая фамилия — Алифановы... Слишком знакомая — и слишком значимая для нас... И поэтому на этом месте от такой неожиданной встречи хочется и побыть подольше, и поразмышлять немного, присев куда-нибудь. Но присесть здесь не на что... Не устраивают на русских сельских погостах скамеек, потому что некогда сельским жителям даже здесь, возле родных могил, долго задерживаться. Надо бы подольше побыть, повспоминать, поговорить о покойных... Но время не ждет, заботы не отпускают, гложут: время корову доить подходит... сено сгребать надо, вон туча находит...

В памятный день, с утра пораньше управившись по хозяйству, придут и придут на дорогие могилки родственники со всего прихода. Придут, не сговариваясь... Откупорят одну за другой бутылки с горькой, нальют в граненый стограммовый стаканчик и пустят его по кругу...

*Когда Вы будете в Спасском...»*

— Ну, спи спокойно, земля тебе пухом, — скажет усопшему брату брат и, огладив с обеих сторон усы, опрокинет стопку в рот и передаст ее стоящему рядом родственнику... Тот цедит маленькими глотками... женщины пьют — отворачиваются, прикрываясь стыдливо рукой: полагается пить всю — а непривычно... Заедают выпивку кружком колбасы, привезенной по такому случаю родными из города, огурчиком соленым закусят. Кружочки снимают сверху осторожно, негнувшись, задубевшими от тяжелой работы пальцами, а затем стыдливо и медленно жуют... Будто стыдятся того, что вот сами они — все еще живы и здоровы, а он, умерший бедняга, никогда уж не насладится жизнью... И все время стоят, не присядут... Перед уходом нальют последнюю стопку покойному, поставят ее на могилку, конфет дорогих насыпят, хлеба крошат: пускай, мол, птицы небесные клюют и поминают покойного... Уходят с кладбища все вместе, подолгу оглядываясь назад...

Фамилия Алифанов заставила нас насторожиться и даже присесть на старинную, густо покрытую землей, замшелую безымянную плиту против заботливо прибранных могил Алифановых...

Алифанов! Ведь это тот самый прославленный И. С. Тургеневым его егерь, а на охоте и просто друг и даже старший опытный товарищ, нередко жестоко бранивший и самого Тургенева, и его незадачливых спутников. Был он крепостным помещика Чернского уезда Тульской губернии П. И. Черемисинова, жил на оброке у другого помещика, Глаголева (обе деревни, принадлежавшие им — Черемисино и Глаголево — находятся недалеко от кладбища — *прим. авт.*). Полное же имя его было Афанасий Тимофеевич.

Биограф И. С. Тургенева И. Ф. Рында так писал в 1896 году о знакомстве писателя с Алифановым.

«Раз как-то Тургенев встретил Афанасия на охоте, разговорился с ним и, подметив в нем настоящего охотника, велел придти к себе в Спасское. Тургенев дал денег 1 000 рублей ассигнациями Афанасию безо всякого обязательства, но с условием, чтобы последний откупился на волю с семьей (жена, пять дочерей и сын) <...>, Иван Сергеевич поселил Афанасия в трех верстах от Спасского, именно в лесу, носящем название «Высокое» <...>».

А в 1866 году в письме к другу И. П. Борисову сам Тургенев сообщает и дату знакомства его с Алифановым:

«А бедный старичишка Афанасий, — пишет он, — истинно достоин сожаления. Эко, однако, как время летит! Как теперь помню я мою первую охоту с ним. Он, между прочим, удивил меня тем, что вытащил чуть ли не из сапога целого поросенка — да так и съел — без хлеба, но с дегтем, это было в 1835 году — то есть с лишком тридцать лет тому назад!!»<sup>2</sup>

Этого высокого стройного егеря хорошо знали многие друзья писателя, охотившиеся вместе с ним. А Е. Я. Колбасин оставил и описание его внешности. Но самый достоверный словесный портрет неизменного друга по охоте Афанасия принадлежит самому Ивану Сергеевичу Тургеневу, метко и красочно нарисованный в «Записках охотника» под именем Ермолая, неизменного спутника во всех охотничьих походах:

«Итак, мы с Ермолаем отправились на тягу; но извините, господа: я должен Вас сперва познакомить с Ермолаем (рассказ «Ермолай и Мельничиха»),

Вообразите себе человека лет сорока пяти, высокого, худого, с длинным и тонким носом, узким лбом, серыми глазами, взъерошенными волосами и широкими насмешливыми губами. Этот человек ходил и зиму, и лето в желтоватом нанковом кафтане немецкого покроя, но подпоясывался кушаком; носил синие шаровары и шапку со смушками, подаренную ему, в веселый час, разорившимся помещиком. К кушаку привязывались два мешка, один спереди, искусно перекрученный на две половины, для пороха и для дробы, другой сзади — для дичи („>“. Ружье у него было одноствольное, с кремнем, одавленное при том скверной привычкой «отдавать», отчего у Ермолая правая щека всегда была пухлее левой...».

В девятнадцати своих письмах из числа известных тургеневодам и опубликованных в полном акаде-

мическом собрании сочинений и писем И. С. Тургенев упоминает об Афанасии Алифанове. Письма эти полны тепла и участия к судьбе, пусть далеко не равного происхождения, но дорогого его спутника на протяжении нескольких десятков лет. Из содержания их ясно, что Ермолай — это Алифанов.

В письмах он называет его Афанасием, а в «Записках охотника» — Ермолаем.

«Жду описаний Вашей охоты в Шигровке, — пишет И. С. Тургенев А. А. Фету 22 июня 1859-го года из Бельфонте. Как-то она понравилась Николаю Толстому? У меня слюни текли при мысли, что я мог быть с обоими Вами там <...>. Что делать! (...) Хотел бы я посмотреть на него *в разговоре с «французом» Афанасием*» (курсив авт.).

А в вышеприведенном рассказе писателя об удивительно колоритной речи своего егеря Ермолая Тургенев рассказывает и о его собаке:

«Была у него и легавая собака, по прозванию Балетка, преудивительное создание. Ермолай никогда ее не кормил.

«Стану я пса кормить, — рассуждал он, — притом пес — животное умное, сам найдет себе пропитанье».

И действительно: хотя Балетка поражал даже равнодушного прохожего своей чрезмерной худобой, но жил, долго жил <...>, На охоте он отличался неутомимостью и чутье имел порядочное; но если случайно догонял подраненного зайца, то уж и съедал его с наслаждением всего, до последней косточки, где-нибудь в прохладной тени под зеленым кустом, в почтительном отдалении *от Ермолая, ругавшегося на всех известных и неизвестных диалектах*» (курсив авт.).

Нежно, почтительно и зачастую по-отцовски, словно к ребенку, относился Тургенев к Алифанову, который «представлял собою тип, — теперь уже, кажется, вымерший на Руси, — охотника с головы до ног, всей душой и помыслами преданного охоте (...). Приобретая себе пороховницу или какую-либо другую вещь для охоты, Тургенев не забывал и Афанасия, дарил и ему точно такую же <...>»<sup>4</sup>.

А в «Записках охотника» их автор терпеливо сносил все странности своего Ермолая и прощал ему многие недостатки, любуясь его талантом охотника, его независимостью, непосредственностью и удивительным пониманием природы.

«Ермолай был человеком престранного рода, — пишет Тургенев, — беззаботен, как птица, довольно говорлив, рассеян и неловок с виду; сильно любил выпить, не уживался на месте, на ходу шмыгал ногами и переваливался с боку на бок — и, шмыгая и переваливаясь, улепетывал верст шестьдесят в сутки. Он подвергался самым разнообразным приключениям: ночевал на болотах, на деревьях, на крышах, под мостами, сживал не раз взперти на чердаках, в погребах и сараях, лишался ружья, собаки, самых необходимых одеяний, бывал бит сильно и долго — и все-таки, через несколько времени, возвращался домой, одетый, с ружьем и собакой <...>»<sup>5</sup>.

Иногда писатель не скрывает и своей зависти к охотничьим успехам любимого егеря:

«Ездил я на куропаток — но опять нашел только помет. Убил двух гаршнепов. Исаев убил одного тетерева, Афанасий зайца и утку и несколько перепелов, — сообщает он Н. А. Некрасову».<sup>6</sup> А в письме к Полине Виардо через свое увлечение охотой как бы по-новому воссоздает образ Афанасия Алифанова:

«Вчера вечером, после чаю, я долго и подробно рассказывал добряку Афанасию о своих охотничьих подвигах в Бадене, о том, как там устраивают облавы с загонщиками, описывал ему, не без преувеличений, внешность фазана (он их никогда не видал) и забавлялся его изумлением. Бедняга никогда не видал ружья, заряжающегося с казенной части и узнав, что я привез одно такое Борисову, объявил, что пойдет посмотреть его, хотя бы ему всю дорогу пришлось идти пешком»<sup>7</sup>.

Живя за границей и не имея возможности часто встречаться с друзьями, писатель с любовью воссоздает по памяти картины родной природы, лица друзей, подробности охотничьих странствий и постоянно возвращается к ним в мечтах:

«Сегодня Петров день, любезнейший Афанасий Афанасьевич, (Фет — *прим, авт.*) — Петров

*«Когда Вы будете в Спасском...»*

день, и я не на охоте! Воображаю себе Вас с Борисовым, с Афанасьем, с Снобом, Весной, Дон-Даном на охоте в Полесье <...>. Вот поднимается черныш из куста — трах! Закувыркался оземь, краснобровый (...) или удирает вдаль к синему лесу, резко дробя крылами — и глядят ему вслед и стрелок, и собака (...), не упадет ли, не свихнется <...>. Нет, чешет, сукин сын, все далее и далее — закатился за лес — прощай! А я сижу здесь в Содене, пью воду и только вздыхаю!»<sup>8</sup>

... Бегут годы... Старее простодушный его приятель, слабеет телом, падает духом в преддверии непривычной оседлой жизни, — и в письмах начинают звучать грустные ноты и тоска по прошлому, тревога за судьбу Афанасия:

«Все Ваши распоряжения одобряю и, как Вы усмотрите из прилагаемого Вашего списка, утверждаю выдачи содержания пенсионерам, а также и уплату трех рублей ежемесячно старику Афанасию, которого вообще рекомендую Вам за прошедшие его ко мне услуги, — заботливо напоминает Тургенев своему управляющему об Афанасии Тимофеевиче Алифанове.»<sup>9</sup>

Рассказывая о своих писательских успехах другу И. П. Борисову, Тургенев вспоминает и Алифанова, вспоминает так, как будто бы последний и не живет где-то за тысячи верст, а все время находится рядом и дышит одним с ним, с автором, воздухом.

«Три раза в неделю я таскаюсь с ружьем в руках, а остальные дни едва дышу от усталости — ибо (...) увы! (...) плох я стал ногами не хуже Афанасья. — Вот Вам итог моего нынешнего сезона: 5 диких коз, 92 зайца, 82 куропатки, 15 фазанов, 10 перепелов, 1 вальдшнеп, 1 дикий голубь: всего 206 штук. У нас здесь есть молодцы, которые доколачивают шестую сотню, и не потому, что стреляют лучше, — но охота у них лучше; а меня — со времени появления «Дыма» здешние магнаты из россиян на охоту более не приглашают.»<sup>10</sup>

Когда в 1872 году Афанасий Тимофеевич Алифанов скончался, то в Париж была немедленно послана телеграмма, и Тургенев откликнулся на нее:

«Итак, Афанасий скончался (...). Жаль старого товарища по охоте!»<sup>11</sup>

Документы, письма, свидетельства современников подтверждают, что И. С. Тургенев после кончины А. Т. Алифанова перенес свою привязанность на его семью, до конца своих дней не переставая заботиться о жене Афанасия, его дочерях и даже о жене рано умершего сына своего егеря, выплачивая им пенсии и заботясь об их благосостоянии.

Великий писатель подметил, что Алифанов был удивительным рассказчиком, талантливым наблюдателем, знатоком птичьих повадок и нравов. Ведь сохранились свидетельства современников о том, что в тургеневском рассказе «О соловьях» слово в слово передан рассказ Афанасия Алифанова. Об этом пишет и Е. Я. Колбасин в одном из своих писем:

«Прелестный рассказ «О соловьях» не есть сочинение Тургенева, а буквально записан со слов Афанасия, великого специалиста во всех родах охоты, начиная с медведя и кончая гольцом».<sup>12</sup>

Свидетельствует об этом и сам писатель:

«Посылаю Вам, любезный и почтенный Сергей Тимофеевич, — пишет он Аксакову в 1854 году, — как любителю и знатоку всякого рода охоты, следующий рассказ о соловьях, об их пении, содержании, способе ловить их и пр., — списанный мною со слов одного старого и опытного охотника из дворовых людей. — Я постарался сохранить все его выражения и самый склад речи».<sup>13</sup>

Вот некоторые выдержки из этого рассказа:

«Лучшими соловьями всегда считались Курские; но в последнее время они похужели; и теперь лучшими считаются соловьи, которые ловятся около Бердичева, на границе; там, в пятнадцати верстах за Бердичевом, есть лес, прозываемый Треяцким; отличные там водятся соловьи (...). Ловить соловья дело немудреное. Нужно сперва хорошенько выслушать, где он держится; а там точек на земле расчистить поладнее возле куста, расставить тройник и самку прищипорить, за обе ножки привязать, а самому спря-

таться да присвистывать дудочкой, такая дудочка делается вроде пищика. А тайничок небольшой из сетки делается — с двумя дужками; одну дужку крепко к земле приспособить надо, а другую только приткнуть и бечевку к ней привязать; соловей сверху как слетит к самке — тут и дернуть за бечевку, тайничок и закинется. Иной соловей очень жаден, так сейчас сверху пулей и бросится, как только завидит самку; а другой осторожен: сперва пониже спустится да разглядывает — его ли самка. Осторожных лучше сетью ловить....

Соловьи у нас здесь (в Мценском, Чернском, Белевском уездах — Ив. Тургенев) дрянные: поют дурно, понять ничего нельзя, все колена мешают, трещат, спешат; а то вот у них еще самая гадкая есть штука: сделают эдак туу и вдруг: ви! — эдак взвизгнет, словно в воду окунется. Это самая гадкая штука. Плунешь и пойдешь. Даже досадно станет. Хороший соловей должен петь разборчиво и не мешать колена — а колена вот какие бывают:

Первое: *Пульканье* — эдак: пуль, пуль, пуль, пуль...

Второе: *Клыкание* — клы, клы, клы — как желна.

Третье: *Дробь* — выходит примерно как по земле дробь просыпать.

Четвертое: *Раскат* — trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ...

Пятое: *Пленканье* — почти понять можно: плен, плен, плен.

Шестое: *Пешева дудка* — эдак протяжно: го-го-го-го-го, а там коротко: ту!

Седьмое: *Кукушкин перелет*. Самое редкое колено; я только два раза в жизни его слышивал, и оба раза в Тимском уезде. Кукушка, когда полетит, таким манером кричит. Сильный такой, звонкий свист.

Восьмое: *Гу сачок*: Га-га-га-га ... У малоархангельских соловьев хорошо это колено выходит.

Девятое: *Юлиная стукотня*. Как юла — есть птица, на жаворонка похожая, — или вот как органчики бывают, — этакой круглый свист: фюиюиюиюиюиюиюиюию ...

Десятое: *Почин*: — эдак: тии-вить, нежно, малиновкой. Это по-настоящему не колено, а соловьи обыкновенно так начинают. У хорошего, нотного соловья оно еще вот как бывает: начнет — тии-вить, а там: стук! Это оттолчкой называется. Потом опять — тии-вить ... тук! тук! Два раза оттолчка — и в полудара, эдак лучше; в третий раз тии-вить — да как рассыплется вдруг, сукин сын, дробью или раскатом — едва на ногах устоишь, обожжет! <...)> (курсив — Ив. Тургенев).

Все это вспоминается на старом сельском кладбище, где покоятся земляки великого писателя, те, чьи отцы и деды были хорошо знакомы с этим ни на кого не похожим барином, бывшим желанным гостем в каждой окрестной деревеньке, деревне, селце ...

Бывал он, конечно, и у Алифановых, коль скоро приглядел в их семье егеря... И хотя с тех пор расселились Алифановы по окрестным селам и деревням, но выходцами они считаются именно отсюда.

Еще и сегодня в селе Спасском-Лутовинове мы встретим фамилию Алифановых, которые, как уверяют все в округе, и есть прямые потомки Афанасия. И могилы их на Спасском кладбище можно увидеть. Но об Афанасии Тимофеевиче живо напомнили нам и скромные погребения Алифановых именно здесь, на старом деревенском погосте...

## Село Ползиково

Село Ползиково оказалось совсем рядом с кладбищем. Нужно было снова перейти железнодорожное полотно и пройти вдоль него метров триста назад, в сторону Орла. Здесь, возле железнодорожной будки, пути пересекает автомобильная трасса, асфальтовая неширокая ленточка которой бежит влево, мимо села Ползиково...



На месте святого храма в селе Ползиково  
At the place of the saint temple in the village Polzikovo



На месте святого храма в селе Ползиково  
At the place of the saint temple in the village Polzikovo

Еще в прошлом столетии село Ползиково было хорошо известно на Руси. О нем писали:

«Село Ползиково-Боголюбское тож находится в 106 верстах от Тулы и в 14 верстах от Черни. Местность прихода — равнина между тремя дорогами: Моек. -Курск, жел. дор. в 200 саж. от храма, Московско-Киевской и старой большой. Сведений о первоначальном возникновении прихода не имеется, но в первой половине XVIII-го ст. он уже существовал. Название села происходит от фамилии его владельца г. Ползикова. Боголюбским же приход стал называться по местно-чтимой иконе Боголюбской Божией Матери. Приход состоит из села и деревень: Хмелин, Дороженки, Медвежьей; эти деревни составили первоначальную основу прихода. В более позднее время к приходу приписаны были деревни: Старая Льгово, Каверино, Кубиново (Орловск. губ.), Калиновка и Малая Льгово. Всех прихожан числится мужска пола 633 душ и женска пола 637 душ».<sup>1</sup>

С места пересечения автомобильной трассы с железнодорожным полотном виден и первый, оштукатуренный и побеленный домик села в окружении нескольких деревянных сараев и старых деревьев. Не доходя до этой окраинной ползиковской усадьбы от шоссе ответвляется вправо аллея. По ее сторонам неровной, редкой стеной стоят живописные вековые липы... Это, видимо, и есть входная дорожка в село.

По мере удаления от магистрали перед нами открывалась все более и более печальная картина: в могучих зарослях дикого кустарника, опутанного цепким, прочно прижившимся бурьяном, темнели корявые, давно не чувствовавшие на себе тепла человеческих рук, яблони. Атмосферой кладбищенского запустения веяло и здесь...

Когда идешь к живому огню человеческого жилья, а видишь вокруг одну пустоту, как хочется прибавить шаг или даже пуститься бежать — лишь бы поскорее выбраться из этого мрака на веселую, осве-

ценную солнцем полянку и увидеть хотя бы стену жилого дома!.. А еще лучше — увидеть и человека, идущего тебе навстречу... Но здесь, увы, не было видно ни домов, ни людей...

Наша дорожка заворачивала теперь влево, оставляя по правую сторону широченный очень глубокий и заброшенный овраг. Метрах в двухстах от нас к самому дальнему краю его прилепились несколько деревенских изб. Значит, жизнь здесь еще теплилась... Ускорили шаги, решив все же подойти к этим одиноким жилищам... Но от одного из них неожиданно отделилась черная точка. По мере приближения к нам она все увеличивалась и увеличивалась и превратилась наконец в фигурку человека. Вскоре мы разглядели и женщину, которая, приближаясь к нам, незнакомым людям, в нерешительности все замедляла и замедляла шаги... Мы остановились и решили подождать ее. Тогда и она остановилась... И тут, глядя друг на друга, мы рассмеялись...

— Здравствуйте... Вы здесь одна, что ли, зимовать остались?

— Да нет... тракторист колхозный с семьей... и другие... А я скоро уеду на зиму, в Тулу.

— А скажите, как величать вас...а то как-то неудобно... а нам ведь поговорить с вами нужно...

— Мария Ивановна я...

— А фамилия?

— Амоськина... по мужу.

— А родовая?

— А родовая —Алифанова...

От волнения мы не сразу опомнились и нашли, что сказать.

— Деда, отца ваших — как звали?

— Отец — Иван Тихонович... Дед — Тихон Терентьевич...

Нет, таких имен Алифановых мы не помнили...

— Церковь где здесь была? — обращаемся к Марии Ивановне на всякий случай, хотя отлично понимаем, оглядывая окрестности, что местную церковь, вероятно, постигла та же тяжкая участь, что и все остальные в округе.

— А вон, на горке она стояла... после войны на щебенку рували, дорогу ремонтировать... Ничего теперь нет, даже могил... Один старый памятник валяется, не осилили, видно, свезти, — и ведет нас женщина к самому возвышенному месту «села», залитому яркими лучами солнца.

На этом радостном солнечном пригорке, кроме нескольких старых тополей, мелкого подроста и некошеной осенней засохшей травы, больше ничего не было, и мы шли, собственно, по месту бывшего ползиковского кладбища... Ноги то и дело задевали за припорошенные лежалой землей камни... Ничто здесь не напоминало о былой торжественности и величавости.

— Церковь-то вы ползиковскую помните, Мария Ивановна?

— Как же... Я ведь только в пятидесятом году отсюда совсем-то уехала, а родилась и выросла здесь... Да и теперь только на зиму уезжаю... Еще, помню, девчонкой была, приход здесь большой был...

Да... приход села Ползиково, лежащего вблизи большой российской дороги, пересекавшей страну с севера на юг, был большим... Малиновый звон колоколов разносился на много верст окрест, и по религиозным праздникам до тысячи прихожан стекались в село. Ползиковский храм славился на всю округу своей красотой. Украшали его, как могли, все местные помещики... Самые ранние сведения церковноприходская летопись относит к 1731 году:

«На храмовой иконе Боголюбской Божией Матери, — сообщает она, — сохранилась надпись следующего содержания: «Лета 1731, июня 30 дня, сия каменная церковь, во имя Пресвятыя Боголюбския Божия Матери, по обещанию стольника Игната Андреева сына Ползикова. По Григорию достроил сию церковь, иконное писание и иконостас с божественною утварью церковною его родной брат Лев Игнатьев, сын Шишков.»<sup>2</sup>

В этой надписи кратко излагается вся история сооружения храма, а в предании, сохранившемся в

*Когда Вы будете в Спасском...»*



*Памятник воинам Великой Отечественной войны Monument to fighters of the Great Patriotic War*

*Место захоронения генерала В. Т. Вольского*

*Burial place of general V. T. Volskiy*

роду Ползиковых, упоминается и причина, побудившая стольника Ползикова построить храм: «Один из сыновей Ползикова, бывший офицером, обвинен был в краже во дворце драгоценного перстня, похищенного во время его дежурства. Стольник Ползиков был крайне поражен этим и потерял всякую надежду на оправдание сына, но во сне он утешен был явлением Божией Матери, которая уверила его в невинности его сына и в благополучном исходе для него дела. Вслед за этим является к Ползикову продавец икон и среди икон он нашел ту самую икону, которая ему явилась во сне. Он купил эту икону с обетом построить в честь ее храм, если его невинно пострадавший сын будет оправдан. Сын был оправдан, и благодарный отец заложил храм, dokonченный его наследниками. Это предание, видимо, подтверждается и приведенной надписью на иконе, из которой видно, что храм построен «по обещанию».<sup>3</sup>

— А где, вы говорили, старый памятник валяется? — переключаемся мы из далекого прошлого на действительность, — и женщина указывает рукой на каменную глыбу, лежащую вблизи от места бывшей церкви, полуприкрытую невысоким древесным подростом и сухой травой. Подходим к камню и видим... громадный, изваянный из гранита надмогильный памятник, опрокинутый набок, созданный несомненно талантливым скульптором. Одиноко и гордо лежит он, низвергнутый нечистыми и неверными, которые осмелились навечно скрыть земную усыпальницу того, в честь кого он был воздвигнут родными, друзьями, высоко чтившими память усопшего.

Этот тяжелый камень — массивный высокий столб редчайшей формы, тонкой отделки — свидетельствовал о величии этой земли и ее обитателей и, как все древнее и прекрасное, волнуящее воображение, уводил за собой в прошлое...

«В селе Ползикове два кладбища, — сообщал Владимир Алексеевич Гиляровский в одной из своих корреспонденций с места Кукуевской катастрофы. — Одно в самом селе, при церкви Боголюбской Божией Матери, а другое, новое, отстоит от него шагах в двухстах. Первое находится в овраге и переполнено могилами, так как церковь существует сто пятьдесят лет, а второе лежит на пригорке, под тенью густых ив... Это-то кладбище и выбрал адмирал...»<sup>4</sup>

9 июля 1882 года около 12 часов дня на ползиковском кладбище возле церкви хоронили погибшую в Кукуевской катастрофе жену контр-адмирала Ивана Илларионовича Савельева... Простой гроб с ее телом был погружен на месте катастрофы в багажный вагон специального поезда, чтобы отправить его на кладбище села Ползиково... Здесь, на пригорке под тенью густых ив, и похоронил адмирал дорогую спутницу всей своей жизни...

Ее труп, разложившийся и почерневший, был обнаружен накануне, 8 июля. «Лицо было прижато к колесу, на левой руке, которая была вытянута с противоположной стороны колеса, виднелось на указательном пальце золотое обручальное кольцо, через плечо надета сумочка, которая и была снята. Чтобы освободить труп, пришлось поднимать колесо. — Наконец, после долгих усилий, труп был вынут; при осмотре оказалась полная женщина, лет пятидесяти, одетая в платье из чесучи и темно-серый ватер-пруф, сильно изорванные; в сумке нашелся паспорт на имя жены контр-адмирала Савельева; на груди ладонка, перламутровый крестик и медальон эмалевый с золотым якорем, несколько счетов из магазинов: Белкина, Алпатовой и Кабалова, и вещи: пара бриллиантовых серег, бриллиантовое кольцо, брошь с жемчужиной и денег 78 р. 35 к. Тело изуродовано ужасно, лицо сплюснуто совершенно, труп разложился и по нему ползали черви.

Почтенный, седой старик контр-адмирал Савельев подошел к трупу, наклонился над ним и долго, долго рыдал:

— Бедная моя! Несчастливая моя!.. — слышалось сквозь всхлипывания почтенного моряка. — Кто и чем воздаст мне за эту потерю!

Адмирал плакал, как ребенок; его с трудом оторвали от дорогого ему трупа и увели...»<sup>5</sup>

Отпевали погибшую священник Алексей Вознесенский и ползиковский церковный псаломщик. В скором времени эта свежая могила украсилась богатым гранитным памятником, который был поставлен адмиралом... Уж не этот ли памятник мы и увидели на кладбище!

Долго бродили мы по этим местам, расспрашивая Марию Ивановну Алифанову и о военном времени, проведенном ею на родине. От Великой Отечественной войны и здесь остались зримые следы: на высоком постаменте с многими выбитыми на нем именами погибших было поставлено изваяние молодого солдата, держащего в прижатой к боку левой руке снятую с головы каску...

Против братской могилы павших в Великую Отечественную войну, в окружении тяжелых цепей, свисающих с чугунных столбиков, под высокими соснами стоял другой памятный знак: четырехугольный простой монумент с большой красной звездой вверху и мраморной дощечкой с надписью: «Здесь родился и провел детские годы выдающийся советский военачальник Вольский Василий Тимофеевич».

Алифанова не знала ни своего земляка Вольского, ни тех юных воинов, что погибли, защищая и освобождая ее родину, — ни того, кому принадлежал одинокий старинный памятник, опрокинутый наземь... Не помнила она и кладбища возле церкви. Видимо, снесено оно было очень давно... Но о Кукуевской катастрофе знала, и довольно много... И согласилась показать нам еще и места захоронения погибших пассажиров...

*Когда Вы будете в Спасском...*



*Дом священника House of a priest*

Могила их, как оказалось, находилась именно на том самом кладбище, откуда мы всего лишь час тому назад пришли в Ползиково и где обнаружили погребения целого семейства Алифановых. Но наше недоумение вызвало то, что Гиляровский писал о существовании в 1882 году двух кладбищ в селе Шишкове: переполненном, находившемся в овраге, и втором — на высоком холме. Их места, как нам представлялось, мы сегодня и разыскали. Но вот о третьем кладбище в селе Ползикове писатель не говорил...

Почувствовав наше недоумение, спутница рассказала нам, что третье кладбище — это и есть кладбище деревни Калиновки, которое подходит к самой железной дороге; и вот, возвращаясь на калиновское кладбище, мы прошли по шоссе и постояли возле беленого домика, попавшегося нам на глаза первоначально. То ли грусть по старым добрым временам преследовала нас в этих местах, то ли сами эти следы бывшего величия, которые мы находили здесь, придавали прелесть и какую-то таинственность всему окружающему... Аллея вековых деревьев несомненно вела к месту старой ползиковской церкви. Вот и садовая дорожка, она сохранилась во всей красе, и даже белый домик, казалось, был построен в те времена...

— Да, да! — говорит Мария Ивановна, — эта дорожка к церкви вела... в липах дом священника стоял... а вот в этом домике другой священник жил, чином поменьше. Я тогда маленькая была, но дом этот старый помню... Видите, окошечко на чердаке? — Так там светелка была... И окна большие, не как в деревенских избах...

Снова пошли мы вдоль железнодорожных путей и снова пересекли их, войдя под сень вековых деревьев калиновского кладбища. Мария Ивановна повела нас по дорожке вправо, куда мы сначала не смогли пробраться сквозь бурьян, думая, что там, кроме дремучих зарослей, ничего нет. Но оказалось, что за густым кустарником скрывалось еще множество захоронений, обнесенных оградами. Среди них выделялась укрытая яркими осенними листьями площадка с высаженными по кругу и напоминающими садовую древесную беседку вековыми липами-сестрами — почти одинаковой высоты. Посреди площадки



возвышался белый мраморный постамент в виде ворот с колокольной русской православной церкви, глубоко ушедший в землю.

— Вот это и есть братская могила погибших в Кукуевской катастрофе, — показывает на него Алифанова. — Здесь недавно и крест еще чугунный был, огромный такой... потом его разломали... еще недавно куски его валялись.

Она походила, искала остатки креста, но никаких следов его не нашла.

— А на чем же крест держался? И почему же здесь еще и мраморный памятник? — недоумевает мы.

— А это не памятник, — говорит она, — это только основание, для креста... Еще одна такая часть была... Вот если к этой с другой стороны приставить еще такую же и склеить, то сверху круглое отверстие получится, в которое и вставлялся крест...

Уходили мы с Калиновского кладбища, когда уже начали сгущаться сумерки. Мария Ивановна пошла по тропинке, идущей вдоль железнодорожного полотна справа, — к родственникам в Калиновку. А мы — прямо по бетонным шпалам, в Кукуевку, чтобы еще до темноты успеть туда... Минут пять шли параллельно с Алифановой: мы — по путям, она — по тропинке вдоль полотна. Переглядывались, переговаривались, улыбались друг другу. Затем эта немолодая, степенная, светлолицая и светлоглазая женщина, прощально помахав нам рукой, свернула в сторону, и вскоре ее статная фигура скрылась за деревьями.

Целых три километра пришлось нам идти до Кукуевки. По бетонным шпалам я шла в первый раз в жизни. Они оказались очень неудобными для ходьбы, не в пример прежним деревянным: ведь посередине они вогнуты, да еще каждые пять минут то сзади, то спереди слышался шум поезда, а затем раздавался и пронзительный свисток электровоза, предупреждавшего об опасности и заставлявшего спешно переходить с одного пути на другой, петлять и останавливаться, терпеливо пережидая, пока пройдет грохочущий тяжелый состав.

Сойти с путей было некуда. На всем протяжении трехкилометрового перегона насыпь была чрезвычайно высокой и почти отвесной. Поэтому, занятые нелегким переходом, мы не могли даже полюбоваться окрестностями и акварельными красками наступавшего осеннего вечера. Но устали смертельно, особенно устали ноги.

Пришли в Кукуевку уже в темноте, и не удалось ни осмотреть еще раз место катастрофы, ни сфотографировать его. В Кукуевке долго стояли в одиночестве против «казармы» возле столба с цифрой «317» на узенькой, шириной всего в один метр, бетонной платформе, ожидая шестичасовой вечерней электрички на Орел. Почти рядом, чуть не задевая нас, летели на юг московские поезда и каждый раз обдавали пробиравшей до самых костей ледяной струей. И казалось, что конца этому никогда не будет...

Но минут за десять до подхода нашего поезда на платформе поодиночке и небольшими группами стали собираться пассажиры. В основном это были мужчины в рабочей одежде. Платформу освещал всего один фонарь, и разглядеть людей было довольно трудно, лишь вспыхивавший порой неяркий светлячок папиросы озарял лица стоявших рядом.

Мы обсуждали волновавшие нас события: катастрофу, происшедшую совсем рядом; сожалели, что не успели все посмотреть и сфотографировать... А пассажиры, ожидавшие поезда, стояли в сторонке, равнодушно покуривая, но, видимо, к разговору нашему все же прислушивались, поскольку незаметно, один за другим, стали к нему подключаться...

Тут же постепенно выяснилось, что все они — или местные кукуевские жители, или же члены одной железнодорожной бригады, то есть путейцы, обслуживающие именно этот участок пути... Оказалось, все они хорошо знают о тех далеких событиях, именуемых Кукуевской катастрофой, и слышали подробности о ней от своих отцов и дедов...



*Калиновское кладбище*  
*Kalinovskoie cemetery*

*Основание креста на месте захоронения погибших в Кукуевской катастрофе*  
*Base of the cross at the burial place of the victims of Kukuevskaiia catastrophe*



Разговор вышел удивительно непринужденным и интересным: неторопливо, деликатно, с паузами, пытаясь папиросами, кукуевские железнодорожники рассказывали о причине трагедии, о той самой злополучной «трубочке», что вызвала катастрофу, о невиданном до тех пор грозном ночном ливне с бурей, валившем столбы, срывавшем крыши с изб, разметывавшим и уносившим стога сена, смывая их в бурные ручьи, несшиеся с невиданной скоростью вниз. И вот один такой стог поплыл якобы по длиннющему оврагу в сторону железной дороги. Он-то и забил проложенную под насыпью металлическую трубу, а быстро прибывавший ливневый поток, не находя выхода, стал собираться вдоль насыпи, размывая ее, и образовал громадное окно, над которым сверху повисли обнаженные рельсы...

— Железки-то с той катастрофы вон и сейчас еще валяются, — показывая рукой по направлению к месту катастрофы, говорит один из рабочих.

— Где ты их видал?! — возражает другой, — это когда было-то? Давно ничего нету... Заросло все...

— Ты не видал, а я — знаю! Пойдем, завтра покажу! От вагона железка!..

Так вот и беседовали мы, а единственная женщина, стоявшая в толпе, заметила:

— Моя бабушка тогда девкой была... Они ночью из ручьев все вещи ихние, самих их, вылавливали, вся Кукуевка...

Вдали ярким заревом засветился и пронзительным свистком возвестил о своем приближении поезд. Электровоз на минуту застыл у бетонного столба с четкой цифрой «317», со стуком и шипением на миг распахнув свои двухстворчатые двери, и выпустил в вагоны ожидавших его пассажиров. А затем неслышно сорвался с места...

А мы все поместились в двух дачных купе, продолжая прерванный разговор... Антонина Яковлевна Варфоломеева, одной из последних вступившая в наш разговор на платформе, оказалась действительно внучкой одной из крестьянок, принимавших живое участие в спасании потерпевших крушение пассажиров. Она и родилась в Кукуевке, и выросла здесь, и всю жизнь проработала на железной дороге.

— На этом-то поезде одне богатые ездили... генералы там, князья... Из Москвы на юг на курорты ехали... Разодетые все, в золоте... Их не так много, видать, было... ну, сто, может, сто пятьдесят, — где в таком поезде на каждого-то отдельное купе было взять, — говорила она. — Бабушка рассказывала: гром, грохот вдруг серед ночи... Мы повыскакивали, гыт, все из изб, вся деревня... Кругом полыхает пламенем, все горит, ничего не разобрать... Побежали на станцию, а туда — и не подойти: по шейку... Ливень-то какой все время был... Ну вот, добрались кой-как. Поезд — проваленный в яму. Вагоны — одне висят, другие — друг на друге, все разломанные... люди кричат подикому, — волосы, гыт, на голове дыбком вставали... Не видать как следует ничего, не подойти, топко. Кто как могли подбирались... только бесполезно... А те все кричат, да так страшно, дико... Не весь поезд рухнул, которые вагоны остались... Им бы в уцелевших-то вагонах посидеть бы смирно, пока подмога подойдет, а они в окна лезут, прыгают, прямо в трясину, и топнуть... Жуть, гыт, была... А кричали как!.. Ничего нельзя было поделать... Потом наши бабы стали кричать, что плывут, будто, убитые-то... Побегли все через насыпь к ручью... Правда, ручей-то перемахнул уже через нее и давай вымывать что потверже. Тогда и людей спасали, и вещи... Только люди-то были сильно изуродованные... А все одно помочь было нельзя... только что самим утопнуть...

Потом целый месяц из земли-то wygrебали все... Смерд стоял ажно надо всей деревней: после ливней-то жара началась страшная... Которых родственники опознали, гыт, тех они забирали и в гробах увозили хоронить. А которых так, помногу гробов сразу, отпевали прям возле морга, на месте, и возили на кладбища: в Калиновку, в Ползиково и в Богослов... Которые богатые были, тех возле церквей хоронили. А которых — так, в братских могилах... Вы сходите... В Ползиковой-то теперь кладбища нет, все

### **«Когда Вы будете в Спасском...»**

изничтожили, а в Калиновке и в Богослове и теперь еще хоронят... Там везде по кресту чугунному тогда поставили на подставках мраморных, это где все вместе были похоронены... Кабы пораньше немного, старики еще живы были, они бы порассказали... А теперь все повыверли, яркого нету...

Подумав, видимо, вспоминая что-то, она добавила к своему рассказу:

— Правда, дед один еще живой... В Богослове, Пузанков, Степан Семенович... ему за девяносто теперь... сходите, он может рассказать чего... от матери, от отца слышал, может... Это в Богослове, недалеко отсюда, километр-полтора, не более... За Кукуевку, через овраг перейти, мимо леска — и вот он, Богослов-то...

### **Богослов**

Надеюсь, что ваша совесть вам уже сказала, как вы не правы передо мной, особенно в глазах Фета и его жены. Поэтому напишите мне такое письмо, которое бы я мог послать Фетам. Ежели же вы находите, что требование мое несправедливо, то известите меня. Я буду ждать в Богославе.

Л. Толстой<sup>1</sup>

Во времена Тургенева и Толстого на перекрестке двух дорог: большой, к югу от Москвы примерно на середине пути между уездными городками Мценском Орловской губернии и Тульской Чернью, и идущей с запада на восток проселочной между имениями Л. Н. Толстого селом Никольским-Вяземским и тургеневским Спасским-Лутовиновым стояла известная всем, пересекшим хоть однажды Россию с севера на юг или в обратном направлении, большая почтовая станция — Богослов.

Невдалеке от нее, примерно в полукилометре от дороги, лежало село с точно таким же названием. .. То ли село звалось по имени станции, то ли сама эта станция появилась на большой дороге невдалеке от уже существовавшего поселения, но название им было дано одинаковое — Богослов.

А знаменитыми эти ничем не примечательное село и обыкновенная российская почтовая станция стали вдруг потому, что в течение нескольких майских дней 1861 года здесь происходили события, прочно и навсегда вошедшие в историю русской классической литературы: 27 мая молодой, нетерпимый к любой несправедливости и, конечно, поэтому считавший себя незаслуженно обиженным писатель Лев Николаевич Толстой здесь, в Богослове, ждал удовлетворения — ответного, покаянного письма от старшего по возрасту и пока еще более известного, нежели он сам, другого русского писателя — Ивана Сергеевича Тургенева...

А предшествовали этим обстоятельствам следующие события: 25 мая Толстой приехал в Спасское-Лутовиново к Тургеневу в гости. На следующий же день они вместе поехали к их общему другу поэту А. А. Фету в Степановку, где 27 мая в доме Фета за утренним кофе в присутствии хозяев дома, домочадцев и гостей жестоко поссорились, о чем впоследствии подробно рассказал в своих воспоминаниях Афанасий Афанасьевич Фет:

«Утром, — вспоминал он, — в наше обычное время, т. е. в 8 часов, гости вышли в столовую, в которой жена моя занимала верхний конец стола за самоваром, а я, в ожидании кофея, поместился на другом конце, Тургенев сел по правую руку хозяйки, а Толстой по левую. Зная важность, которую в это время Тургенев придавал воспитанию своей дочери, жена моя спросила его, доволен ли он своей новой английской гувернанткой. Тургенев стал изливаться в похвалах гувернантке и между прочим рассказал ей, как гувернантка с английскою пунктуальностью просила Тургенева определить сумму, которую дочь его может располагать для благотворительных целей.

— Теперь, — сказал Тургенев, — англичанка требует, чтобы моя дочь забирала на руки худую одежду бедняков и, собственноручно вычинив оную, возвращала по принадлежности.

— И это вы считаете хорошим? — спросил Толстой.

— Конечно: это сближает благотворительницу с насущною нуждою.

— А я считаю, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю, театральную сцену.

— Я прошу вас этого не говорить! — воскликнул Тургенев с раздувающимися ноздрями.

— Отчего же мне не говорить того, в чем я убежден, — отвечал Толстой.

Не успел я крикнуть Тургеневу: «Перестаньте!», как бледный от злобы, он сказал:

— Так я вас заставлю замолчать оскорблением.»

...Так передает Фет. А Софья Андреевна Толстая со слов мужа в своем дневнике за 23 января 1877 года сообщает и фразу, которая Толстому показалась оскорбительной:

«А если вы будете так говорить, я дам вам в рожу». <sup>2</sup> \*

«С этими словами, — рассказывает далее Фет, — он вскочил из-за стола, схватившись руками за голову, взволнованно зашагал в другую комнату. Через секунду он вернулся к нам и сказал, обращаясь к моей жене:

— Ради бога, извините безобразный поступок мой, в котором я глубоко раскаиваюсь...

Поняв полную невозможность двум бывшим приятелям оставаться вместе, я распорядился, чтобы Тургеневу запрягли его коляску, а графа Толстого обещал доставить до половины дороги к вольному ямщику». <sup>3</sup>

Как видно из письма Л. Н. Толстого А. А. Фету, посланному из Богослова на другой день, то есть 28 мая, Толстой еще ранее послал Тургеневу письмо, которым извещал, что прекращает все сношения с ним, «исключая, ежели он хочет, удовлетворения». <sup>4</sup>

К сожалению, письмо это до нас не дошло, но в записи Софьи Андреевны Толстой об этом рассказано так:

«Оттуда (т. е. из Богослова) Лев Николаевич послал за ружьями и пулями, а к Тургеневу — письмо с вызовом за оскорбление. В письме этом он писал Тургеневу, что не желает стреляться пошлым образом, т. е. чтобы два литератора приехали с третьим литератором, с пистолетами, и дуэль бы кончилась шампанским, а желает стреляться по-настоящему и просит Тургенева приехать в Богослов к опушке леса с ружьями <...> всю ночь Лев Николаевич не спал и ждал <...>». <sup>5</sup>

К утру в Богослов пришло письмо от Тургенева. Он писал:

«Милостивый государь, Лев Николаевич! В ответ на Ваше письмо я могу повторить только то, что я сам почел своей обязанностью объявить Вам у Фета: увлеченный чувством невольной неприязни, в причины которой входить не место, я оскорбил Вас безо всякого положительного повода с Вашей стороны

— и попросил у Вас извинения. Это же самое я готов повторить теперь письменно — и вторично прошу у Вас извинения. — Происшедшее сегодня поутру доказало ясно, что всякие попытки сближения между такими противоположными натурами, каковы Ваша и моя — не могут привести ни к чему хорошему; а потому я тем охотнее исполню мой долг перед Вами, что настоящее письмо есть, вероятно, последнее проявление каких бы то ни было отношений между нами. От души желаю, чтобы оно Вас удовлетворило

— и заранее объявляю свое согласие на всякое употребление, которое Вам заблагорассудится сделать из него.

С совершенным уважением, имею честь остаться, милостивый государь! Ваш покорнейший слуга Ив. Тургенев. С. Спасское. 27 мая 1861 г.» <sup>6</sup>

Ответ Толстого Тургеневу также неизвестен. Но из письма Тургенева ясно, что Толстой, оскор-



*«Когда Вы будете в Спасском...»*



*Станция Кукуевка*  
*Station Kukuievka*

*Николай Сергеевич Кулябин, бригадир путей 317-го километра*  
*Nikolay Sergeievich Kuliabin, brigade-leader of the railway track at 317 km*



бившись формальностью извинений обидчика, пожелал получить от него более прочувствованное письмо. А кроме того, он обвинял противника в трусости и непорядочности.

Письмо И. С. Тургенева от 28 мая/9 июня из Спасского свидетельствует о том, что, желая сгладить происшедшее, Тургенев подчинился капризу Толстого, вторично в письме извинившись перед ним, и признал вновь свою вспыльчивость, изъявив готовность исполнить требования Толстого.

«Ваш человек говорит, что Вы желаете получить ответ на Ваше письмо: — но я не вижу, что бы я мог прибавить к тому, что я написал, — отвечал он, — разве то, что признаю совершенно право требовать от меня удовлетворения вооруженною рукой; Вы предпочли удовольствоваться высказанным и повторенным моим извинением — это было в Вашей воле. Скажу без фразы, что охотно бы выдержал Ваш огонь, чтобы тем загладить мое действительно безумное слово. То, что я высказал, так далеко от привычек всей моей жизни, что я могу приписать это ничему иному, как раздражению, вызванному крайним и постоянным антагонизмом наших воззрений. Это не извинение, я хочу сказать — не оправдание, а объяснение. И потому, расставаясь с Вами навсегда, — подобные происшествия неизгладимы и невозвратимы, — я считаю долгом повторить еще раз, что в этом деле правы были Вы, а виноват я. Прибавлю, что вопрос не в *храбрости* — (курсив — Ив. Тургенев), которую я хочу или не хочу показывать — а в признании за Вами — как права привести меня на поединок, разумеется, в принятых формах (с секундантами), так и права меня извинить. Вы избрали, что Вам было угодно — и мне остается покориться Вашему решению.

Снова прошу Вас принять уверение в моем совершенном уважении». Ив. Тургенев

По словам С. А. Толстой, Лев Николаевич на это письмо отвечал Тургеневу:

«Вы меня боитесь, а я вас презираю и никакого дела с вами иметь не хочу».

Об этом анекдотичном эпизоде из биографии двух великих русских писателей оба они неоднократно писали своим друзьям и близким, не подозревая, что раскрывают в них интимные черты своего характера и особенности таланта.

«Я сам находился в довольно странном положении все эти дни: а именно — я чуть не подрался на дуэли <...> с графом Л. Н. Толстым, — писал И. С. Тургенев графине Е. Е. Ламберт. — Надобно Вам сказать, что между нами существовала давнишняя антипатия. Я его всячески избегал — но он, не переставая меня ненавидеть, все меня отыскивал и старался сблизиться со мною. Не хочу о нем говорить ничего дурного: во всяком случае это весьма сложная и самомучающаяся натура. Он сходил со мною — как будто для того, чтобы дразнить и бесить меня. По поводу совершенно постороннего разговора (дело шло о филантропии) я, уже внутренне взбешенный, сказал ему грубую дерзость. Я ожидал немедленного вызова — но он сначала был весьма мягок и вежлив — и только когда я уже извинился письменно, досада в нем вспыхнула. Словом, вышла неприятная история, которая тянулась несколько дней — в течение которых я был убежден, что поединок будет неизбежен, — кое-как дело уладилось — но мы теперь раз-знакомились навсегда. Эта глупость помешала мне работать и вообще отравила мне нынешнюю весну, которая здесь расцвела вдруг прелестно

Из дневника Л. Н. Толстого, 1861 год:

25 июня.

Замечательная ссора с Тургеневым; окончательная — *он подлец* совершенный (курсив авт.), но я думаю, что со временем не выдержу и прошу его

22 сентября, Москва.

Я в Москве. О Тургеневе справедливо. Я уже хотел и почему-то не написал ему письма, в котором хотел просить прощения <...>.

«Когда Вы будете в Спасском...»



*На переднем плане рассказчик В. А. Черняков In the foreground — the story — teller V. A. Cherniakov*

*23 сентября.*

Написал письмо Тургеневу. Был у Рачинского. Застал сборище молодых профессоров. — «Мы, умные, тоже, мол, можем просто веселиться». Чичерин гордится, чему я очень рад. Перечел письмо ему. — Лучше, что не послал <,,>.

...А ведь именно это неотправленное письмо Толстого, по-видимому, и разлучило двух великих русских писателей на целые долгие 17 лет... Только в 1878 году получил Тургенев примирительное письмо от Толстого. Он отвечал:

«Любезный Лев Николаевич,

Я только сегодня получил Ваше письмо Оно меня очень обрадовало и тронуло. С величайшей охотой готов возобновить нашу прежнюю дружбу и крепко жму протянутую мне Вами руку. Вы совершенно правы, не предполагая во мне враждебных чувств к Вам: если они и были, то давным-давно исчезли — и осталось одно воспоминание о Вас, как о человеке, к которому я был искренно привязан — и о писателе, первые шаги которого мне удалось приветствовать раньше других, каждое новое произведение которого всегда возбуждало во мне живейший интерес. Душевно радуюсь прекращению возникших между нами недоразумений <...>»<sup>9</sup>.

8/20 августа 1878 года после длительной разлуки Тургенев и Толстой встретились вновь.

Станционный домик Кукуевки стоит всего в нескольких метрах от железнодорожных путей. Описывать его не будем, поскольку он как две капли воды похож на ползиковский, да и на все другие, давно

построенные на полустанках, где местные поезда стоят не более минуты, а то и просто только притормаживают, — стоит машинисту приметить издали маячащую возле казармы одинокую фигуру.

Домик этот—тоже деревянный, так же как и ползиковский, выкрашен темно-коричневой краской и в нем живут не оставившие родных мест бывшие потомственные железнодорожники, теперь — пенсионеры...

Прошел ровно месяц со времени последней нашей поездки в эти края: в село Ползиково, на кали-новское кладбище, кукуевский полустанок, а также со времени знакомства с местными железнодорожниками. Но снег плотным слоем уже успел укрыть землю и обе узенькие бетонные платформочки, облепил крышу «казармы», укутал деревья, припорошил пути.

Сойдя с электрички на Кукуевке и не успев еще оглядеться как следует, мы тут же заметили знакомого мужчину, одетого в телогрейку, поверх которой развевался на ветру темный рабочий халат, а на нем еще — и ярко-апельсинового цвета сигнальная жилетка-безрукавка. На голове надета зимняя шапка-ушанка. Он стоял против столба, к которому были прикреплены сразу несколько аккуратных фанерных дощечек, на каждой из которых выделялись аккуратные надписи: «ост. пункт 317 км», «Пл. 317 км Моек. ж. д.» и «остановка первого вагона».

Проводив взглядом умчавшийся в сторону Тулы поезд, он двинулся было нам навстречу, но мой возглас: «Стойте, не двигайтесь, я вас фотографирую!» — мгновенно остановил его.

И пусть я — всего лишь начинающий фотолюбитель; и пусть надвигалась снежная пурга и было морозно, а фотоаппарат, только что вынутый из теплого дипломата и немедленно запущенный в работу, еще не успел акклиматизироваться, так как по правилам на это требуется не менее пяти минут, — снимок получился, и даже довольно удачный.

А если принять во внимание, что первым встреченным нами здесь железнодорожником оказался сам «бригадир путей 317-го километра» Николай Сергеевич Кулябин и он сопровождал нас на протяжении всего маршрута весь этот день, оказавшийся его выходным, — а пришел-то Кулябин на свой участок за целых три километра со станции Бастыево, где живет с семьей, «просто так, как бы чего не вышло...» — то нужно сказать, что эта встреча была нашей первой и главной сегодняшней удачей...

Ветер усиливался, снег валил все гуще и гуще, но была не была! Не пропадать же пленке зря... И мы втроем пошли по путям в сторону «трубочки», о которой Владимир Алексеевич Гиляровский в одной из своих первых телеграмм с места катастрофы сообщал: «Узкая, аршина в полтора диаметром, чугунная труба — причина катастрофы <...>».

Направляясь вновь к месту крушения поезда, еще дома пришлось заранее подготовить все необходимые цифровые данные, дабы не случилось так, как в самый первый наш, пеший поход из Спаского-Лутовинова к месту катастрофы. Ведь в первой своей телеграмме в газету «Московский листок» Гиляровский ошибочно сообщал, что «это была 285—286 верста от Москвы», — и в тот раз, подробно осмотрев и облазив место катастрофы, совершенно убедившись, что это-то именно и есть *то самое место* (курсив авт.) и на всякий случай перемножив размер старой версты, равный 1,0668 км, как значится во всех математических источниках, на 285 километров, мы получили... 304-й! км... И тогда, помнится, я чуть не впала в отчаяние, поскольку, уточняя цифры, нам вновь пришлось бы проделать весь маршрут от начала до конца, — не догадайся я вновь спокойно и терпеливо пересчитать все, что удалось отыскать во время сбора текстологических материалов ранее: все телеграммы «Московского листка»; воспоминания и произведения знаменитого репортера, где он упоминает о кукуевской катастрофе. И тогда оказалось, что в первой телеграмме «Московского листка» Гиляровский сообщал координаты места катастрофы ошибочно, возможно, с чьих-либо слов.

Помог разобраться и внимательно перечитанный его очерк «Московский листок» из сборника

*Когда Вы будете в Спасском...»*



«Москва газетная», где о месте катастрофы было сказано так: «Это была двести девяносто шестая верста от Москвы <...>». И тогда все встало на свои места: перемноженная на размер старой русской версты, она и показала 317-й километр от Москвы!..

Так вот... «чугунная труба диаметром в полтора аршина» (русский аршин равен 71,12 см — *прим, авт.*) оказалась действительно «трубочкой», как называют ее до сих пор местные жители, диаметром всего 106,68 сантиметра, то есть чуть более метра. И немудрено, что она, да еще постоянно забитая плывущим сверху по оврагу сором, сеном, сучками деревьев, не смогла пропустить невиданный до тех пор бурный и широкий ливневый поток.

Место катастрофы находится всего в двухстах метрах от «казармы», если идти по путям в сторону Москвы. Но пока мы дошли до трубочки, несколько раз пришлось остановиться и пропустить мчавшиеся в обе стороны поезда.

Поражала высота насыпи, отвесные ее склоны, кажущаяся невозможность вот так, без подручных средств, спуститься вниз. Но Николай Сергеевич подвел нас к почти отвесной бетонной лесенке, проложенной рабочими-путейцами для спуска со стороны Кукуевки, и предложил спуститься по ней в овраг.

Отсюда, сверху, открывалась невиданная нами никогда, но отчего-то до боли знакомая и взволновавшая воображение картина: параллельно современной насыпи с аккуратно уложенными по ней двумя парами чугунных рельс, метрах от нее примерно в полуторах, отчетливо была видна прямая, как стрела, другая насыпь, по высоте значительно ниже той, на которой мы находились. В одном месте, а именно при подходе к месту «трубочки», она снижалась и постепенно исчезала, уступая место глубокому оврагу метров около ста шириной... С другой стороны оврага начинался постепенный подъем другой насыпи, хорошо видимой глазом, и, наконец, победившей параллельно путям... И мы догадались: это была





*Панорама деревни Кукуевки Panorama of the village Kukuievka*

именно та, сооруженная в период раскопок и ремонта железнодорожного полотна временная насыпь, которую использовали как объездной путь с уложенными по ней новенькими рельсами — однопуткой для беспрепятственного следования поездов в обе стороны на время раскопок, расчистки и ремонта основного пути.

Ну, а природа неумолима: как только восстановилось регулярное движение поездов по основным восстановленным путям, временная насыпь, оказавшаяся ненужной, постепенно пришла в запустение, и воды, катившиеся по оврагу вниз, снова сделали свое дело: образовали стометровую промоину, уничтожив в этом месте временную насыпь и восстановив овраг в его естественном виде.

Мы спустились по лесенке вниз, чтобы осмотреть и «трубочку»... Ею оказался необъятной длины и огромного диаметра каменный тоннель, напоминавший арку и позволявший проехать под железнодорожным полотном не только лошади, запряженной в телегу, но и легковому автомобилю: ведь это было одно из самых высоких и опасных мест на всей Московско-Курской железной дороге...

— Теперь-то куда пойдете?.. Ведь пурга разыгрывается, — спрашивает Николай Сергеевич. — Пойдемте со мной назад, на Бастыеву, а там на автобус пересядете — и в Орел... электричка-то только в четыре будет...

— Нет, отказываемся мы, — нам в Богослов надо. И так прособирались до самого снега, а работа не ждет...

— А бывали вы в Богослове-то?

— Нет, не были никогда...

— Так ведь заплутаете... Тут недалеко, а всё дорогу-то знать бы надо... И в деревне-то во всей, в Кукуевке-то, никого нету, почти все на зиму поразъехались... И лошадки-то ни одной... у почтарихи есть,

*Когда Вы будете в Спасском.*



*Околица села Богослова Village fence of Bogoslovo*

да где ее теперь найдешь... Я бы вас сам свел, здесь недалёко, всего километра полтора, да домой обещался скоро... Ну ладно, пойдемте, я вас в коптерку сведу, там печь натоплена, придете, погрееетесь, — и повел нас Николай Сергеевич в «казарму»...

Частичка «казармы», в которой обычно грелись и перекусывали путевые рабочие, оказалась небольшой, тепло натопленной комнаткой, вход в которую с улицы вел через небольшой коридорчик. В углу этой комнаты была печка-грубка, а посередине, притулившись одним торцом к окну, стоял длинный стол, сколоченный из досок, и по бокам его — длинные скамьи.

— Вот тут погрееетесь, если раньше электрички возвратитесь, — вон в сенцах дрова, подтопите, если что... чайник полон, на плите. Тут не запирается, замок просто так навешен...

Мы очень спешили, поскольку выюга разыгрывалась, а Николай Сергеевич, просовывая дужку замка в петлю, все не переставал сокрушаться:

— Не ходили бы одни-то, ведь первый раз, заплутае...

Но вот мы уже входим в деревню, и он, некоторое время еще шагая рядом с нами, все беспокоится:

— Пойдете все прямо, там упретесь в зеленый домик, сворачивайте вправо, обогнете другую усадьбу-то, — и снова налево... Там последняя усадьба будет Серёги Голубенкова... Вот если б он был дома, он бы вас вывел через овраг на дорогу к Богослову... Там и всего-то с километр останется, не боле... Правда, Серега-то прихрамывает...

Распрощавшись с Кулябиным, мы отправились вдоль по улице Кукуевки...

Небольшое селцо Кукуевка издавна было довольно известным в округе и даже в России. И не только потому, что рядом с ним на железной дороге в 1882 году случилась невиданная до тех пор, потряс-

шая всю Россию катастрофа, названная кукуевской, но еще и потому, что, как сообщают о ней архивные документы тех времен, когда здесь еще не существовало железной дороги, «исключительное преимущество Кукуевки заключается в том, что пролегающая от нее в полутораверстах шоссейная дорога доставляет крестьянам облегчение и возможность сбывать хлеб и вообще всякого рода произведения во всякое время года в соседний город Мценск».<sup>10</sup>

Во времена крепостного права, примерно в середине прошлого столетия, принадлежало «Чернского уезда село Кукуевка, Шушино тож штабс-капитанше Наталье Алексеевне Милюковой...»<sup>11</sup>. И церковка домашняя там, вероятно, была, поскольку Кукуевка в документах прошлого звалась все же селом и сведений о том, к храму какого именно прихода она была приписана, в архивных документах пока не обнаружено.

Но по рассказам местных уроженцев, передающихся из поколения в поколение, существовала здесь и усадьба барская с большим домом, флигелями, садом... И лакеи в ливреях содержали местных господа, так что попасть в господский дом можно было, лишь доложившись и получив через лакея приглашение пожаловать... А войдя в дом, рассказывают, удивлялись его роскошному убранству, множеству причудливых цветов, замысловатой мебели и всему, что могло поразить даже знатного гостя после длинного мучительного пути по бездорожью, неожиданно попавшего прямо в Европу...

Но время бежит стремительно, и вот уже прах штабс-капитанши Натальи Алексеевны Милюковой покоится на одном из местных погостов, а опекуном двух ее малолетних наследников назначается «поручик, Петр Васильевич Чапкин». И Кукуевка постепенно теряет свое былое величие. Как свидетельствуют «Подробные сведения о состоянии принадлежащего малолетним наследникам умершей штабс-капитанши Натальи Алексеевны Милюковой Чернского уезда, селца Кукуевки, Шушино тож», подписанные опекуном ее детей поручиком П. В. Чапкиным и представленным в 1858 году в Тульское губернское правление, в селце Кукуевке к этому периоду времени оставалось лишь 12 дворов, могущих тянуть тягло, и в них проживало 39 мужчин и 27 женщин, которые обрабатывали принадлежавшие этому поместью 208 десятин земли. «Крестьяне обрабатывали общими силами распашную землю в количестве 66 дес. себе имеют на тягло поровну, во владении их 72 десятины. На каждую ревизскую душу примерно 6 дес. в трех клиньях. Ценность каждой избы 300 руб. Промышленности нет».<sup>12</sup>

В селце тогда существовал магазин, но не было школы, и в оправдание отсутствия ее владелец сообщает, что «грамотных крестьян нет. Расходы едва покрываются доходами, лишают средств к введению грамотности <...>, имение находится в долгу, сост. сумму 2450 р.».

Но барская усадьба, впоследствии постепенно пришедшая в запустение, тогда еще существовала: приказчик распоряжался хозяйством, садовник присматривал за барским садом, кучер состоял при лошадях, а опекун содержал даже штатного охотника.

Иван Сергеевич Тургенев, так подробно изобразивший родные места, не обошел и Кукуевку, описав ее в 40-е годы в прелестном рассказе «Петр Петрович Каратаев».

В 1847 году журнал «Современник» опубликовал этот новый рассказ И. С. Тургенева, очень полюбившийся и рядовому читателю, и, главное, уже известным, маститым литераторам. По этому поводу 15(27) февраля 1847 года Н. А. Некрасов писал И. С. Тургеневу: «Ваш рассказ («Каратаев») напечатан во второй книжке: он всем понравился очень, Белинскому тож <...>».<sup>13</sup>

Уже заглавие рассказа и сама фамилия главного героя — Каратаев — наводят на мысль о том, что рассказ, несомненно, документален... В нескольких верстах от тургеневского Спасского в деревеньке на реке Снежеди жил хороший, добрый приятель писателя Василий Владимирович Каратеев, вдохновивший Тургенева своим рассказом о девушке, полюбившей болгарина, на создание романа «Накануне».

Фамилия Кузовкин также упоминается писателем: «А исправник-то был мне человек знакомый, хороший человек, в сущности человек нехороший...»

Нам же, читателям Тургенева, известен и другой Кузовкин, Василий Семенович, главное действо-

*Когда Вы будете в Спасском...*



*Дом С. С. Пузанкова Ноше of S. S. Puzankov*

ющее лицо его комедии «Нахлебник»... Поэтому вполне вероятно, что не только фабулу рассказа «Петр Петрович Каратаев», но и действующих лиц Тургенев взял из жизни.

Это подтверждают и реалии деревенского быта, и образ крепостной девушки Матрены Федоровны Куликовой, восставшей против своей жестокой госпожи, образ, явно носящий черты реальные, а невыдуманные.

«Вдруг приглянись мне девушка, ах, да какая же девушка была (...) красавица, умница, а уж добрая какая! Звали ее Матреной-с, — рассказывает Петр Петрович Каратаев. — А девка она была простая, то есть, вы понимаете, крепостная, просто холопка-с. Да не моя девка, а чужая, — вот в чем беда (...>»

Ну, вот я ее полюбил (...). Вот и стала Матрена меня просить: выкупи ее, дескать, от госпожи; да я сам уж об эфтом подумывал (...>. А госпожа-то у ней была богатая, старушечья страшная (...), оделся получше и поехал к Матрениной барыне. Приезжаю: дом большой, с флигелями, с садом (...>. Вот вхожу я в переднюю, спрашиваю: «Дома?»... А мне высокий такой лакей говорит: «Как об вас доложить прикажете?» Я говорю: «Доложи, братец, дескать, помещик Каратаев приехал о деле переговорить...»

Не согласилась кукуевская барыня продать холопку, сослала ее в степную дальнюю деревню гусей пасти, а Петр Петрович, влюбленный в девушку, разыскал ее и уговорил бежать с ним в его имение. Матрена согласилась, и прожили молодые люди счастливо целых пять месяцев... Да только слухом земля полнится... Ведь человек — не иголка в стоге сена, — и поползли по округе слухи, что Матрена у Каратаева в имении проживает. И тогда дальнейшее ее укрывательство потеряло всякий смысл...

«Все к черту пошло. Я же ее и погубил, — говорит Каратаев. — Матренушка у меня смерть любила кататься в санках, и сама, бывало, правит; наденет свою шубку, шитые рукавицы торжковские

да только покрикивает <...>, мы и поехали. Матрена взяла вожжи. Вот я и смотрю, куда ж это она едет? Неужели в Кукуевку, деревню своей барыни? Точно, в Кукуевку. Я ей и говорю: «Сумасшедшая, куда ты едешь?» Она глянула ко мне через плечо да усмехнулась. А! — подумал я, — была не была!.. Мимо господского дома прокатиться ведь хорошо? <...> глядь, ползет по дороге старый зеленый возок и лакей на запятках торчит <...> Барыня, барыня едет! Я было струсил, а Матрена-то как ударит вожжами по лошадям, да как помчится прямо на возок! Кучер <...> круто взял, да в сугроб возок-то и опрокинул <...>. Скачем мы, а я думаю: худо будет, напрасно я ей позволил ехать в Кукуевку. Что ж вы думаете? Ведь узнала барыня Матрену» <...>.<sup>14</sup>

В Богослов шли, как советовал Николай Сергеевич Кулябин, через Кукуевку сначала прямо, затем свернули направо... Метель разыгралась: сечет по глазам, взглянуть вокруг не дает. А и поглядеть-то, по правде сказать, не на что: кое-где еще сохранились старинные деревья: тополя, липы, березы... Сады под снежным покровом угадываются и дома в деревне есть, но... ни единого следочка вдоль домов, ни единого дымка из трубы над крышей... Хоть бы уж лай собачий услышать или еще какой-либо звук — отметину жизни деревенской... Правда, в окне домика, от которого свернуть полагалось направо, промаячило чье-то лицо, но мы интересоваться не стали, поскольку очень спешили к усадьбе «Серёги Голубенкова...»

Его усадьба, как это ни странно, оказалась добротной. Дом кирпичный, опрятный, на дворе все постройки, какие полагается иметь на деревне... И даже прокараулившая нас собака-дворняга запоздало захлебнулась лаем, когда мы уже стучали в дом.

Дверь открыла миловидная средних лет женщина и сразу же из чистых сеней предложила нам пройти в комнаты... Вот где можно было отогреться! В доме было жарко, словно в деревенской бане...

— Да я приболела, вот и подтопила посильней, — проговорила женщина, увидев довольные лица пришельцев.

— Вы Голубенкова?.. А муж ваш, Сергей, где сейчас? Мы хотели попросить его вывести нас на богословский проселок...

— Вот жалость-то, — сокрушается женщина, — уехал Сергей-то... прям даже не знаю, как и быть... я-то сама болею, мне на улицу нельзя... Да вы знаете что? Здесь ведь близко, давайте я вам в окошко покажу дорогу-то...

Мы все трое подходим к отпавшему окну и через него видим: по нашим следам к дому Голубенковых сворачивает мужчина в оранжевой жилетке. Пригляделись — и обрадованно переглянулись: это был Николай Сергеевич Кулябин... Наскоро распростившись с хозяйкой дома, мы поспешили на улицу навстречу ему, поняв, что не выдержал железнодорожник, совесть замучила бы, отпусти он в пургу чужих людей по незнакомой дороге.

— Я подумал, ведь сгинете, гляньте, как завернуло-то... Пошел уж по путям на Бастыеву, а мне тут-то и скажи, что Серега-то, мол, Голубенков уехал... Пойдут ведь, думаю, ни на что не поглядят... И возвратился за вами. Ну, пойдемте...

Гуськом, след в след, мы спустились в овраг. Здесь мело заметно тише. Зато когда снова оказались наверху, хлебнули лиха: такой злой метели мы не видали давно. Ветер сбивал с ног, головы поднять нельзя было. Так с полужакрытыми глазами и шли мы, незадачливые горожане... Зато Николай Сергеевич — хоть бы тебе что! Пуговицы расстегнуты все, до самой рубашки, полы всех трех видов верхней одежды, словно крылья птиц, мечутся на ветру, шапка-ушанка сбилась на самую макушку, да вдобавок ко всему — на ногах его были рабочие ботинки. Бронзово-загорелое лицо обращено навстречу ветру, а сам он зычным голосом, не обращая внимания на шквальный ветер, рассказывает о местных достопримечательностях:



— В Богослове-то счас, считай, и народу-то нету... Пузанков Степан Семенович со старухой своей. Ванька — крантом его кличут... как же фамилия-то его?... Соколов Иван он, а по отчеству-то не помню... Чеботарева Евдокия, Саша Пузанков, дедов племянник... Ну, а Пузанков Валентин счас где-то в другом месте работает... Вот и все... Одно название, что деревня, да имя... Вот тебе и Богослов!.. А в Калиновке-то вы так и не побывали?.. там... раз, два, три... всего шесть домов: Душенькины —раз; Кла- вочка-то умерла, поездом сбило... Петька Миронов —три... Потом Николахин — четыре. Ромахин (его фамилия-то Гудков). Полякова Зинаида, Зинка...

Немного помолчал, а затем обернулся:

— Вон там, налево, деревня Старухино, — не бывали?.. Тоже совсем древняя деревня. Не знаю, бабульки там две были по девяносту лет каждой, уехали ай нет: Митина и Рыжова... А вот эта вот березовая роща, где тырлы, — взмахивает он рукой вправо, — выросла после войны. Но, правда, раныне-то на этом же месте тоже такая же рощица была... то ли свели когда, то ли еще как... а время подошло — и вот она снова, на своем месте...

Если бы можно было этот километр до Богослова пройти при хорошей погоде, дорога показалась бы, вероятно, живописной. Но мела пурга, а надо было еще и фотографировать. При каждой попытке сделать новый снимок приходилось останавливаться и подолгу приспосабливаться... И все время думалось, что работа эта — бесцельна. К тому же приходилось постоянно отставать от спутников, пропуская мимо ушей рассказы Кулябина. Мерзли пальцы рук, державших фотоаппарат; приходилось напрягать зрение, а на ресницах повисли ледышки... Но я упорно щелкала фотоаппаратом...

Впоследствии оказалось, как это ни удивительно, что снимки получились: вот молодая березовая рощица на подходе к Богослову, а вот и огороженная по задам слегами сама деревенька среди вековых тополей, узорчатых раkit и высоченных лохматых елей с целыми сугробами снега на пушистых лапах...

Но вот наконец завиднелись и домики Богослова, и мне удалось заснять крайнюю усадьбу, а обойдя ее, мы подошли к домику, выстроенному под одной крышей со двором и даже оштукатуренному. Прислоненные к старой березе, стоят занесенные снегом санки-сезки, а кругом возвышаются деревья- великаны. Кажется, что если поднять голову, чтобы взглянуть на кроны, то и шапка с головы свалится. Все здесь было необычным, старинным, сказочным, не таким, как в соседней Кукуевке. И действительно, в незапамятные времена поселились здесь люди.

Идти дальше не было сил, и мы постучались в дверь этого домика.

— Хозяева, открывайте, к вам гости, издалёка! — кричит наш проводник. И мы понимаем, что здесь-то и живет самый старший житель села Богослова Пузанков Степан Семенович «со своею старухой», ради знакомства с которым мы и проделали сегодня столь необычное путешествие...

— Дед, а дед, слезай с печи-то! — громко говорит, заглядывая за печную занавеску, старушка лет восьмидесяти, на вид еще крепкая и бойкая. — Гляди, люди к тебе издалё пришли, нужен ты им!

За занавеской заворочались, а затем затихло.

— Отец, сможешь слезть-то? Вон люди к тебе, — вторит старушке приятная на вид женщина лет пятидесяти, та самая, которая открывала нам дверь с улицы и впустила нас в дом: сначала в сенцы, а оттуда — в избу. По всей вероятности, это была дочь Пузанковых.

По правде говоря, странно было видеть в старой, тесной крестьянской избе женщину-горожанку и, как оказалось впоследствии, образованную и начитанную. Невольно возник вопрос: что делает она здесь зимой, в глухой, полузаброшенной деревеньке... Добро бы было лето, отпуск, отдых...

А женщина уже подставила к печи стул и, помогая спуститься с лежанки старику, рассказала нам, что он простудился и заболел, а она, постоянно беспокоясь о стариках, и летом, и зимой ездит и ездит из ПОДМОСКОВЬЯ в Богослов.

Наконец, Степан Семенович Пузанков с помощью дочери и моих спутников благополучно спустился с печи, был переведен из кухни в маленькую горницу, разгороженную цветастой занавеской на две половины, и усажен на стул. Из-за отогнутой занавески, сидя на углу железной старинной кровати с шишечками, с любопытством выглядывала его жена, приветливая и миловидная старушка...

Но я не могла отвести глаз от удивительного старика. Несмотря на то, что он действительно выглядел не совсем здоровым, красота его бросалась в глаза. Величавая благородная голова увенчивала исхудавшее, но богатырское тело. Прямой с горбинкой нос, светлые, потускневшие от времени грустные глаза, тонкие губы — все это было необычайно трогательно, светилось увядшей и кроткой прелестью. Худые руки лежали на острых коленях, как бы отдыхая от тяжелой каждодневной работы. Ну как же можно было не запечатлеть, не вынуть фотоаппарата!..

Но, к сожалению, в домике было темно. Пурга и мороз не только разрисовали, но и замели окна. Но я все-таки дерзнула!.. Сам старик был так слаб, что сидел, как статуя, неподвижно. Зато жена суетилась и хлопотала вокруг... Так и сняла я его сидящим, а супруга по-старинному стала рядом, положив руку на плечо мужа.

Хороший мог бы быть снимок!.. Я отдала бы множество фотографий только за эту одну — одну, не получившуюся из тридцати шести кадров, заснятых в этот день...

Ну, а связанной беседы с Пузанковыми у нас не получилось. То ли старики, засидевшиеся в деревне, стеснялись нас, незнакомых людей, то ли просто был болен Степан Семенович, — но все, что мы узнали о Богослове и его истории, исходило в основном от их дочери Нины Степановны.

— Нашу деревеньку Богослов, — говорила она, — в войну немцы сожгли всю. На кладбище церковь каменная была, я ее помню. Теперь-то от нее и следа нет. Взрывали на щебенку, возили камень на асфальт... Постоялый двор, правда, говорили, раньше на шоссе против нас стоял, почтовая станция называлась; но это было очень давно, а при мне ничего уж не было... Это совсем рядом, вон за посадками... На кладбище до войны мраморные памятники, говорили, были, но я помню, что один из них очень долго валялся в кустах... Теперь ничего нет... Но хоронят еще на нашем погосте, носят к своим даже из Мцен- ска... О кукуевской катастрофе знаю... А вы почитайте... В книге «Порт-Артур» о ней написано... потом... старшая дочь Толстого писала, я читала...

Но я объяснила ей, что мы знаем все, что опубликовано о кукуевской катастрофе, а ищем живых свидетельств, не попавших ни в какие публикации, разыскиваем следы прошлого на этой земле, освященные памятью великих русских писателей... Да разве можем мы быть равнодушными и к современной ее судьбе...

В свое время Л. Н. Толстой тяжело пережил кукуевскую катастрофу. Работая в голодающих деревнях Тульской и Орловской губерний, он не раз заходил в Кукуевку и в статье «В чем моя вера?» говорит о погибших... Кроме того, Л. Н. Толстой был хорошо знаком в Туле с Н. В. Давыдовым, проводившим по долгу службы две недели со следователем на месте катастрофы и, несомненно, рассказывавшим писателю о ней подробно.

Но скуп на письма и дневниковые записи был Лев Николаевич Толстой... Скуп, — не в пример своей дочери и сыновьям...

Из в о с п о м и н а н и й старшей дочери Л. Н. Толстого Т. Л. Сухотиной-Толстой:

*30 июня 1882 года, среда.*

«Вчера и нынче ночью такая была страшная гроза и дождик, что никто эти две ночи не спал. Нынче ночью мама ко мне приходила. У меня была свеча зажжена, потому что так жутко стало: в комнате духота и темнота такая, что дышать нельзя, а на дворе гром и такой страшный дождик уже не переставая идет, что безнадежно, конца не предвидишь. Я уж думала потоп будет. Да и то потоп: купальню затопило и снесло, следа уже ее нет, а вода аршина на два или три выше берегов разлилась. Папа сегодня верхом ездил туда и говорит, что по деревьям видно, до каких пор вода дошла, по грязи, которая к ним пристала».<sup>15</sup>

*3 июля. Понедельник.*

«Вчера вечером ездили в Козловский лес чай пить и спрашивали об этом ужасном несчастье. Говорят, что

### ***Когда Вы будете в Спасском...***

почтовый поезд шесть минут до этого проехал благополучно, но кондуктор сказал начальнику станции, что опасно. Начальник не послушался и все-таки отправил поезд, который и провалился между Чернью и Бастыевым (около деревни Кукуевки). Это было в ночь Петрова дня. Случилось это на такой насыпи высокой. Говорят, там 30 с чем-то сажен вышины, а внизу была железная труба, чтобы вода протекала. Ее забило сеном, которое всплыло к насыпи и выперло водой. Дыру, которая образовалась, все больше и больше размывало, и, наконец, рельсы не выдержали веса поезда и он весь туда провалился.

Спасся только один машинист. Говорят, погибло 271 человек, другие говорят —около 500, вообще ничего, наверное, не знают. Вчера проехал при нас поезд с солдатами, чтобы откапывать, хотя говорят, что еще столько воды, что семь человек потонуло из тех, которые хотели откапывать. Говорят, там несколько отрядов ждут и около 300 посторонних зрителей и родных.

Так вот — проехал этот поезд и все солдаты поют и в бубны играют. Несколько вагонов нагружены лопатами и гробами. Рассказывают, что в эту ночь избу возле железной дороги снесло и следа не осталось ни людей, ни скота, ни избы».<sup>16</sup>

### **В Спасское, к Тургеневу**

5 августа 1882-го года на станции Кукуевка Московско-Курской железной дороги со ступенек одного из вагонов московского почтового поезда сошел молодой человек: среднего роста, плотного сложения. с довольно правильными чертами лица, обрамленного темной бородкой с небольшими усиками. Он обращал на себя внимание своим интеллигентным видом и взглядом темных, глубоких, как бы светящихся внутренним светом печальных глаз. Казалось, что его снедал какой-то недуг...

Просигналив, московский поезд вскоре скрылся из вида, а юноша, пройдя вдоль по линии назад, остановился и долго стоял на высокой насыпи...

Голова его была обнажена и взгляд лучистых глаз — печально-страдальческим. При виде раскинувшейся перед ним картины он сразу же отчетливо представил себе все, что здесь произошло...

Сейчас на этом месте возвышалась свежая насыпь из земли, перемешанной с глиной. Внизу под ней метров в сто пятьдесят ширины виднелась свежевывороченная глинистая площадка. На земле здесь и там видны были остатки обгорелых участков — следы бывших здесь недавно многочисленных костров, превративших в пепел остатки разбитых вагонов и вещей погибших. Белели пятна негашеной извести, а свежая насыпь тянулась до самого поля, вытоптанного сотнями ног. но кое-где еще зеленого...

Но нужно было идти. — а путь предстоял дальний...

6    этом путешествии он напишет потом поэту Я. П. Полонскому:

«Возвращался я из Москвы на Кукуевку; поезд пришел туда в пятом часу утра: чуть светало. Я пешком дошел до Спасского; когда подошел домой, взошло солнце. Никогда не забуду я этой зари, снимавшейся росы и всего прочего <...>» (В. М. Гаршин —Я. П. Полонскому. Л., «Academia», 1934. С. 248).

По прошествии немногим менее двух месяцев он положит на чернильный прибор перо и, бережно подровняв объемистую стопку исписанных его рукой листков, оставит ее на углу тургеневского письменного стола, а затем будет долго стоять перед ним вспоминая, не упустил ли чего... Спohватившись вдруг,



*Всеволод Михайлович Гаршин Vsevolod Mihailovich Garshin*

вновь возьмет деревянную ручку с металлическим пером и в самом верху первого листа крупными буквами напишет заглавие: «Из воспоминаний рядового Иванова»...

Это произведение — автобиографическая повесть о том, как, будучи еще студентом горного института, он, прервав занятия, как и многие его друзья, в связи с объявлением русско-турецкой войны за свободу и независимость болгарского народа, наденет шинель рядового солдата, солдатский ранец, возьмет в руки винтовку и уйдет добровольцем в русскую действующую армию...

Несмотря на юношескую хрупкость, непривычность к дальним походам в полном боевом снаряжении. этот юноша ни разу не поддастся слабости и будет наравне со всеми участвовать в боях... Спустя три месяца в одном из них он будет ранен, и война, таким образом, для него закончится...

А через несколько лет он напишет эту повесть, в которой мастерски проанализирует отношения русской интеллигенции, принявшей участие в этой кровавой бойне, с простым народом, расскажет о подвиге русского солдата, вызвавшем у чуткого и наблюдательного юноши пламенное восхищение мужеством, храбростью, нравственной силой, горячей любовью к родине, верностью воинскому долгу.

Все тяготы войны вместе с автором повести и его героями с честью разделит и человек, имени которого, как и многих других имен, автор не назовет...

Человек этот — тот, кому посвящена и наша документальная повесть. — тот, кто всегда первым приходил на помощь страдающему человеку: талантливый газетный репортер, поэт, писатель — Владимир Алексеевич Гиляровский...

Сложное чувство овладело молодым писателем, когда работа подошла к концу... Жаль было расставаться с полюбившимися героями, одолевали сомнения в значительности и пользе его труда...

Но необходимо было проставить дату и подпись под своим новым произведением. И он, немного подумав, размашисто написал: «Вс. Гаршин. Август — сентябрь 1882 года, с. Спасское-Лутовиново.»

Декабрь 1989 — январь 1990 года,  
Москва—Орел—Спасское-Лутовиново.

В доме-музее  
Ивана Сергеевича Тургенева,  
с. Спасское-Лутовиново



*В кабинете-спальне: рабочий стол И. С. Тургенева*  
*In the study-bedroom: Turgenev's writing — table,*





*В углу кабинета образ Не, уготовного Спаса — семейная реликвия*  
*In the corner of the study — the icon — sacred image of Spas Nerucotvorny — a family relic*

*Когда Вы будете в Спасском...»*



*Малая гостиная. Знаменитый тургеневский диван-самосон  
Smaller-driving room. Turgenev's famous sofa-«selfsleep»*



*Подлинный портрет брата писателя  
Николая Сергеевича Тургенева  
Original portrait of Nikolay Sergeievich Turgenev, brother of the writer*

*Когда Вы будете в Спасском...»*



*В доме-музее И. С. Тургенева.*

*Столовая*

*In the house museum of I. S.  
Turgenev. Dining-room*



*Казино. Шахматный столик*  
*Casino. Chess table*



*Когда Вы будете в Спасском...*



*Уголок отдыха за старинными ширмами в кабинете-спальне И. С. Тургенева*  
*Cosy nook for rest behind the antique screens*



*Охотничьи принадлежности И. С.  
Тургенева  
Turgenev's hunting equipment*







## ПРИМЕЧАНИЯ



### Часть первая *Деревня, которой нет*

#### Однодворцы Овсяниковы

- <sup>1</sup> Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т./Редкол.: М. П. Алексеев (гл. ред.) и др.: АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин, дом). 2-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 1978. Сочинения: В 12 т. Т. 3. Записки охотника, 1847—1874. 1979. С. 50, 457.
- <sup>2</sup> Архив Гос. лит. музея И. С. Тургенева г. Орла, оф., ед. хр. № 265.
- <sup>3</sup> ЦГИА г. Москвы, ф. 131, оп. 59, д. 1748, л. 65—67 об.
- <sup>4</sup> Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 28 т. Письма: В 13 т. Т. 10: 1872—1874. М.; Л.: Наука, 1965. С. 256.
- <sup>5</sup> Карамзин Н. М. История государства Российского. М.: Изд. А. А. Петровича, 1903. С. 25—26.
- <sup>6</sup> Белявский М. Т. Однодворцы черноземья (по их наказам в Уложенную комиссию 1767—1768). Изд-во МГУ, 1984. С. 8—10.
- <sup>7</sup> Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. М.: Наука, 1979. Сочинения: В 12 т. Т. 3: Записки охотника, 1847—1874, 1979. С. 58.
- <sup>8</sup> Орловский облгосархив, ф. 43, оп. 1, д. 78.
- <sup>9</sup> Тургенев и его время: Сб. ст. 1/Под ред. Н. Л. Бродского. М. — П.: Госиздат, 1923. С. 315—316 (публикация Л. В. Крестовой).
- <sup>10</sup> Орловский облгосархив, ф. 68, оп. 1, д. 1.
- <sup>11</sup> Орловский облгосархив, ф. 68, оп. 1, д. 1, л. 98—99.
- <sup>12</sup> Там же, л. 57, об. 58.
- <sup>13</sup> Там же, л. 82, 82 об., 83.
- <sup>14</sup> Фет А. А. Воспоминания. М.: Правда. 1983. С. 31.

#### В Голоплеки, к Овсяниковым

- <sup>1</sup> Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 28 т. Письма: В 13 т. Т. 2. 1851—1856. М.; Л.: Наука, 1961. С. 652. Захар Федорович Балашов (...) неизменный камердинер И. С. Тургенева, грамотный и развитый человек. В 70-х годах он потерял зрение и остался проживать в Спасском на пенсии, выдававшейся ему Тургеневым. И. С. Тургенев подарил З. Ф. Балашову участок земли на берегу пруда в селе Спасском-Лутовинове, который с тех пор и зовется среди местных жителей прудом Захара. По плотине этого пруда проходит пешеходная дорожка на Голоплеки, Кальну, Губарево, Шаламово и другие деревни.
- <sup>2</sup> По всей вероятности, Чаплыгиным лес назван по имени его владельца или по названию близлежащих деревень, которых в округе с названием Чаплыгино было несколько.  
В настоящее время населенного пункта с таким названием вблизи Спасского-Лутовинова нет, но жива лежащая невдалеке деревенька Прудиче. Ее второе, местное, название Чапкино, что несколько созвучно с Чаплыгино.  
В Тульском облгосархиве в старых архивных делах имеются сведения о двух селцах Чаплыгиных, ранее располагавшихся невдалеке от села Спасского-Лутовинова: Тульский облгосархив, ф. 51, оп. 26, д. 405, л. 163—167 — «Подробные сведения о состоянии имения, принадлежащего неслужащему дворянину Петру Николаевичу Карпову Чернского уезда селца Чаплыгино» — ф. 51, оп. 26, д. 405, л. 713—714 — «Подробные сведения о состоянии имения, принадлежащего майору Никанору Александровичу Кокареву Чернского уезда селца Валухова. Чаплыгино тож».

#### Наш дядя Митя

- <sup>1</sup> При более близком знакомстве с Д. С. Овсянниковым выяснилось, что фамилия жителей Голоплек, в том числе и того рода, представителем которого является он, т. е. Овсянниковых, пишется с двумя «н» — Овсянниковы.
- <sup>2</sup> Участок железнодорожной магистрали от Москвы по направлению к Черному морю был проложен в четырех километрах от села Спасское-Лутовиново в конце 60-х годов прошлого столетия. Ныне это станция Бастыево Московско-Курской железной

## Примечание

дороги и конечный пункт путешествия от Москвы до села Спасское-Лутовиново, родового имения и творческой лаборатории великого русского писателя И. С. Тургенева.

<sup>5</sup> То есть напоминает своими портретными чертами главного героя рассказа И. С. Тургенева «Однодворец Овсянников».

### Таисия Ивановна Овсянникова, медицинская сестра

<sup>1</sup> Тульские Епархиальные ведомости. 1904. С. 472.

<sup>2</sup> Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т.

Сочинения: В 12 т. Повести и рассказы. М.: Наука, 1982. С. 26, 403.

### Баба Груня

<sup>1</sup> Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 28 т.

Письма: В 13 т. Т. 2: 1851-1856. М.; Л.: Наука, 1961. С. 231.

### Рассказ крестьянки

<sup>1</sup> Помазков Г. Горемычная//Дон. 1988. № 12. С. 45.

<sup>2</sup> Гусев Н. Н. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого: 1891—1910. М.: Худож. лит., 1960. С. 282.

<sup>3</sup> Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений (юбил.). Т. 70—71. С. 359—360.

<sup>4</sup> Там же. Т. 84. С. 314.

<sup>5</sup> Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений/Под ред. и с прим. П. И. Бирюкова. М., 1913. Т. 17. С. 79

<sup>6</sup> Там же. С. 78-80.

### Путешествие в Шаламово

<sup>1</sup> Макаров А. Исповедь хлебороба//Подъем. 1988. № 11. С. 103.

<sup>2</sup> Колонтаева В. Воспоминания о селе Спасском//Истор. вестник. 1885. № 10. С. 41—65.

<sup>3</sup> Новиков В. А. По тургеневским местам. Тула: Приок. кн. изд-во, 1971. С. 70—71.

<sup>4</sup> Тульские Епархиальные ведомости. 1904, янв. — дек.

### Тургенев и каленские крестьяне

<sup>1</sup> Наш современник. 1986. № 11. С. 3—29.

<sup>2</sup> ЦИИА г. Москвы, ф. 131, оп. 59, д. 1748. Далее при ссылках на этот источник указываем: Жикинское дело.

<sup>3</sup> Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 28 т.

Письма: В 13 т. Т. 13, кн. 1: 1880-1882. Л.: Наука, 1969. С. 311-312, 560.

<sup>4</sup> Цитируется по ксерокопии вырезки из журнала «Вестник Европы» за сентябрь 1883 г., хранящейся в ГЛМТ г. Орла.

Н. А. Щепкин — последний управляющий имениями И. С. Тургенева.

<sup>5</sup> Гаршин Е. М. Воспоминания об И. С. Тургеневе//Ист. вестник. 1883, ноябрь. С. 393.

<sup>6</sup> Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева Спасское-Лутовиново, ед. хр. 1340.

<sup>7</sup> Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 12 т. Т. 11: 1852—1883. М.: Наука, 1988. С. 208.

<sup>8</sup> Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 28 т.

Письма: В 13 т. Т. 12, кн. 1: 1876-1878, М.; Л.: Наука, 1968. С. 356, 357.

<sup>9</sup> Там же. Т. 13, кн. 1: 1880-1882. Л.: Наука, 1968. С. 168, 494.

<sup>10</sup> Там же. Т. 7: 1867-1869. М.; Л.: Наука, 1964. С. 590.

<sup>11</sup> Там же. Т. 12, кн. 1: 1876-1878. М.; Л.: Наука, 1966. 1968. С. 356, 357.

<sup>12</sup> Там же. Т. 11: 1875-1876. М.; Л.: Наука, 1966. С. 631-632.

<sup>13</sup> Там же. Т. 13, кн. 2: 1882-1883. Л.: Наука, 1968. С. 69.

<sup>14</sup> Фонды ГЛМТ в г. Орле, ед. хр. 403. С. 1, 3, 7.

<sup>15</sup> Тульский облгосархив, ф. 51, оп. 26, д. 405, л. 628—635.

<sup>16</sup> Тягловый крестьянин тянул полное тягло за две души. Обычно крестьянин оставался тягловым от женитьбы своей до 60 лет, а затем он шел либо в полутягловые, или на четверть тягла, или смещался вовсе.

В. И. Даль подробно расшифровал в своем словаре это понятие: «Муж с женою или семья, в крестьянстве, доколе мужик, по летам своим и по здоровью, числится тяглым; всякая раскладка идет по тяглам, либо по душам, считая по две души на семью, на тягло. Многосемейный, берущий два тягла земли и угодий, оплачивает два тягла, посему и мера земли, и полная подать за нее зовутся тяглом».

<sup>17</sup> Жикинское дело, л. 65.

<sup>18</sup> Там же, л. 65 об.

<sup>19</sup> Там же, л. 66.

<sup>20</sup> Там же, л. 65.

<sup>21</sup> Там же, л. 1 об.

<sup>22</sup> Нарыков М. Тургенев и крестьяне//И. С. Тургенев: Материалы и исслед./Под ред. проф. Н. Л. Бродского. Орел: изд. обл.



Совета депутатов тру-ся. 1940. С. 65.

- <sup>23</sup> Гарбель и К. Настольный энциклопедический словарь. 1891. Т. 2. Вып. 15—28. С. 1045.
- <sup>24</sup> Заборова Р. Б. Н. Н. Тургенев//Тургеневский сб. Л.: Наука, № 3. С. 221—234.
- <sup>25</sup> Жикинское дело, л. 5,5 об.
- <sup>26</sup> Там же, л. 9 об.
- <sup>27</sup> Там же, л. 5.
- <sup>28</sup> Орловский облгосархив, ф. 1463, оп. 1, ед. хр. 1201.
- <sup>29</sup> Жикинское дело, л. 9,9 об.
- <sup>30</sup> Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 28 т. Письма: В13 т. Т. 11:1875—1876. М.; Л.: Наука, 1966. С. 631.
- <sup>31</sup> Жикинское дело, л. 8 об.
- <sup>32</sup> Щепкин М. А. Воспоминания об И. С. Тургеневе и селе Спасском//Ист. вестник, 1898. № 9. С. 923—924.
- <sup>33</sup> Кривенко С. Н. Литературные воспоминания//Ист. вестник. 1898. № 2. С. 269—270.
- <sup>34</sup> Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 28 т. Письма: В 13 т. Т. И: 1875—1876. М.; Л.: Наука, 1966. С. 631.
- <sup>35</sup> Там же. С. 297.
- <sup>36</sup> Там же. С. 297.
- <sup>37</sup> Там же. С. 300.
- <sup>38</sup> Жикинское дело, л. 8 об.
- <sup>39</sup> Там же, л. 8, об., 9.
- <sup>40</sup> Там же, л. 9.
- <sup>41</sup> Там же, л. 1 об., 2.
- <sup>42</sup> Кривенко С. Н. Из воспоминаний//Ист. вестник. 1890. Т. 39. С. 269.
- <sup>43</sup> Жикинское дело, л. 1.
- <sup>44</sup> Там же, л. 1, об. 2.
- <sup>45</sup> Там же, л. 6,6 об.
- <sup>46</sup> Там же, л. 6,6 об., 7.
- <sup>47</sup> Там же, л. 7 об.
- <sup>48</sup> Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 28 т. Письма: В 13 т. Т. 13, кн. 1:1880—1882. Л.: Наука, 1968. С. 227.
- <sup>49</sup> Жикинское дело, л. 14 об.
- <sup>50</sup> Там же, л. 63 об., 64.
- <sup>51</sup> Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 28 т. Письма: В 13 т. Т. 13, кн. 2:1882-1883. Л.: Наука, 1968. С. 69.
- <sup>52</sup> Жикинское дело, л. 70 об., 71.
- <sup>53</sup> Там же, л. 71.

В селъцо Ветрово  
(К реальным истокам комедии И. С. Тургенева «Нахлебник»)

- <sup>1</sup> Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 12 т. Т. 3: Записки охотника. 1847—1874. М.: Наука, 1979. С. 355.
- <sup>2</sup> Тульский облгосархив, ф. 51, оп. 26, д. 405, л. 144—146.
- <sup>3</sup> Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В12 т. Т. 2: Сцены и комедии. 1843—1852. М.: Наука, 1979. С. 591.
- <sup>4</sup> ^ 590
- <sup>5</sup> Богданов Б. В. Лутовиновы//Тургенев. Сб. Т. 5. Л.: Наука, 1969. С. 348—349.
- <sup>6</sup> Орловский облгосархив, ф. 43, оп. 1, д. 561, л. 1.
- <sup>7</sup> Там же, ф. 43, оп. 1, д. 568, л. 57.
- <sup>8</sup> Там же, ф. 43, оп. 1, д. 568, л. 2,93,110,111,300.
- <sup>9</sup> ГЛИМТ в Орле, д. 403, л. 3.
- <sup>10</sup> Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 12 т. Т. 2. Сцены и комедии, 1843—1852. М.: Наука, 1979. С. 603.
- <sup>11</sup> ГЛИМТ в Орле, д. 403, л. 7.
- <sup>12</sup> Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 28 т. Письма: В 13 т. Т. 12, кн. 1:1876—1878. М.; Л.: Наука, 1966. С.418.
- <sup>13</sup> Там же. С. 226,612.
- <sup>14</sup> Там же. С. 238.
- <sup>15</sup> Там же. Т. 12, кн. 2:1879-1880. М.: Наука, 1967. С. 94,456.
- <sup>16</sup> Там же. Т. 13, кн. 2:1882-1883. Л.: Наука, 1968. С. 30.
- <sup>17</sup> Там же. С. 226.

## Примечание

- <sup>18</sup> Там же. С. 174.

## Спустя год

- <sup>1</sup> Малицкий. Приходы и церкви Тульской Епархии. Тула, тип. Н. И. Сытина. 1895. С. 752—753.  
<sup>2</sup> Богданов Б. Спасское-Лутовиново. Тула. Приок. кн. изд-во, 1977. С. 11.

## Часть вторая

### Почтовое отделение «Бежин луг»

#### Чаадаева

- <sup>1</sup> Розанов В. Уединенное/Югонец, 1989, № 9, февраль.  
<sup>2</sup> Тульский облгосархив, ф. 51, оп. 26, д. 405, л. л. 323, 324—328.

#### Тетя Шура

- <sup>1</sup> Русские народные песни/Составление и вводная статья В. В. Варгановой. М.: Правда, 1988. С. 404—407.  
- Письмо В. П. Тургеневой И. С. Тургеневу от 23 ноября 1838 года, Спасское. Подлинник хранится в ИРЛИ (Ин-т рус. литры, Пушкинский Дом). Цитируется по фотоконии, хранящейся в Гос. лит. и мемор. музее-заповеднике И. С. Тургенева Спасское-Лутовиново, ед. хр. 1340.  
<sup>3</sup> Там же. Письмо от 29 мая 1844 г.  
<sup>4</sup> Там же. Письмо от 30 мая 1838 г.  
<sup>5</sup> Там же. Письмо от 30 сент. 1838 г.  
<sup>6</sup> Там же. Письмо от 4 ноября 1838 г.  
<sup>7</sup> М. А. Щепкин. Воспоминания об И. С. Тургеневе и селе Спасском//Исторический вестник, 1898, № 9. С. 917.  
<sup>8</sup> Официальные письма и деловые бумаги. 33. Доверенность на имя Н. А. Кишинского от 23 апр. (5 мая) 1875 г. Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л.: АН СССР, 1966. Письма: В 13 т. Т. XI (1875-1876). С. 356.  
<sup>9</sup> Тульский облгосархив, ф. 39, оп. 2, д. 2337. С. 1—8. Дело Тульского дворянского депутатского собрания по внесению в дворянскую родословную книгу рода Тургеневых.

#### Старший брат

- | Малицкий. Приходы и церкви Тульской Епархии. 1895. С. 761—763.  
Антиминс льняной или шелковый платок с защитными частицами мощей, на котором изображено положение во гроб Иисуса Христа. Освященный антиминс кладется на престол. Считается, что после этого в храме можно совершать таинство причащения.  
<sup>1</sup> Орловский Гослитмузей И. С. Тургенева (ОГЛМ). ед. хр. 249. С. 1—3.  
<sup>4</sup> Из письма И. С. Тургенева — А. С. Венгерову, от 19 июня (1 июля) 1874. Спасское.  
Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л.: Наука, 1965. Письма: В 13 т. Т. 10. (1872—1874). С. 256.  
В. П. Тургенева — И. С. Тургеневу, от 2 января 1843. Фонды Госмузея-заповедника Спасское-Лутовиново. Ед. хр. 1348.  
<sup>6</sup> В. П. Тургенева — И. С. Тургеневу, от 23 октября 1843. С. Спасское. Там же.  
<sup>7</sup> В. П. Тургенева — И. С. Тургеневу, от 7 июля 1844. Там же.  
<sup>8</sup> В. П. Тургенева — И. С. Тургеневу, от 18 июля 1844. Там же.  
<sup>9</sup> И. С. Тургенев — Полине Виардо, от 3—5 августа 1850. С. Тургенево.  
Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 30 т. М.: Наука, 1987. Письма: В 18 т. Т. 2 (1850-1854). С. 353.  
<sup>10</sup> И. С. Тургенев — Н. А. Щепкину, от 14(26) янв. 1879. Париж.  
Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 28 т. Л.: Наука, 1967. Письма: В 13 т. Т. 12/2, 1879-1880. С. 19-20.  
<sup>11</sup> И. С. Тургенев — Полине Брюэр, от 24 марта/5 апреля 1871. Берлин.  
Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л.: Наука, 1965. Письма: В 13 т. Т. 9, 1871-1872. С. 61, 378.  
<sup>12</sup> И. С. Тургенев — П. В. Анненкову, от 12(24) января 1879. Париж.  
Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 28 т. Л.: Наука, 1967. Письма: В 13 т. Т. 12/2, 1879-1880. С. 15.

Часть третья  
«Когда Вы будете в Спасском...»

Кукуевская катастрофа

- <sup>1</sup> Белый А. Петербург. Москва. Ч. 1. Московский чудак. Тула: Приок. кн. изд-во, 1989. Гл. 6. С. 365.
- <sup>2</sup> Гиляровский В. Москва газетная. Московский рабочий, 1961. С. 130.
- <sup>3</sup> ГПБЛ. Московский листок, № 181 за 4 июля 1882. С. 2.
- <sup>4</sup> Там же, № 178 за 1 июля 1882. С. 3.
- <sup>5</sup> Там же, № 179 за 2 июля 1882. С. 3.
- <sup>6</sup> Там же, № 180 за 3 июля 1882. С. 2.
- <sup>7</sup> Там же, М» 181 за 4 июля 1882.
- <sup>8</sup> Там же, № 182 за 5 июля 1882.
- <sup>9</sup> Гиляровский В. Москва газетная. Московский рабочий, 1961. С. 134.
- <sup>10</sup> ГПБЛ. Московский листок, № 183, 6 июля, 1882.
- <sup>11</sup> Гиляровский В. Москва газетная. М.: Московский рабочий, 1961. С. 134.
- <sup>12</sup> Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма: В 13 т. Л.: Наука, 1968. Т. 13/1, 1880-1882. С. 300.
- <sup>13</sup> Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма: В 13 т. Л.: Наука, 1968. Т. 13/1, 1880-1882. С. 301.
- <sup>14</sup> Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 28 т. Л.: Наука. Письма: В 13 т. Т. 13/1, 1880-1882. С. 302.
- <sup>15</sup> Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 28 т. Л.: Наука, 1968. Письма: В 13 т. Т. 13/1, 1880-1882. С. 302.
- <sup>16</sup> Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 28 т. Л.: Наука, 1968. Письма: В 13 т. Т. 13/1, 1880-1882. С. 304.
- <sup>17</sup> Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 28 т. Л.: Наука, 1968. Письма: В 13 т. Т. 13/1, 1880-1882. С. 307.

Алифановы

- <sup>1</sup> Рында И. Ф. Русское обозрение. М., 18%, июль. С. 379.
- <sup>2</sup> Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л.: Наука, 1963. Письма: В 13 т. Т. 6, 1865—1867. С. 45.
- <sup>3</sup> Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л.: Наука, 1961. Письма: В 13 т. Т. 3, 1856-1859. С. 329.
- <sup>4</sup> Рында И. Ф. Русское обозрение. М., 18%. С. 381, 383.
- <sup>5</sup> Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 30 т. М.: Наука, 1979. Соч.: В 12 т. Т. 3, 1847-1874. С. 21.
- <sup>6</sup> Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л.: Наука, 1%1. Письма: В 13 т. Т. 2, 1851-1856. С. 228, 534.
- <sup>7</sup> Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л.: Наука, 1%4. Письма: В 13 т. Т. 7, 1867-1869. С. 164-165.
- <sup>8</sup> Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л.: Наука, 1%2. Письма: В 13 т. Т. 4, 1861-1862. С. 104.
- <sup>9</sup> Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л.: Наука, 1963. Письма: В 13 т. Т. 6, 1865—1867. С. 234.
- <sup>10</sup> Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л.: Наука, 1%3. Письма: В 13 т. Т. 6, 1865-1867. С. 335.
- <sup>11</sup> Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л.: Наука, 1965. Письма: В 13 т. Т. 9, 1871-1872. С. 246, 560.
- <sup>12</sup> Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л.: Наука, 1%1. Письма: В 13 т. Т. 2, 1851-1856. С. 543.
- <sup>13</sup> Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л.: Наука, 1%1. Письма: В 13 т. Т. 2, 1851—1856. С. 242—243.

## Примечание

### Село Ползиково

- <sup>1</sup> Малицкий. Приходы и церкви Тульской Епархии. Извлечение из церковно-приходских летописей. Тула 1895 С 755  
<sup>2</sup> Там же. С. 755. \_\*  
<sup>3</sup> Там же. С. 756.  
<sup>4</sup> ГПБЛ. Московский листок. № 188 за 11 июля 1882. С. 2.  
<sup>5</sup> Там же. С. 2—3.

### Богослов

- <sup>1</sup> Толстой Л. Н. Поли. собр. соч./Под общей ред. Черткова. М.: Гос. изд-во худ. лит. 1919, серия III  
Письма: Т. 60. С. 391.  
<sup>2</sup> Толстая С. А. Дневник. М., 1928. С. 45.  
<sup>3</sup> Фет А. А. Мои воспоминания. Т. 1. М., 1890. С. 370—371.  
<sup>4</sup> Толстой Л. Н. Поли. собр. соч./Под общей ред. В. Г. Черткова. Серия 3-я.  
Письма. М.: Гос. изд-во худ. лит., 1949. С. 393.  
<sup>5</sup> Там же. С. 393.  
<sup>6</sup> Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 28 т. М., Л.: Наука, 1962  
Письма: В 13 т. Т. 4, 1860-1862. С. 247-248  
<sup>7</sup> Там же. С. 256-257.  
<sup>8</sup> Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. Серия вторая. Дневники. М.: Гос. изд-во худ. лит., 1952 Т 48 С 38  
<sup>9</sup> Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем. В 28 т. М., Л.: Наука, 1966  
Письма. В 13 т. Т. 12, кн. 1, 1876-1878. С. 323.  
<sup>10</sup> Тульский облгосархив, ф. 51, оп. 26, д. 405, св. 33, л. д. 575.  
<sup>11</sup> Там же, л. д. 573.  
<sup>12</sup> Там же, л. д. 574.  
<sup>13</sup> Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем. В 30 т. М.: Наука, 1979.  
Сочинения. В 12 т. Т. 3, 1847—1874. С. 494.  
<sup>14</sup> Там же. С. 226-237.  
<sup>15</sup> Сухотина-Толстая Т. Л. Дневник. М.: Современник, 1984. С. 35.  
<sup>16</sup> Там же. С. 36-37.

## О Г Л А В Л Е Н И Е



Неподвластный времени .....	7
Предисловие .....	8
<i>Часть первая.</i> Деревня, которой нет .....	19
Однودворцы Овсянниковы .....	21
В Голоплеки, к Овсяниковым .....	29
Наш дядя Митя .....	33
Таисия Ивановна Овсянникова, медицинская сестра .....	41
Учитель из Голоплек .....	46
Баба Груня .....	51
Рассказ крестьянки .....	58
Путешествие в Шаламово .....	68
Старики .....	74
Тургенев и каленские крестьяне .....	81
Настенька .....	97
В село Ветрово (к реальным истокам комедии И. С. Тургенева «Нахлебник») .....	Ю3
Спустя год .....	117
<i>Часть вторая.</i> Почтовое отделение «Бежин луг» .....	123
Чаадаева .....	125
Тетя Шура .....	134
«Сестры Федоровы» .....	152
Старший брат .....	163
<i>Часть третья.</i> «Когда В ы будете .....	в
Спасском...» .....	173
Кукуевская катастрофа .....	176
Алифановы .....	193
Село Ползиково .....	199
Богослов .....	208
В Спасское, к Тургеневу .....	222
В доме-музее Ивана Сергеевича Тургенева, с. Спасское-Лутовиново .....	224
Примечания .....	233



Людмила Николаевна Иванова  
РОДИНЕ ПОКЛОНИТЕСЬ *По*  
*следам героев И. С. Тургенева*  
В т р е х   ч а с т я х

Авторы фотографий:  
Л. Н. Иванова, Ю. И. Зуев, В. В. Мельников,  
О. Н. Попов, С. С. Сафонова, Ю. М. Черемисинов

Автор цветных слайдов С. С. Сафонова

Редакторы: Т. С. Грачева, Н. Е. Кузнецова  
Оформление художника А. К. Ершова  
Художественный редактор В. В. Лебедев  
Технический редактор Е. П. Смирнова  
Корректор Л. А. Ягупьева

ИБ № 7593

Сдано в набор 28.07.92. Подписано в  
печать 11.02.93. Формат 84x108V<sub>16</sub>.  
Бумага офсетная. Гарнитура тайме.  
Печать офсетная.  
Уел. печ. л. 25,20. Уел. кр.-отт. 100,8. Уч.-изд. л. 25,41  
Тираж 50 000 экз. Заказ 462. «С».-2  
Ордена Трудового Красного Знамени  
издательство «Машиностроение»,  
107076, Москва, Стромынский пер., 4  
Ордена Трудового Красного Знамени Тверской  
полиграфкомбинат Министерства печати  
и информации Российской Федерации.  
170024, г. Тверь, проспект Ленина, 5.

Сканирование книги: Александр  
(Голоплеки)  
(20.08.2018)

«Когда Вы будете в Спасском,  
поклонитесь от меня  
дому, саду, моему молодому дубу,  
родине поклонитесь,  
которую я уже,  
вероятно, никогда не увижу».

